

СОДЕРЖАНИЕ

Страница главного редактора3

ПРОЗА

Владимир Бутенко

Притяжение Кавказа 11

Валерий Агарков

Сельский почтальон 103

Евгений Шишкин

Триптих о женщинах 111

Юрий Козлов

Глиняный калейдоскоп (фрагмент
из романа) 147

ПОЭЗИЯ

Алла Мельник-Халимонова

Стихотворения7 *Литературное*

Валентина Дмитриченко

Стихотворения..... 195 *Ставрополье*

Александр Комаров

Стихотворения..... 201 *№ 3 (2015)*

Екатерина Полумискова

Стихотворения..... 209

НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Иван Ряпасов

Гроза мира..... 215

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов Антон Пастельняк

Юрий Березин

Корифеи ставропольских адвокатов 265

Валерий Попов

Эпизоды 279

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Татьяна Черная

Фронтовые дороги Ставропольской
литературы (продолжение)..... 297

Сведения об авторах..... 318

Главный редактор альманаха
«Литературное Ставрополье»

В. БУТЕНКО



© Правительство
Ставропольского края



ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, В. Звягинцев,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

**Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2015 г. № 3.**

Адрес редакции:

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.

Тел.: (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: А. Ю. Шаталов

Дизайн, верстка: А. П. Черкашина

Сдано в набор 28.02.2015. Подписано в печать 15.03.2015.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.

Заказ № Тираж 979 экз.

ООО «Полиграфпром», г. Минеральные Воды,

ул. Фрунзе, 33, тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905726-24-8

Край хлеба – край надежд!

Судьбе угодно было бросить меня, семнадцатилетнего, в одинокое жизненное плавание за полтысячи верст от родного дома в южный край, на Ставрополье. Отец привез меня, поступающего в мединститут, в краевой центр, устроил на временную квартиру и – уехал. А я один на один остался со своими абитуриентскими проблемами и треволениями. Конкурс оказался велик, шансов поступить «на врача» было мало, но за все мои старания удача не обошла стороной. Однако вместо учебы нас, первокурсников, в сентябре направили на уборку помидоров. Так впервые оказался я в ставропольской степи ...

С тех дней и поныне в сердце мое вошел этот дивный, властный, неповторимый простор под высоким небом – где уставленный полынными холмами, где взметнувшийся



Страница главного редактора





горделиво свои величавые горы, в лесополосах и перелесках, а то изрезанный речонками и балками, за которыми вдруг распаивается далеко-далеко ровнехонькая степь-матушка!

Ставрополье! Земля моя хлебодарная! Много пришлось испытать тебе за многовековую историю, много увидеть и претерпеть. Древние греки и скифы, печенег и татары, пришедшие племена и воинственные крымчаки правили здесь свои пути, проносились грозowymi тучами, пытаясь завоевать эту территорию. Но только в восемнадцатом веке длань императрицы Екатерины Великой простерлась сюда, верша судьбоносные преобразования не только для России, но и для всех народов, населявших Северный Кавказ. Глухой край, Дикополье, стало частью державы, начало обзаводиться дорогами и трактами, прирастать крепостями и селами, казачьими станицами и городками. И пусть тщанием турецких властителей на протяжении многих лет велась здесь война, но возобладала справедливость и здравомыслие мужественных горцев.

И вот уже более полутора столетия наша земля является форпостом России на Кавказе, год от года становясь сильней и многолюдней. Начав землепашество еще по велению императрицы, ставропольские крестьяне прославились своими урожаями. Менялись правители и название нашей страны, а руки хлеборобов, животноводов, виноградарей, доярок, рабочих

вершили свои дела, и души, и мысли их оставались светлы и неподкупны, ибо не в лукавстве пребывали они, – в великом созидающем труде.

Век двадцать первый мчится с небывалым ускорением, он технологичен, напряжен, полон противоречий. Нашей стране международными кругами брошен вызов, объявлены санкции сродни экономической и политической блокаде. Однако новоявленные «властелины мира» напрасно сомневаются в российской самодостаточности. Сила нашего народа – в его исторических корнях, навек вросших в окупленную великой ценой, политую кровью многих поколений родную землю.

Нынешний год, объявленный президентом Годом литературы, принес ставропольцам не только победы на полях, где собран замечательный урожай хлеба, но и новые достижения в культурно-духовной жизни. Благодаря совместным усилиям министерства культуры края, региональным отделениям общества «Знания» и Литфонда России, осуществлены два масштабных проекта: «Как песню Отчизны, люблю я Кавказ», посвященный двухсотлетию М. Лермонтова, и форум «Белая акация», получившие заметный резонанс в стране. Участниками его были известные писатели из Москвы и Санкт-Петербурга, гости из-за рубежа, выдающиеся ученые. Вновь наш край стал эпицентром творческих



встреч, литературных и музыкальных праздников, актуальных семинаров по вопросам современной культуры и обществоведения. Впервые в практике муниципальных образований заключен договор между администрацией краевого центра и писательским сообществом о совместной работе по литературному воспитанию молодежи, возрождению традиций ставропольской литературы.

Особый день для всех нас – День края. Губернатор В. В. Владимиров принял мудрое решение перенести его на осень. Полны закрома – не страшна зима, гласит поговорка. И труженики края, отмеченного новыми успехами в сельском хозяйстве, строительстве и духовной жизни, встречают его с подъемом и надеждами на дальнейшую стабилизацию жизни.

Пусть же мир, надежда и благотворные мечты осеняют наши дома. С Днем края, с праздником хлеба и добра, дорогие мои земляки!

* * *

В ненастной мгле лихих
 десятилетий
 Тепло сердец поможет сохранить
 Такой непрочный мир,
 соединить
 Все то, что здраво, как цветы
 в букете.

И ярче жизнь от радостных
 соцветий,
 И горячей далекие огни.
 Скажи об этом, стих мой!
 Зазвени,
 Как колокол вселенских
 многолетий.

Восславь же красоту людских
 сердец!
 Любви сосудом их создал
 Творец.
 Любите ближних – будете,
 как дети.

Хоть Истина для многих далека,
 Любовь одна всегда, во все века –
 Исток воды живой на этом свете.

Мелодия

Из глубины души, как лучик
 ранний,
 Возникло звука чистое сиянье,
 И голос зазвучал – все
 многогранней,
 Все ярче, будто Неба дарованье.

Мелодия жила и наполнялась
 Высоким смыслом
 богооткровенья,



АЛЛА
 МЕЛЬНИК-
 ХАЛИМОНОВА

Поэзия





И все живое чуду удивлялось –
Рождению от звука песнопенья.

На свете нет предназначенья выше,
Чем славить Бога сердцем и устами.
И Бог Вас обязательно услышит,
Благословит и вечно будет с вами.

* * *

За прошлое цепляясь, пальцы в кровь
Ободрала. Зачем, скажи на милость?
Оно ушло и больше не приснилось.
Но в нем осталась первая любовь

И дорогие верные друзья –
Все то, чем счастлива была когда-то.
На сумрачных тропинках бытия
Живу теперь лишь тем, что сердцу свято.

Себе оставляю я молитвы вздох,
Мелодию строки и свежесть утра,
И мысль о том, что мир устроен мудро
И, если вдуматься, не так уж плох.

Дивеево

Хожу по земле, о которой радел и молил
Саровский подвижник.

Мне здесь хорошо, будто дома.
И каждая тропка в Дивеево сердцу знакома.
Мне близок уклад этой жизни. Хватило бы сил.

Я сплю по четыре часа, чуть забрезжит – встаю,
Спешу в монастырь, совершенно не чувствуя лени.
Пред ракой святого с молитвой склоняю колени,
Прошу: «Чудотворче, услыши молитву мою».

И кажется, все изменяется в жизни моей,
И батюшка смотрит с иконы с любовью и строго.
Молюсь за любимых своих: за семью, за детей,
А он говорит: «Не ропщи и надейся на Бога.

Сумеешь с молитвой все беды свои одолеть.
Пройди по Канавке, взывая к Царице Небесной,
И ты не заметишь, как мир твой, простой и телесный,
Покажется душным и темным, как тесная клеть.

И Небо откроется, с детства зовущее нас,
К высотам духовным, ликуя, душа устремится.
И станут родными паломников светлые лица.
Молись и проси, чтобы пламень души не угас!»

Я здесь, чудотворче. Как важно не выплеснуть мне
Все доброе то, что с огромным трудом накопила,
Когда появилась в душе моей радость и сила,
И яркий сверкающий лучик забрезжил в окне.

Я счастлива очень. Спасибо, Саровский святой,
За строгость твою, за молитвы и за наставленья,
За добрый совет, по-отечески мудрый, простой,
Но душу ведущий из мрака к высотам спасенья.

Зерно

Зерно упало в землю, и росток
Проклюнулся и к свету потянулся,
И каждый появившийся листок,
Страхнув дремоту, солнцу улыбнулся.

И скоро стало зелено вокруг.
Окрасив небеса зарей румяной,
Взошло Светило, озарило луг,
Лучами заструилось над поляной,

Согрело поле. Так из года в год
Тянулись к свету, прорастая, зерна.



Благодаря за бережный уход,
Боролись с непогодами упорно.

Упало в землю малое зерно,
Но плод богатый принесло оно.

До встречи

Ты пишешь: «До встречи!»
Конечно, любимый, до встречи.
Я очень скучаю.
Как будут тянуться мгновенья!
Я слышала часто,
Что время по-своему лечит,
Но время разлуки, как пытка,
И нет утешенья.

Я мысленно рядом.
Я чувствую прикосновенье,
Тепло твоих пальцев.
Я вижу тебя каждый вечер.
И каждую ночь
Ты приходишь в мои сновиденья,
Но утро все рушит.
До встречи, мой милый, до встречи.

Как хочется в ясном сиянии
Глаз раствориться,
Почувствовать Небо
И солнышка блики родные.
В глазах твоих искорки света
Горят озорные.
Я их замечаю, хоть ты
Опускаешь ресницы.

Я так благодарна тебе,
Мой хороший! До встречи!
Слова твои счастьем легчайшим
Ложатся на плечи.

Притяжение Кавказа

Часть вторая

1

И минул еще год, и выдался он для государства Российского и для ее самодержицы Екатерины Второй не менее трудным и напряженным, нежели предыдущие.

По-прежнему султан, открыто нарушая Кучюк-Кайнаджирский трактат, строил отношения с Россией на лукавстве и нескрываемой неприязни. Турция держала свои войска в Тамани и в Крыму, при этом выплачив в счет контрибуции лишь мизерную сумму левков из той, что была оговорена в договоре. Ссылаясь на свидетельства (заведомо ложные) английских, голландских и французских купцов, что у Керчи стоит в ожидании выхода в Черное море не торговый флот, а военный, Константинополь отказался пропустить его. Стахиев, новый посол в столице Порты, крупно поговорил с новым рейс-эфенди. Но никаких мер со стороны султана не последовало. И это подтверждало донесение конфидентов, что турки весьма ободрены слухами об ухудшении отношений



**ВЛАДИМИР
БУТЕНКО**

Проза





России со Швецией, которая активно вооружается, и с Польшей, где назрела новая конфедерация, и вскоре для сношений с Абдул-Гамидом сюда прибудет некий варшавский порученец.

Еще хуже обстояли дела в Крымском ханстве, обретшим независимость. Друг Турции, хан Девлет-Гирей, фактически отказался от самостоятельности государства и принял султанскую инвеституру, что свидетельствовало о его полной подчиненности. Всему миру было объявлено крымским владыкой, что Кабарда принадлежит, равно как и правобережная Кубань, его ханству. А чтобы обезопасить себя, он всячески старался удерживать турецкие войска в Кафе и Тамани. И эта откровенная дерзость внушала русской императрице крайнее беспокойство. Да, годовщина мирного трактата была отмечена всенародно и с гигантским размахом, но плоды этот договор так и не давал. Разве что не стало боевых столкновений...

Беспорядочно складывались заседания польских сеймиков, благодаря проискам французов, вносящих распри между королем и шляхетством. Дело дошло до того, что эмиссар графа д'Артуа, брата короля Людовика XVI, явился к Станиславу-Августу и предложил отказаться от польского престола в пользу своего патрона, пообещав взамен Лотарингию. Но камнем преткновения, что хорошо понимали Екатерина и Потемкин, оставались Крым и Кавказ. Французский и венский Двор, как и «дражайший Фридрих», не только препятствовали усилению Петербурга и расширению его влияния в Европе, но были едины в политике стравливания России с соседними державами. Впрочем, император Иосиф, пользуясь тем, что Порта была обескровлена многолетней войной, отхватил от османской территории в пользу Австрии изрядный кусок

придунайских земель. И султан смирился, – не ввязываться же в новую военную кампанию, если казна пуста, флот только восстанавливается, армия деморализована? В одном Абдул-Гамид был убежден твердо, что надо противостоять России, опираясь на крымского хана.

В мае 1776 года бригадир Бринк рапортовал командующему корпусом князю Прозоровскому: «Едичкульская орда уверена от хана крымского, о ожидающих в Крым, отряженных от Порты Оттоманской в пособие крымцам четырех военных кораблей к отнятию Керчи и Ениколе; а потому они и начинают переселяться с здешней стороны Кубани на Таманский остров, к переходу в Крым; или бы, оставя там свои семейства и скот, набеги чинить здешний край на отвлечение едисанов, джамбулукков и части едичкулов, кои между едисанами на Чубурах кочуют, держащихся еще нашей стороны, а они, внимая таковые слухи за невероятные, также мысленно колеблются».

Сколь опасны такие колебания, способные разжечь мятеж ногайских орд, Екатерина оценила немедленно. К границам Крыма придвинулась российская армия. Благодаря огромным стараниям бригадира Бринка, убеждающего ногайских мурз и беев в необходимости избрания крымским ханом Шагин-Гирея, а также подаркам и щедрым выплатам, калга-султан был заочно, на кубанской стороне, возведен на ханский престол! Не теряя времени, он пишет в начале ноября секретные письма влиятельным крымчакам, противникам Девлет-Гирея, ширинскому бею, ширинскому Гемир-Газе мурзе, Абувели-паше, мансурской фамилии Касай-мирзе и Галим-Гирей султану, в которых уведомляет о своем скором приезде и о том, что князь Александр Александрович Прозоровский с пятидесятитысячным



войском прибудет в Перекопскую крепость. Потому всем им, его сторонникам, явиться к князю с войском и поддержать его, Шагин-Гирея, как признанного хана.

Путь русского корпуса из Малороссии, от Александровской крепости и из бывшей Запорожской Сечи, где размещался, был долог. К тому же, затруднили продвижение неожиданно ударившие морозы. Лишь на исходе ноября Прозоровский занял Перекоп. Бригадир Бринк вел свои полки с Кубани, охраняя и свиту Шагин-Гирея, рвущегося в Крым. Между тем о приближении русской армии прознал Девлет-Гирей. Когда же корпус разместился в Перекопской крепости и близлежащих селениях, и стало известно о подметных посланиях Шагин-Гирея, извещавших о его возвращении на родину в качестве хана, Диван и сам Девлет-Гирей, встревоженные угрозой нападения русских, обратились к командующему корпусу за разъяснениями. Их успокоили, что корпус разместился тут временно для решения некоторых проблем.

Еще в ночной час, совершая намаз в дворцовой мечети, он слышал, как гудел за стенами злой северный ветер, как за окном постанывала старая сосна, посаженная еще давним пращуром. А после молитвы он больше не сомкнул глаз, размышляя о выходе русской царицы, столь неожиданно пришедшей в его страну с войском. Безусловно, это прямо нарушало трактат о мире, который и она, и султан ратифицировали, предоставив Крымскому ханству полную независимость, признав халифство Абдул-Гамида как лидера всех магометан. Лазутчики сообщили ему о приближении несметных сил неверных заранее, и каймакан Ор-бей султан увел татар с Перекопа, забрав весь скот и провиант. Но что

он, Девлет-Гирей, законно избранный Диваном хан, мог противопоставить русскому генералу? Только помощь султана, его янычары и фрегаты способны остановить гяуров от посягательства на Крым. Цель Екатерины, как твердо полагал он, не в захвате ханских земель, что привело бы к столкновению с Портой, а свержение неугодного ей хана. И эта обрусевшая немка уже наметила, кто будет куклой в ее руках, кто отвернет крымцев от османов и станет вассалом России на юге. Это, конечно же, подлый Шагин-Гирей!

– Да покарает тебя всемогущий Аллах, изменник и враг моего народа! – в сердцах воскликнул Девлет-Гирей, вставая с кожаного диванчика в своем кабинете и направляясь в зал заседаний, куда ровно в полдень он пригласил представителей татарских родов, чтобы объявить о сборе войска.

Хотя в Хан-Сарае и топили печи во весь жар, в переходах, в большом зале было довольно прохладно, и Девлет-Гирей почувствовал, как стали неприятно зябнуть пальцы, и приказал бешлею-охраннику принести рукавицы из козлиной шерсти.

При вхождении хана в малый зал, радужно освещенный витражами, приглашенные встали и преклонили головы. Девлет-Герей, в теплом халате, украшенном парчовыми вставками и расшитом золотой нитью, в бархатной татарской шапочке, очень идущей ему, строго окинул взглядом собравшихся и, нахмурившись, разрешил всем садиться. Гнев от того, что его воле не подчинилось большинство беев и мурз, присягавших на верность и ратовавших за него при низвержении Сагиб-Гирея, перехватил горло спазмом. И после молитвенного приветствия эфенди он еще долго молчал, точно бы слушая, как разгулялась на дворе метелица.



– Вот, даже погода гяурская, противная земле нашей, – с усмешкой произнес, наконец, Девлет-Гирей. – Полтора года назад вы, сиятельнейшие мурзы и беи избрали меня своим ханом. И я все делал для того, чтобы ваши чаяния и намерения, связанные с новым устройством жизни в государстве, с благом всех татар, были выполнены. Смута между родами и фамилиями пошла на убыль. Торговля с Портой оживилась. В мечетях, как никогда прежде, много людей... Вам есть в чем-то упрекнуть меня? Говорите открыто. Мне это важно знать.

И снова в малом фонтанном зале стало так тихо, что донеслось до слуха вкрадчивое журчание воды, которое тут же заглушили нахлесты вьюги по дворцовым витражам.

– Почему же тогда на мой ханский призыв, в эту немилостивую для страны пору, многие не явились? Эти безумцы готовы снова сменить своего правителя! Но суть, мои уважаемые братья, в том, что эти нечестивцы помышляют только о собственных выгодах. Они готовы продаться русским, как это сделали орды ногайцев. За большие деньги из казны гяуров их мурзы и аги объявили, – рассудок отказывается в это поверить! – Девлет-Гирей задохнулся от негодования. – Они объявили крымским ханом бывшего калгу-султана. Златолюбцам и продажным рабам все равно, что будет в ханстве. Их устраивает любой правитель, лишь бы им было хорошо... И я поднимаю меч и на этих отступников от веры нашей, и на самозванца-хана, и на русских захватчиков! И намерен сам сесть на коня и вести в бой славных потомков рода Гиреева! Надеюсь, что наши братья из других ветвей татарского древа встанут рядом во имя Аллаха и Крымского ханства!

Мурзы взволновались, слышались приглушенные голоса. Представитель мансурской фами-

лии Аслан-Али, одетый в медвежий бешмет, с длинным кинжалом на поясе, обратился к хану, сверкнув глазами:

– О, почтенный и великий наш владыка! Пусть не смущает тебя, что здесь не все из мурз, кто готов умереть за тебя. Непогода и снег на перевалах не позволил иным приехать в Бахчисарай. Но они выставят свои силы для борьбы с русскими! В назначенный тобою день приведут своих воинов... Да, есть среди людей нашей фамилии отщепенцы. Я не вижу здесь ни Касай-мурзы, ни его старшего брата бея, ни Селим-Шаха мурзу. Мне стыдно за них, клянусь Аллахом!

– Спасибо, Аслан-Али, за слова поддержки, – отозвался хан. – Рядом с тобой я вижу других мансурцев. И за это отплачу вам милостью! А с ширинскими мурзами, которые посчитали не обязательным явиться в ханский дворец, пути наши еще пересекутся...

Эфенди и улемы, присутствовавшие на совещании, члены Дивана предложили хану для того, чтобы успеть собрать войско и отсрочить продвижение захватчиков по крымской земле, обратиться к Прозоровскому с отдельным посланием от правительственных чиновников.

– Оно уже подготовлено, – сообщил седобородый кадиаскер.

Девлет-Гирей, стянув с рук шерстяные рукавицы, нетерпеливо кивнул верховному судье. Тот, далеко отнеся руку с листом бумаги, стал читать суровым тоном, точно бы приговор.

– Светлейший князь! Двор Порты Оттоманской и Двор Российский заключили между собою вечный мир, который со стороны крымской области нисколько не нарушен и его всегда свято почитаем, но вы в противность оного, с толикою армиею, в Перекоп



прибыли и далее внутри фамилии здешнего народа приближается, чем крымскую область привели в великий страх.

– Надо ли так писать? – засомневался Девлет-Гирей, искривив губы.

– Это официальный документ, – пояснил брат-калга, Шабаз-Гирей. – Пусть знает, что вызывает у народа чувства неприятные.

Приняв молчание хана за согласие, верховный судья продолжил:

– Правда, что вы оный трактат также почитаете, однако ежели вы хотите договариваться с вашими приятелями, то, не вступая внутрь фамилии здешнего народа, остановитесь в Перекопе, откуда и чините с нами договоры, чего ради и письмо сие, для изъяснения написав, к вашему сиятельству посылаем... Далее – подписи наши.

Девлет-Гирей велел отправить гонца к Прозоровскому и распустил приглашенных. Остались с ним только брат-калга и перекопский каймакан. Тень легла на лицо хана. Вызов ширинских и мансурских мурз больно задел его самолюбие. Действовать самим, а не ждать, пока жалкая чернь сподобится взять в руки оружие, вынуждали обстоятельства.

– То, что люди неблагодарны, истина стара, – с презрением проговорил хан. – Слава Аллаху, что теперь мне известно, кто подлинные друзья. Их не так много. Год уходит. Уже начался декабрь. Поэтому, брат мой Шабаз, мы должны сами собирать войско, ездить по городам и селениям, встречаться с правоверными магометанами. Только убеждениями можно их привлечь к себе! И ежели наши посланники проворно доберутся до Константинополя, султан, чаю, не оставит нас один на один с общим врагом!

– На море сильное волнение. Да спасет Аллах наши суда! – тотчас ответил Шабаз-Гирей и вздох-

нул: – Сколько бы мы не собирали людей, силы будут неравными. И при необходимости, если нас также предадут и другие мурзы, мы должны покинуть Крым.

Хан поднял голову и близко посмотрел брату в глаза.

– Не опережай событий. Ишак со вьюком должен идти сзади... Завтра мы отправимся с тобой в Ак-Мечеть, затем в Кезлев и в горные селения... А за старшего здесь останешься ты, Ор-бей султан. В мое отсутствие ни русским купцам, ни христианам притеснений не чинить. У Прозоровского нет формального повода воевать против нас. Его лисья хитрость мне понятна. Он явился сюда только для того, чтобы прикрыть или поддержать предателя Шагина. Вот в чем разгадка прихода русских! А вторая причина – Кабарда. Екатерина самовольно забирает принадлежащую нам территорию. Карасубазарский трактат, навязанный Сагиб-Гирею, мною отменен. Кабарда была и будет частью Крымского ханства, ибо она связана с нами вассальскими отношениями со времен Золотой Орды. Россия никогда не покорит Кавказ, принявший ислам. Мы поднимем знамя борьбы против неверных, и они отступятся! Поэтому необходимо срочно направить наших посланников к кабардинцам и другим народам, чтобы они начали общие военные действия против русских. Если загорится Кавказ, кафиры уйдут отсюда, как жалкие шакалы. Тогда и султану Порты будет легче противостоять русским завоевателям. Поверьте мне, братья мои, что мы сокрушим эту сумасшедшую русскую немку!

К вечеру метель унялась, и Девлет-Гирей в окружении охранников сделал конную прогулку по заснеженному лесу. Дважды стрелял он из ружья в зайцев, и оба раза удачно. Затем уложил косулю.



Морозец и везение, сопутствующее ему в этот день, вернули бодрость духа. Возвращаясь домой, он размышлял о странной несправедливости, преследующей людей. Вот он, хан по крови, много воевал, рисковал жизнью ради того, чтобы взойти на престол и, создав мощную армию, превратить Крым в могучую державу. Но это его стремление и великий замысел погрязли в междоусобных драчках и склоках татарских и ногайских мурз, в грызне невежественных и алчных дикарей. И стоит ли ради них лишаться жизни? Ради этих жалких людишек, отвергших его при первой угрозе? У него теперь здесь, в Бахчисарае, есть жены и мальчики, и не лучше ли будет продолжать свой век на другой, более спокойной земле? Золото и левки припасены на долгие годы. Он еще молод и сумеет дать русским бой! А в случае неуспеха, с помощью Аллаха, отплывет в сторону Константинополя...

2

Сон был краток и странен. Будто бы подошел он к покоям «любимой голубушки», а из-за закрытой двери доносятся смех и нежные восклицания. Обезумевший от ревности, он стал выламывать дверь ударами сапог, схватился за ручку и – она вдруг оторвалась. С жутким ускорением полетел он вниз, по лестнице, переворачиваясь и ушибаясь, крича в пустое пространство...

Потемкин проснулся с головной болью. В его опочивальне, жарко натопленной с вечера, пахло морозной свежестью. В щель между бархатными портьерами прорезывался лунный свет, и он, проследив его траекторию, увидел на спинке кресла тонкий прямой луч, похожий на лезвие кинжала. И вспомнил невольно, что днями вместо заболевшего князя Прозоровского в командование Крымским

корпусом вступит его другой боевой сослуживец Александр Васильевич Суворов. И начнется наступление на Бахчисарай ногайско-абазинского отряда Шагин-Гирея. Январская стужа, конечно, не лучшее время для боевых действий, но медлить было недопустимо. Сместить ставленника Турции с ханского престола необходимо было до того, как султан замирится с Ираном...

Не любя бодрствовать в постели, Потемкин поднялся, несмотря на предутреннее время, зажег от пламяца ночника-кенкеты свечу и перенес огонь на канделябр, стоящий на рабочем столе. В каждом его кабинете имелись столы, оснащенные письменными принадлежностями. Вспомнилось, что с вечера остались не просмотренные бумаги, подготовленные адъютантами. Он придвинул кресло, удобно устроился в нем и взял сафьяновую папку. Из штаба фельдмаршала Румянцева поступили рапорты первой половины января наступившего года, в котором сошлись три семерки. Он посмотрел на календарь и долго не отводил взгляда. «Действительно, необычное сочетание. 1777. Что он принесет нам? Не разочтешь по дням и не угадаешь. Даст Христос, будем здоровы, и не коснутся лишения Отчизны нашей».

И Рождество, и святки пролетели стремительно, и начавшийся разлад в отношениях с тайной супругой Екатериной Алексеевной становился ощутимым. Григорий Александрович откинулся на спинку кресла, слегка спружинившую, и с грустью вспомнил о недавнем времени, когда теплота и искренность были между ними, несмотря на случайные размолвки. Он был не только ее рабом и любовником, но и соправителем Державы. Об этом матушка-государыня прямо никогда не говаривала, хотя без его совета не принимала ни единого важного решения. Да и в письмах и записочках своих уверяла, до



мая прошлого года, что верна ему, и любит. Однако он знал достоверно, что ложе царицы вместе с ним делит ее новый секретарь Завадовский.

– Сам ты, Григорий Александрович, наивный и слепой глупец! – вслух попенял себе Потемкин. – Не ты ли, со слов Румянцева, рекомендовал этого учтивого и услужливого полковника императрице? Не ты ли покровительствовал ему и усадил за один стол с придворными? А теперь вкушай, милостивый государь, плоды от рук своих!

В эту одинокую минуту почему-то явственно вспомнился ему трагический апрель минувшего года.

Он и Григорий Орлов, два бывших фаворита, находились в покоях умирающей Великой княгини Натальи Алексеевны, поддерживая императрицу, много часов дежурившую у постели невестки. В покоях царила тяжелая тишина и шепот. Близкие друзья в молодости, два Григория, оба отцы ее детей, они были причастны и к воцарению Екатерины и к делам государственным. Но, пренебрегая друг другом, оставались по-прежнему взаимовежливы. Орлов, прослышав о новом любимчике царицы, с иронией поглядывал на великана Циклопа, разделившего его участь. Потемкин никак не реагировал. Любовные утехы, в конце концов, это еще далеко не все! Великая женщина «Катерина», как она именовала себя, не лишена была слабостей, как любой человек. Но отношений к нему, венчанному мужу, не изменила. Да, отдалилась. И голос сделался каким-то пустым, холодноватым. Но стоит ли винить ее за то, что потеряла интерес к нему, как к мужчине?

Екатерина вышла тогда из опочивальни невестки с отрешенным лицом, сильно побледневшая. В дальней комнате, однако, помня о других, она приказала накрыть стол. Но, сидя с бывшими фаворита-

ми, изрядно проголодавшимися, она лишь ласково поглядывала на сердечных дружков, не прикоснувшись к ужину. Странное чувство испытал в тот час Григорий Александрович, некую обиду, что он приравнен к Орлову, собиравшемуся жениться на Зиновьевой, по сути уже чужому человеку. Спустя месяц с лишком, не выдержав ревнивых терзаний, он объяснился с Екатериной, сказал о своем намерении навсегда покинуть Двор. Она милым увещеванием и особой теплотой, соглашаясь исполнить все его желания, удержала «милую милюшу» на государственной службе. Но... наотрез отказалась уволить секретаря Завадовского!

Григорий Александрович раздраженно потряс колокольцем, и тотчас в покои вошел дежурный адъютант.

– Прикажи, братец, подать мне глинтвейна. И жару в печи поддать!

Горячее вино согрело, и Потемкин стал прохаживаться по кабинету, разминать ногу, поврежденную прошлым летом при осмотре войск в Новгородской губернии. Первоначально он намеривался остаться до дня тезоименитства государыни, но наблюдая, сколь сблизилась она со своим секретарем, сразу уехал. Екатерина, судя по всему, о «милюше» не забывала. И как только узнала о его болезни, срочно направила на лихих лейб-медика Соммерса, а впоследствии постоянно справлялась о здоровье, присылая курьеров. Тогда же он получил весть о царском подарке – купленном специально для него Аничковом дворце. При этом она предупредила, что его покои при Дворе никогда и никем не будут заняты...

В складках портьеры и в углах кабинета, где гобелены слегка шершавились, таилась мгла. Он перемещался по комнате, и его большая тень тоже



двигалась по полу, по стенам, навевая нечто мистическое, – с детства знакомое чувство. И он опять с нежностью и благодарностью стал думать об императрице, давшей фрейлинский шифр дочерям его покойной сестры – Александре и Катеньке. Она оставалась по-прежнему внимательной и отзывчивой, но, увы, уже не любила его и не верила тайн сердечных. Только дела и судьба страны связывали их неразрывно, и он тоже, часто выезжая в армию, отсутствуя подолгу при Дворе, поотвык от любовных ласк Екатерины. Как говорится в каком-то стихотворении, жизненный поток разделил их. А те женщины, с которыми он теперь бывал, смиряя плоть, не отвлекали излишне и не причиняли душевных страданий.

Обязанности наместника Новороссийского и Азовского, главнокомандующего всех казачьих войск и президента Военной коллегии требовали действий энергичных и смелых. Он истребовал сто двадцать тысяч рублей на обустройство бывших запорожских козаков, убедил самодержицу смягчить наказание их предводителям, сосланным не на каторгу, а в монастыри. Тогда же, весной прошлого года, подал доклады о создании Астраханского казачьего войска и изменениях в управлении Войска Донского. Добился он и решения насущной проблемы – постройки флотилии транспортных судов для нужд азовских крепостей. И, наконец, по его приказу стал воплощаться в дела план по укреплению границ.

Впервые об этом он доложил государыне в Москве, после празднования победы над Портой. Она одобрила его донесение, где ключевым пунктом было ограждение русских земель от нескончаемых нападений горских племен. В минувшую осень астраханский губернатор Иван Варфоломеевич Якоби

вместе с полковником Германом, сопровождаемые топографами, совершили рекогносцировку, путешествуя от Моздока в северо-западном направлении, в сторону Азова и границы области Войска Донского. Их сведения о географических особенностях местности и заметы о народонаселении помогли начать работу над созданием пограничного рубежа, укрепленного крепостями. Осложнение в Крыму, угроза новой войны с Портой, колобродство в Кабарде и Чечне побуждали приняться за сие грандиозное предприятие неотложно. Одновременно с этим нужно было привести к власти Шагин-Гирея, чтобы не получить неожиданный удар в спину от татарского войска. Да и горцы, лишившись подстрекательства Девлет-Гирея, еще задумаются, стоит ли враждовать с Россией!

Потемкин стал просматривать донесения из Крыма. Это был рапорт бригадира Бринка князю Прозоровскому от 12 января 1777 года. "Посланные наши за Кубань к едисанам и джамбайлукам с листами к высочайшему Ея Императорского Величества Двору такового же содержания, каковы получены были от едичкулов и занинцов, преданности новоизбранному Шагин-Гирей хану, здесь изготовленными, возвратились благополучно». Далее бригадир писал о том, что некий сторонник Девлет-Гирея захватил едисанских и дамбайлукских мурз, оттого и печати к листам, подтверждающим их согласие на избрание ханом Шагин-Гирея, не получены, хотя народ единогласно поддерживает его. Далее следовало: «В бытность наших там, между ордами довольно они приметить могли, что весь народ в великом от горцев страхе находится, терпя от них всегдашние грабежи, спасаясь. Отчего как сами с аулами не могут в теперешнее время тронуться, скот свой отогнали на здешнюю сторону и держат



около Егорлыков и Маныча, при том же от многих и верных людей слышали, что подстреканием султанов темиргойцы, бжедухи и прочие горцы, скопясь толпами, намерены были делать свои покушения и к нашим войскам...»

Григорий Александрович, оторвавшись от чтения, снова убедился, сколь необходима мощная линия защиты от варварских набегов горских отрядов. И, пожалуй, следует отозвать с Кавказа де Медема, усердного, но неповоротливого, или употребить его в ином качестве. А всю власть передать знакомому по турецкой войне Якоби. Пусть генерал-майор не молод, но опытен в дипломатии и в торговых поручениях. В преданности же своей престолу Российскому он был много раз замечен в жестоких баталиях с турками, являя мужество.

Потемкин снова углубился в чтение военных рапортов и донесений, а когда поднял уставшие глаза, с удивлением обнаружил, что из-за портьеры пробивается свет. Он с удовольствием потянулся, встал и подошел к окну, сдвинул занавеску. В глаза хлынул яркий разноцветный день! На строящейся набережной хлопотали артельщики. Невский голый лед синел, отражая ясное небо. А на кончике шпиля Петропавловской крепости золотистой звездочкой сиял утренний луч!

3

Зимними вечерами, когда маленький Дамирчик, или Демьян, как звали его по-русски, забирался на лежанку к бабушке, оставаясь с мужем в горнице, Мерджан любила расспрашивать его о пребывании в Москве, о том, как он видел царицу и про всякие тамошние чудеса. Леонтий, как и жена, не торопясь полужигвал жареные тыквенные семечки и неторо-

пливо вспоминал. Чаще всего говорил он о том, как командовал подчиненными, добавляя, а, может, до-сочиняя новые подробности.

– Ну, повтори еще про царицу, – попросила Мерджан, подбросив в печь дубовых чурок, чтобы в ней дольше держалось пламя.

Леонтий, ладонью загребя со стола семечек, уместился на табурете и улыбнулся:

– Я же про это гутарил недавно.

– А мне любознательно. Может, упустил что-то, – возразила Мерджан, поправляя на плечах шерстяной платок. – Вся ночь еще впереди.

Леонтий сосредоточенно помолчал, собираясь с мыслями.

– Прошел, стало быть, великий праздник замирения с турками. И дождались мы дня, когда полковнику Орлову приказал главнокомандующий Потемкин возвратиться на Дон и набрать новую команду. Уехал он, а вместо себя назначил есаула Баранова. Уже осень в середине, уже гуси в небе кугычат, и снежок припорошивает, а мы все в казармах нудимся. Одно и знаем, что коней чистим-блистим, да фигуральные поездки совершаем. Мне тогда уже передали из войсковой канцелярии, что ты вернулась домой, да еще с малым сынишкой. Душа обрадовалась и невмочь разболелась. Хотел сбегать из этого рая принудительного, от муштры дурацкой.

– А этот самый Потемкин, он каков обличем? – вставила Мерджан, пока муж поправлял чадающий в светце фитилек.

– Да как тебе не соврать... Ростом великан, упитанный, белые штаны с черными сапогами носит и мундир расшитый золотом, с лентами и орденами. А лицом приятный, круглый и розовощекий, только вот один глаз у него как будто не двигается. В аккурат перед праздником победы над турками,



на смотру, он проезжал вдоль строя. И, поверишь, прямочко супротив меня придержал своего меринка, – глаз не оторвешь, такой конь! Должно, немецких кровей або венгерских. И глядит на меня в припор, пучит глаз. А второй, как ледышка, в сторону косит. Спрашивает, кто я есть и служил ли в турецкую? Так точно, мол, служил в полку Платова. «Ивана или Матвея?» – уточняет Потемкин. Я и растерялся! Вот голова, всеми войсками командует, а донских полковников по именам знает! Когда сказал ему, он Матвея Ивановича добром помянул. Похвалил, как мы на Калалы с крымчаками и турками бой вели, не дрогнули перед тучей их войска. Ну, и пообещал, сам не знаю почему, мне поощрение сделать.

– Это – жетон серебряный, что в шкатулке?

– Он и есть к годовщине победы над Портой. Я опосля, когда в караулах стоял или не спалось, об этом человеке величавом много думал и пришел к тому, что все его почитают и притом боятся, как никого. Стало быть, он силу духа такую имеет, что наврде колдует людей. Не иначе! А, гутарят, службу начинал вахмистром в Преображенском полку. И до какой высоты досягнул!

– Погоди, он разве не из благородных? – удивилась жена. – Из простого рода?

– Это у вас там всякие мурзы, роды и беи, а у нас даже простолюдин во дворец царский вхож. Сказывал мне один повар, что в царских покоях, в Коломенском дворце служил, дескать, самый главный ученый на Руси был из архангельских купцов либо мужиков. Фамилия у него чудная, Ломоносов. Так этот самый мужичок за пояс всех заткнул: и французов, и прусаков, и шведов. Правда, зараз он помер. Вот и я хочу к наукам притянуться. В Москве будучи, читал. И библию, и книгу про военное искусство.

– Я тоже бы читала, меня мать-русинка научила. Ты бы попросил у родственника нового, у супруга Марфуши, хоть одну книжонку. Вот и будем читать вслух, по очереди.

Леонтий вздохнул. Он до сих пор не мог простить обиды, затаившейся у него на сестру и мать, сыгравших свадьбу в его отсутствие. Не за красавца Касьяна пошла его сеструшка, а за овдовевшего полковника Стрехова. Игнат Алексеевич, нечего сказать, был офицер храбрый и почтенный, но возрастом превосходил невесту в два раза! Дочь у него, калечка, была старше Марфуши. И когда приехал Леонтий из Москвы, долго она не шла в родительский курень, избегая объяснения с братом. Он-то знал, что любила она по-настоящему своего бывшего синеглазого ухажера. Но когда всё же их встреча состоялась, и увидел Леонтий родное лицо сестры, с повинной хмурью в глазах, не стал ожесточаться. И слова Марфуши, что супруг ее человек хороший и непридирчивый, любящий ее, принял на веру. Родная кровь все пересилила...

– Вот придет сестрица, сама ей и напомни, – отозвался Леонтий и помолчал, обретая прежний настрой. – В декабре, стало быть, поднимают нас по тревоге. Велено от Потемкина сниматься, грузить на подводы пожитки, седлать лошадей и скорым маршем двигаться на Калугу. За два дня до этого города добрались А там есаул разбил нас на четыре эстафеты. Одни в деревушке Алешне, следом – в сельце Титове, меня со взводом – в Посошках, а сам Баранов с оставшимися – в Калуге. Оповестили нас, дескать, совершает государыня путь на юг. А мы, донцы, должны ее поезд партиями встречать, брать под конвой и передавать по эстафетам. Целую ночь на холодюке лошадей мордовали, ждали с часу на час. Я по такой причине и глаз не сомкнул. Утром



фельдъегеря промчались, за ними курьеры и военные. Вплели мы в гривы ленты, зеленые мундиры нарядили, усы подкрутили. И вот кареты подъезжают. Одна другой краше. Четвериком и пятериком запряженные, а конечки откормленные, ходкие. Подскочил ко мне полковник пучеглазый, расставил нас по обе стороны дороги. Насчитал я ажник двенадцать карет, а в какой государыня – неведомо. Тут полковник еще сильней таращит глаза и показывает на большую карету с гербом. Поравнялись мои казаки с нею, поехали. Ну и я с правой стороны. Вдруг замечаю, поезд сбавляет ход. Останавливается царская карета, сама царица дверку откидывает и по ступеньке спускается. Мы как раз по лесной дороге ладимся. Я ее сразу угадал! В Кремле запомнил. Только теперь одета она была в соболиную шубенку, а волосы были гладко зачесаны. Обликом такая же, величавая, – у меня аж дух заняло! Айдан мой будто почуял чтой-то, и давай с ноги на ногу перепадать, как учили в Коломенском на выезде. Тут царица и поворачивается. И, поверишь ли, идет ко мне. Что делать? Слезить на землю аль нет? Слезу – конь мой станет, не удостою чести императрицу – нагоняй получу, а то и разжалуют. Когда оборачивается матушка-государыня к прислуге, приказывает ей. Я не расслышал. Потом и ко мне обращается: «Ты казак?» Я, как требовали в команде, во всю грудь гаркнул: «Точно так, Ваше Императорское Величество! Сотник Войска Донского Ремезов». – «Сдается мне, где-то я тебя видела», – говорит она и прищуривается. Меня как варом обдало. Молчу, и она молчит, напоминает. Подносит ей слуга корзинку с яблоками. И Ее Императорское Величество, нисколько не страшась, подступает к моему буйному конику и подает угощенье. И шельмец мой перестает плясать, опуска-

ет голову, как вроде благодарит, и берет яблоко в аккурат губами, чтоб ручку царскую не повредить. «Хорош конь, умом быстр, – хвалит государыня и снова антоновку подает, а гривач мой знай себе уплетает. – Бывал в бою?» – «Точно так! В бою его и добыл. Я на нем зайца догоняю...» Тут она голову поднимает и восклицает так, что я обомлел. «Узнала я тебя, голубчика! Это ты едва-едва мою карету не опрокинул, когда я летом из Царицына ехала? Дикарь! Ты, ты...» Я смекнул, что сдуру проболтался. Ну, и осмелел. Деваться некуда. «Было такое, Ваше Императорское Величество. Гонял я косых по лесу. Без того конь силу в ногах теряет. Извольте помиловать, не умысла ради было сие...» Она покачала головой и улыбнулась. «Женат? Детишек завел?» – «Обзавелся и женой и сыном». – «Скучаешь, небось?» – «Дюже скучаю. Год в разлуке». – «Ты в любовных делах усердствуй. Пусть молодка побольше рождает детей казацких, воинов наших». – «Рад стараться, Ваше Императорское Величество!» Тут она с пустой корзинкой отошла, придворные засуетились. И поезд царский далее тронулся. В Калуге принял эстафету есаул. Получили мы благодарность за службу, а на другой день двинулись маршем до Тулы. Там встретились со сменщиками, с Дона прибывшими. Передали новым конвойцам скарб и кафтаны зеленые. И погнали лошадей на родину. Летел я домой, души не чая.

– А как я тебя ждала! Гадала, что скажешь, когда сыночка увидишь...

– Да что говорить! И родила ты его, сладушка, и выстрадала сколь... Кабы не утаила тогда, ничего бы не было. Ну, зараз Зухра эта вместо тебя в кибитках скитается, – проговорил Леонтий с недоброй усмешкой. – Навек из Черкаска выслали!



Мерджан переводила дыхание и мечтательно говорила:

– Аж не верится, что с тобой государыня всей империи речь вела. Я бы от страха и словечка не вымолвила! А ты еще не растерялся, когда впросак попал. Неужто она взаправду про детей так говорила?

– Богом клянусь. Так и приказала: «Усердствуй!»
Мерджан смущенно улыbnулась.

4

Зодич пробыл в Петербурге лишь неделю и, ввиду осложнившихся отношений между Парижем и Лондоном, снова отправился на берега Сены. Тогда же он получил подробные инструкции из Коллегии иностранных дел. Особое внимание поручалось уделять политике Версаля на юге, ее связям с Портой. Установив деловые связи с производителями гобеленов, получив от них полномочия вести переговоры, Зодич в октябре выехал в Константинополь.

Пребывание в турецкой столице для конфидента оказалось весьма полезным. Во-первых, через торговцев и влиятельных особ он стал вхож в султанский дворец, где к нему, знатному французу и коммерсанту отнеслись заинтересованно. А, во-вторых, на выгодных условиях нашлись покупатели гобеленов, что ему сулило немалый куш. Он собирался уже выезжать в Париж. Но тайный вызов в русское посольство порушил все планы. Краткая встреча его со Стахиевым по приезде в Константинополь носила, скорей, ознакомительный характер. Но теперь посол был чрезвычайно серьезен и обратился с неожиданным предложением.

– Я получил от государыни рескрипт, касающийся крымских дел. В ханстве царят смятение и неурядицы. Артикул трактата о независимости Крыма нами соблюдался неукоснительно. Матуш-

ка Екатерина Алексеевна воздержалась от нашего вмешательства, когда Девлет-Гирей сверг Сагиб-Гирея и занял ханский престол. Мы стерпели и его заявление о прежних дружественных отношениях с Турцией. Однако враждебность к ногайским ордам, желание подчинить их силой, для чего и был послан Тохтамыш-Гирей, учинивший кровавую бойню, превысили всякое терпение государыни. Для водворения мира и порядка корпус Прозоровского занял Перекоп. Калга-султан Шарин-Гирей провозглашен ногайскими ордами самодержным ханом. Он с войском, при поддержке бригадира Бринка и своих двух братьев, вытеснил турецкий гарнизон из Тамани. Письмо воеводы Орду-агаси ко мне с просьбой разъяснить причину нахождения русских войск на Перекопе открыло всем тайну, что в Темрюке и Тамани турки держат внушительные силы. Теперь Орду-агаси согласился перейти в крепость Очаков под конвоем наших воинов. Удаление турок с крымской земли устраняет препятствия для решительных действий калги-султана. Завтра посыльный Девлет-Гирея, так называемый чегодарь Булат-бей, вместе с курьером турецкого визиря и моим офицером, капитаном Сурковым, отбудут в Крым. Не угодно ли и вам присоединиться к ним, по моей рекомендации, чтобы, представляясь торговцем, убедиться, что там происходит. Сведения, поступающие из Крыма, как сказано в полученном мной рескрипте, крайне противоречивы. Многие отказываются воевать против русских, другие колеблются, третьи ведут тайную переписку с Шагин-Гиреем. В то же время мой «канал» сообщил, что султан приказал собирать свой военный флот. Что тому причиной неизвестно. Готовы ли вы исполнить мою просьбу? Панина я немедленно уведомя курьером. А с князем Прозоровским вы, помнится, говорили, что знакомы.



Зодич не ожидал такого поворота беседы. Подумав, он ответил уклончиво:

– Не вызовет ли это подозрение у турок? Я не рассматривал возможности такой поездки. Не скрою, она создаст мне немало проблем. Впрочем, если возвратиться обратно...

– Ваше нахождение в ханстве, друг мой, надеюсь, не затянется. Государыня поручила мне начать переговоры с рейс-эфенди. Шесть наших судов зимуют в Константинополе, пять торговых и лишь одно – военное. Османские власти не пропускают их в Черное море. Государыня намерена принять решительные меры! И в первую очередь, в Крыму и на Кавказе.

Зодич не торопился с ответом. Но исподволь приходил к выводу, что должен согласиться, что должен ехать.

В 36-й день (по отбытии из Крыма) месяца Дзюлгидше, в первую пятницу, как написал в своем донесении чегодарь, делегация от султана и Стахиева, вместе с французским купцом, прибыла в Перекопскую крепость, где передала письма генералу Прозоровскому. Александр Александрович, выглядевший по причине длительной болезни ослабевшим, остался с конфидентом тет-а-тет и дал несколько дельных советов. Кроме того, назвал имена конфидентов, которые могут быть ему полезны, из торгового люда, – грека Панаиода и армянских купцов Бедроза и Габриеля, обретавшихся в Кезлове.

Загостившаяся на юге зима, хотя уже февраль перевалил за середину, не унималась. Северный ветер и снежная крупа преследовали чегодаря, визирского курьера Абдулу и Зодича до самого Бахчисарая. Александр, живя в Константинополе, научился обиходной турецкой речи, а за долгую дорогу, общаясь со спутниками на этом тюркском языке, научился его понимать. В отличие от визирского чиновни-

ка, невзлюбившего француза, Булат-бей держался с Александром приятельски. И когда они, трижды задержанные отрядами мурз, представлявших разные ветви родов, все-таки въехали в сумрачный, повитый дымами труб и туманом Бахчисарай, чегодарь предложил иностранцу поселиться в своем доме.

Татарские жилища, построенные в горных селениях, на морском побережье и в центральной части полуострова, отличались друг от друга. Зодич сразу приметил, что множество зданий в татарской столице напоминают дома в турецких кварталах Константинополя. Особняк Булат-бея был построен по сходному проекту. Особенность заключалась в том, что второй этаж выступал над первым, сооруженным из тесаного камня, и держался на деревянных подпорках из дерева. Черепичная крыша спускалась со стороны двора широким навесом, называемым «сачах» и украшенным орнаментом из дощечек. Над домом вставала высокая призматическая труба, издали напоминающая башенку. На двери была резная бронзовая плитка с массивными металлическими кольцами. Хозяин, подождав, когда бешлей¹ примет лошадей, указал рукой на вход.

– Пусть мой дом станет домом брата!

На первом этаже две комнаты разделялись сениями. Зодичу отвели приют в правой половине, именуемой соба. Она была довольно тесна. В углу помещался небольшой шкаф и стоячая вешалка. Глинобитный пол был в коврах, на возвышении, сэдте, лежали тюфяки и подушки в разноцветных наволочках. Большое двойное окно открывалось на нижнюю галерею. К Зодичу вошел, склонив голову, приставленный слуга, юноша с едва заметными усами. Выслушав гостя, он принес кумган и медный

¹Бешлей (татар.) – слуга.



таз, чтобы тот помылся с дороги. Затем подал полотняное полотенце, расшитое разноцветным орнаментом. В доме топился очаг, расположенный на левой стороне, в большой жилой комнате, а в сове было прохладно. Остаться надолго здесь Зодичу расхотелось. Впрочем, есть ли вообще в городе здания, обустроенные по-европейски?

Булат-бей оказался хозяином хлебосольным. Ужинали обильно, откушав и татарских пирогов с мясом, и наваристой бараньей похлебки, и телятины, сваренной в молоке, и козьего сыра. Православный магометанин предложил гостю вина, но тот отказался. Зато сваренный по-турецки кофий поднял настроение! Булат-бей, успевший уже побывать в Хан-Сарае, рассказывал, как Девлет-Гирей, прочитав визирское письмо, прослезился от радости. Турция поддерживает намерение своего ставленника не пускать русских в Крым. Хан сразу же произнес это во всеуслышание, давая понять придворным, что он по-прежнему ценим в Константинополе. Хотя ничего иного, кроме поддержки на словах и помощи в вооружении, визирь не обещал. Тем не менее, Девлет-Гирей воспрянул духом и через день намерен собрать Диван.

– Франция дружески относится к нынешнему крымскому хану, – напомнил Зодич. – Не разрешено ли мне будет присутствовать там, как человеку, облеченному связями с Версалем? Разумеется, я отблагодарю, расплачусь ливрами.

Ханский чегодарь пообещал похлопотать.

На следующий день Зодич отправился на бахчисарайский базар. К счастью, небо расчистилось, и потеплело. Гомонящая толпа торговцев не унималась ни на минуту. Ряды лепились один к одному, по-восточному были замысловаты и беспорядочны. Сопровождавший его слуга, армянин Рубен, объяс-

нял, какие деньги имеют силу и как соотносятся с французским ливром. Понять это с первого раза было мудрено. В ханстве ходила валюта разная: турецкий пиастр, равняющийся 20 крымским серебряным бешликам, местный крымский пиастр, бешлики медные, гораздо меньше достоинством, чем серебряные; венецианские и голландские секины, польские экю. Русские рубли не использовались. Запомнил Зодич только то, что турецкий пиастр приравнивается к французским ливрам и секинам как один к трем.

– Бывает, что наши крымские бешлики совсем исчезают, – пояснял Рубен, пока они шли вдоль ряда, уставленного конной упряжью. – Когда султан выплачивает пенсии хану и мурзам, в ходу одни турецкие деньги. В Оркопи, где откупщики изготавливают наши медные монеты, стараются изъять у торговцев побольше бешликов, чтобы получить новые заказы. Я это знаю, потому что мой дядя имеет там откуп на солеварни и чеканку монет.

Солнце, слепящее глаза, и долгожданное тепло, по всему, возбуждающе действовали на базарных завсегдатаев. Поскольку интересы Зодича сводились к продаже гобеленов и покупке кожи, сафьяна и шерсти, он осведомился о том, как они здесь измеряются. Мера веса была также сложна: кинтал равнялся 4 французским унциям, батман – 12. Наконец, когда остановились у палатки торговца материями, выяснилось, что все холщевые товары продаются на крымский пик, состоящий из 4 полотнищ, которые равны 36-ти большим пальцам королевской ноги.

Зодич подумал, что ослышался или не понял оборота татарского языка. Но Рубен подтвердил сказанное. Ткани продаются... на размер большого пальца королевской ноги!



Хозяином ряда, пестреющего кожами и сафьяном, оказался грек Анастас. Он был знакомым Рубена и, когда тот объяснил цель их прихода, оживился и выпучил свои крупные черные глаза.

– Лучшая кожа во всем Крыму! Цвета любые. Смотрите, мсье, что за качество! – он схватил кусок сафьяна и буквально вложил в руки Зодича. – Ах, какая выделка! Такого сафьянчика вы не найдете. А цена? Да простит меня господь за то, что произнесу ее вслух! Всего шестьдесят пара за штуку!

– Один пара – полтора французского су, – подсказал Рубен.

Зодич осмотрел куски красного, желтого, черного и белого сафьяна, сложенные в большие стопки. Толстый Анастас, часто дыша, неотрывно следил за французом. Похоже, иностранец сомневался, реальна ли цена?

– Дешевле вы, мсье, такого сафьяна не отыщите! – с оттенком обиды бросил грек. – А кожи! Вся Франция будет в восторге! Вот базан, самый лучший для седла! А желтую кожу у меня покупает знаменитый черкесский мастер. Для покрышки седельных венчиков берут вот такую, козлиную.

И вновь расчетливым жестом фокусника Анастас заставил француза взять мягкую кожу в руки. Она издавала специфический острый запах.

– Цена этому куску 2 пиастра, но вам, уважаемый мсье, уступлю за полтора!

Зодич пообещал подумать. Грек разочарованно всплеснул руками:

– И зачем я так старался?! Недаром говорят, что французы капризны. Прибыль, считай, под рукой, а они...

Далее шли ряды ввозной торговли. Кроме оружия, продавался здесь свинец и отлитые из него пули; рядом – германские, на редкость прочные

и славящиеся заточкой косы; в больших рулонах предлагалась бумага, употребляемая крымцами для оклейки окон. Зодича привлекли своим блеском и изяществом выделки трубки.

– Молдавские! – воскликнул продавец, лести-во улыбаясь и кланяясь. – Самые надежные во всем белом свете. Абрам не скажет неправды! Меня все знают! Такая трубка, господин, достанется и вашим деткам, и внукам...

Еврей умолк, увидев, как покупатель-европеец достает кошелек. На вопрос, сколько стоит великолепная трубка в виде армейского кивера, Абрам замялся, боясь и продешевить, и упустить покупателя. Но, как подсказала интуиция, решил заломить цену:

– Десять пара!

– Сумасшедшая сумма! – не сдержался Рубен.

– Того стоит! – отведя глаза и как будто даже сочувствуя, заметил продавец.

Зодич не стал спорить и торговаться.

Как и обещал, чегодарь уговорил чиновника Дивана за изрядное денежное вознаграждение допустить француза на балкон большого зала.

Первый раз в жизни Александр, как было велено Булат-беем, разрешил слуге намотать ему на голову тюрбан, надел татарский чекмень и шерстяные штаны, вобрав их в сафьяновые малиновые сапоги. В Хан-Сарай они вошли беспрепятственно, так как чегодаря охранники знали в лицо. Но у входа на лестницу балкона их остановил баша, окруженный воинами, и подозрительно уставился на незнакомца. Булат-бей сослался на дефтердара, главного казначея. Французский торговец хочет оказать ханству помощь.

– Меним достумнен танъыш олунъз, – настоятельно сказал чегодарь.



– Меним адым Верден, – тут же подхватил Зодич, смело глядя в глаза командира караула. – Кирмеге рухсет этинъиз!¹

Неприветливый баша, качнув саблей в длинных ножнах, сдержанно кивнул и отступил. Видимо, убедил его татарский язык этого чужестранца.

С балкона, который занимали ханские чиновники второй руки, был хорошо виден весь зал. Большие окна, в восточном стиле, светились разноцветными витринами напротив полуденного солнца. Витиеватая роспись потолка, его своеобразный чудесный орнамент завораживал взгляд. Не зря украшали дворец многие турецкие и итальянские художники.

Зал поражал роскошью. Розовый мрамор стен был украшен золотыми вензелями на южной стороне, там, где находился ханский трон, Зодич насчитал восемь прямоугольников, очерченных двойной красной линией, такая же линия условно отделяла на стене первый и второй этажи. Окна, с витринными стеклами, были сделаны в виде дверей, – к ним даже вели ступени. А выше, также в форме прямоугольников, тянулись настенные золотые росписи. Мраморный розовый пол переливался разноцветным блеском, отражая и витражи, и потолок, сходный с ними сочетанием коричневого, голубого, красного и зеленого цветов. Вдоль глухой стены, напротив окон-витражей стояли диваны, занятые приглашенными. В высоком зале стоял гулкий гомон. Ханские сановники и воеводы, входя, приветствовали друг друга, кланялись священнослужителям. Зодич осмотрелся. На балкон открывались четыре двери, но три из них были задрапированы наглухо толстой коричневой тканью. С двух сторон

¹ – Познакомьтесь, это мой друг.

– Меня зовут Верден. Позвольте нам войти. (Татар)

стояли напольные мраморные вазы с растениями, напоминающими маленькие пальмы.

Наконец угловую дверь распахнул одетый в парадную форму, с золотой расшивкой, придворный офицер. Девлет-Гирей, в дорогом ханском одеянии, в белой чалме, украшенной драгоценными камнями, с кинжалом на поясе, с холодным, несколько презрительным выражением лица, властно вошел в зал. Все приветствовали его возгласами и вставанием. Хан преклонил голову и поднялся на трон, за которым на стене отливала золотом гобелен, увенчанный полумесяцем.

Совет открыл как духовное лицо казыаскер Фейзула-эфенди. Он по традиции начал с молитвы, с обращения к Аллаху. А затем произнес речь и прочел провозглашаемую им, учителем магометан, фетву. В этом обращении-законе к крымцам, кто исповедует ислам, напоминалось, что Девлет-Гирей получил инвеституру, то есть утверждение, на ханский престол от халифа всех правоверных магометан Абдул-Гамида, султана Порты. И всякий, кто поддержит самозванца Шагин-Гирея, будет объявлен преступником против веры и подвергнут суровому наказанию.

Зодич не спускал глаз с мурз, аггов и беев, собранных здесь со всего полуострова. Их возбужденность и манера моментально соглашаться со всем, что ни говорил хан, эфенди или нуррадин-султан, выказывали, скорее, не покорность, а неуверенность. Вслед за казыаскером фетву подписал и старейший муфтий Ахмет-эфенди. Участники совета, призванные священнослужителями, беспрекословно приняли на фетве присягу. Хан выслушал, не перебивая, тех, кто пожелал выступить. Зодич не всё понимал, что обсуждалось на Диване. Многие слова и выражения были диалектными. Уяснил он одно: хан снова пыта-



ется собрать войско и выступить навстречу Шагин-Гирею, вступившему с войском в Тамань. Шебиб-Гирей – султан посылался для этого в Карасубазар, другой воевода Ор-бей-султан – в мансурскую фамилию. После бессвязного разговора на разные темы хан объявил совет закрытым и удалился в покои. Сановники еще задержались, стали обсуждать цены на оливковое масло, поднявшиеся в последнее время. Зодич был немало разочарован. Ничего ценного узнать не удалось. И необходимо было связаться с конфидентом, греком Панаиодом.

Только благодаря Рубену, разыскавшему грека, встреча эта состоялась. Новости, раздобытые конфидентом, были обнадеживающими. Ханская партия неуклонно теряла силу. Поддержать его отказались девять мурз из десяти, к которым был отправлен Казы-Гирей-султан. Так же поступили ширинский бей и люди из мансурской фамилии, бывший визирь Багадыр-ага, Абдувелли-паша и другие. Старейший мансурский муфтий Ягья-эфенди в проповеди своей отверг фетву, обвинив Девлет-Гирея не только в том, что имеет чужих жен, но и мальчиков в удовольствие свое собирает. Не преступление ли это еще более против веры Аллаха, чем поддержка Шагин-Гирея? А почтенный Абдувели-паша заявил хану, что «вам хорошо, поскольку имущество свое убрали на суда и сами со своими приближенными готовы к отплытию, а мы свое отечество оставлять не намерены». И, наконец, приехавший из Царьграда мурза предупредил, чтобы не питали надежды на помощь Порты, ибо она с русской государыней подписала договор о вольности татарской. Все это, свидетельствующее о растущем противодействии народа Девлет-Гирею, имело настолько важное значение, что Зодич немедля выехал из Бахчисарая с конфидентом. Через Кезлев они прибыли в Перекопскую крепость, к князю Прозоровскому.

То, что Абдул-Гамид не собирается начинать новую войну с Россией, косвенно подтвердило согласие начальника турецкого гарнизона Орду-агаси вывести воинов из Тамани. Путь на Бахчисарай Шагин-Гирею был открыт. Корпус Суворова придавался ему в помощь для продвижения по крымской земле.

Дни Девлет-Гирея на ханском престоле были сочтены.

5

Потемкин вернулся в Петербург в пасхальный день, 16-го апреля. Всеношную он отстоял в попутном маленьком сельском храме, дивясь тому, с какой истовостью и благостным трепетом вел службу старенький батюшка, обладающий красивым, не по возрасту сильным голосом. Потемкин, не удержавшись, щедро пожертвовал деньги на нужды храма. Он почти всегда, сам о том не думая, сходил к слушателям Божиим, которые, в свою очередь, находили в нем нечто духовное, родственное.

Полуторамесячное отсутствие в столице, отдых в Москве у матушки и в своем имении, служебные поездки в войска, – вольность в поступках и отдаленность от Двора способствовали укреплению здоровья. Но даже на отдыхе Григорий Александрович вел непрерывную переписку, контролировал деятельность Военной коллегии и ход крымской кампании. Дважды к нему вызывался полковник генштаба Герман и представлял доклад о создании Азово-Моздокской линии. План этот, всесторонне разрабатываемый второй год, был окончательно составлен и подготовлен для представления императрице. И он торопился это сделать, понимая неотложность укрепления границ российских.



В День рождения Екатерины, который, по обыкновению, пышно отпраздновали при Дворе, Потемкин выслушал от нее упреки за долгое отсутствие и за то, что перестал писать «цыдули» и редко появляется в ее покоях. Торжественный настрой вокруг не позволил ему напомнить о Завадовском, который избегал светлейшего князя, как демона, и о Григории Орлове, исполняющем в отсутствии «Гришенка» обязанности генерал-адъютанта. Доверенные люди постоянно осведомляли Потемкина об интригах, плетущихся против него Никитой Паниным и братьями Орловыми. В этом не было ничего нового. С главой Иностранной коллегии как будто были установлены в последний год приемлемые отношения. Стало быть, идея Никиты Ивановича свергнуть Екатерину с трона, чтобы передать корону ее сыну, не отринута! Этот старый лис четко сознает, пока рядом с государыней Потемкин, сей маневр не осуществить. Понятна была неприязнь и Орловых. Фаворитствовать, участвовать в делах государственных, – и лишиться вдруг привилегий, отойти в тень Ее Императорского Величества. Обо всех плутнях Потемкин не преминул сообщить «матушке Екатерине». В ответной записке она его успокоила и пообещала приструнить Панина, направив к нему вице-канцлера Остермана, назначенного, между прочим, по рекомендации самого «милюши».

Спустя три дня после чествования Екатерины, узнав только что из депеши об избрании Диваном 23-го марта крымским ханом Шагин-Гирея, Потемкин в приподнятом настроении отправился на ранее условленный прием к императрице. Его пропустили вне очереди, как всегда.

Сердце сжалось, когда он вошел в такой знакомый кабинет, с массивным столом, отражающимся в зеркальной глади паркета. Был понедельник, двад-

цать четвертое апреля, и в открытую форточку высокого окна доносились трели скворца, облюбовавшего вершину липы, в мелких листочках, видную в нижние шибки. За отдельным секретарским столом никого в этот час не было, – ни Завадовского, ни Безбородько, малороссов, обласканных императрицей. Она ждала его в уединении. И едва он, по привычке шагая армейской поступью, громко двинулся к ней, как Екатерина поднялась и, шелестя платьем, вышла из-за стола. В большой комнате было солнечно, и глаза любимой женщины светились, казались крупней и прекрасней, чем прежде. Она шутливо сморщила переносицу и, шепнув что-то неразборчивое, поцеловала его в губы. Он одной свободной рукой обнял ее за плечи, прижал к себе. И ощутил порывистое ответное движение... Но тут же его венчанная супруга отстранилась, быстро заметила:

– Не по этикету, батинька, поступаешь. Сперва о делах, а потом о сердечных тайнах...

Императрица вернулась за стол. Глядя на соправителя государства, улыбнулась и указала на кресло. Машинально открыла табакерку, вдохнула ароматной смеси, приготовленной по ее рецепту. И Потемкин разобрал запах донника, мелиссы, мирта, крепкий дух турецкого табака и еще неведомых растений. В этом как бы отвлекающем действии он почувствовал, что Екатерина несколько напряжена, как человек, опасющийся разговора, которого лучше было бы избежать. Он это понял и решил воздержаться от объяснений.

– Курьер от Прозоровского приехал, Хан выбран. Знаешь ли? – радостно блестя глазами, спросила Екатерина.

– Да, Ваше Императорское Величество. И смею поздравить Вас с сей долгожданной и приятной новостью. Шагин-Гирей всегда склонялся к нашей дер-



жаве. И вольность, отпущенная Крыму трактатом, будет использоваться им на благо населяющих его народов. Ваша мудрость простерлась и на татарские орды.

– Стахиеву я дала наказ начать с турками negotiations. В Крыме теперь потребно установить правление наследственное, а не выборное. И наследственным ханом объявить Шагин-Гирея, а не Девлетку, которого как виновника всему происшедшему злу, никогда не будем мы терпеть в Крыме. Кроме того, турки до сих пор не пропустили наши суда в Черное море. И, как следует в депеше от Стахиева, облыжно признает их военными. Экая глупость! Да и Шагин-Гирея не принимают как хана... Забот с этой Портой не оберешься!

– Ваш голос мне всю душу переворачивает... Со скучившись в отдалении невозможно...

– Вы своими упреками изводите меня, сударь... Душой и духом, батинька, я всечасно принадлежу вам. И мало ли языки распространяют слухи неправдоподобные.

– Нижайше прошу прощения, Ваше Императорское Величество. Вам известно, что слов на ветер я не бросаю. И готов ради вас на любое испытание. Но терпеть рядом с вами этого... услужливого офицера...

– Батинька, Григорий Александрович! Мы слушаем ваш доклад, – ледяным тоном, в котором явно отзывалась обида, приказала государыня. – Об устройстве укрепленной линии я читала документы, подготовленные вами и Военной коллегией. Доработана ли сия бумага и внесены ли мои коррективы?

– Точно так, Екатерина Алексеевна. Мы неукоснительно учли все ваши пожелания. Оборонительная линия, как было замыслено два года назад,

начало берет от крепости Моздок и... – Потемкин, наконец, догадался положить на секретарский стол объемистую папку, достал из нее сложенную вчетверо карту, чтобы показать императрице, но она сама встала и подошла к нему. – Вот эта Линия!

– Эта, что начертана красным чернилом? Вижу...

– Опорными пунктами задуманы крепости. Они привязаны к рекам и горным возвышениям, которые составят врагам дополнительные препятствия. Разрешите зачитать?

– Потребуется немало средств для строительства и обжития этих крепостей. Да и хищники не оставят их в покое. Территория великая, почитай, больше Франции. Целая новая страна – Кавказия! – воскликнула Екатерина и скаламбурила: – Вокруг Азия – а посередине Кавказия! И ежели придут недруги, то набат оттуда должен докатиться до самой Москвы!

– Да, матушка милая. Мы отделим нашу Державу от враждебных земель. Османы насаждают среди горцев ислам. И остановить это мы не в состоянии. Я знаю горцев. Это достойные, но внушаемые люди. Турки вводят их в заблуждение, клеветца на нас. И нужны годы, чтобы разноплеменные народы разобрались, кто их нелицемерный друг.

Императрица возвратилась за стол, вызвала дежурного секретаря и писаря, разрешила также присутствовать членам Военной коллегии.

Потемкин, прочтя вводную часть доклада, перешел к основным его положениям.

– Я дал повеление Астраханскому господину губернатору генерал-майору и кавалеру Якоби самолично осмотреть положение границы нашей, простирающейся от Моздока до Азова и, получив от него верное описание, осмеливаюсь повергнуть общее ниже мнение о учреждении Линии на упомянутом расстоянии.



– Якоби – командир достойный. Помнится, он в Алуште воевал геройски. И турок разбил и пушки захватил, будучи контужен. Ты выбор для Астраханского губернаторства верный сделал. Я тебя поддержала. Пусть же генерал-майор Якоби ответит усердием.

– Несомненно, Ваше Императорское Величество, он проявит радение и все свои силы... Линия имеет простираться от Моздока к Азовской губернии в следующих местах, где построив новые укрепленные селения, коим примерный план представляется, а именно: 1-е – на Куре, 2-е – на Куре же, 3-е – на Цалуге (Золке), 4-е – на Куме, где и командир вышеописанных укреплений квартиру свою иметь должен; 5-е – на Томузловке, 6-е – на Бейбале, 7-ое – на Калаусе, 8-е – на Ташле, 9-е – на Егорлыке, 10-е – в Главном укреплении от Черного леса к Дону, где квартира второй части командиру быть должна, так как все оные на подносимой при сем карте показаны...

– Сия граница более на зигзаг похожа, чем на линию, – заметила Екатерина. – Надежно ли она оградит от врагов и даст ли основу для расселения там русского народа?

Потемкин утвердительно кивнул.

– Ежель она, Линия, удостоится высочайшей Вашего Императорского Величества апробации, то осмелюсь на нижеследующем просить высочайшего указа.

– Сделайте подробные разъяснения, князь, – наставительно сказала Екатерина. – Для меня это важно.

– Как Бештомак, к удержанию Малой Кабарды жителей, есть наиудобнейшее место, за которым и леса останутся внутри Линии, по рекам Тереку и Малке, то и следует на сем месте быть флангой кре-

пости. Моздок тогда будет городом торговым, и одна из крепостей, полагаемая на Куре, уничтожится.

– Земли внутри Линии непременно должны быть заселены.

– Разумеется, в дальнейшем селения там будут множиться.

– Даны ли имена крепостям?

– Покамест нет.

– Они должны быть названы в честь святых. И одну из них обязательно объявите Ставропольской. Я читала о греческих проповедниках. И мне встретилось там название – Ставрополь, Град Креста. Да и Петр Великий после персидского похода так поименовал один редут. Пусть этот Град Креста станет опорой нашего христианства на всем Кавказе!

– Будет исполнено, Ваше Императорское Величество.

– Вот на Куме, мне думается, самое уязвимое место, – произнесла императрица, разглядывая карту. – Что скажешь, глава Военной коллегии?

Потемкин, помня и карту, и направление Линии, отвечал не задумываясь:

– Крепость на Подкумке, матушка государыня, верно, на важнейшем месте по всей Линии. Она будет прикрывать Куму, удерживать абазинцев, которые недалеко оттуда имеют всегдашние и многолюдные свои жилища, равным образом имеет наблюдательный пост над живущими по вершинам рек Кумы, Кубани, Малки и Баксана народами, держа по малой и большой Куме форпосты. Кума есть лучшая река на всей ногайской степи. Она имеет от самого Подкумка почти до Можар великие леса и заключает все выгоды, которые только желать можно... Прошу прощения, я отвлекся и переложил страницу...

Потемкин поднял глаза и встретил потеплевший взгляд императрицы, сразу сказавший и о том,



что она довольна докладом и больше не сердится на него за напоминание об «офицерике».

– Назначенные в ней линейные укрепления, как Вами указано, наименовать, как благоугодно будет и чтобы все оные окончены были строением будущим летом, для чего хотя третью часть войск, отряженных на закрытие их, употребить в работу оных с зарплатою каждому по пяти копеек в сутки и на то ассигновать сумму.

– Об этом мы подумаем, – перебила Екатерина. – Построение сей Линии, заселение войск и командование оными мы под вашим управлением возложим на астраханского губернатора Якоби, как испытанного уже в пограничных делах начальника. Напоследок разъясните, ваше сиятельство, значение крепости на Ташле. Она вблизи Кубани. И не будет ли подвержена особым нападкам черкесов?

– Осмелюсь утверждать, что это учтено. Именно здесь мы строим три крепости, особо укрепляя границу. Эта крепость под номером восемь на вершине Егорлыка. Будучи первою крепостью к Черному лесу, прикрывает общий с крепостью № 7 проход между Калаусскими вершинами и Черным лесом. А крепость под № 10 должна быть самою важною, потому что при ней, как три главные вершины рек, так три дороги к Кубани, Азову и Дону имеются.

– Вот ее и назовите Ставропольской, – повелела Екатерина.

– Будет исполнено, Ваше Императорское Величество. Около одного места лес под Егорлыком кончается, и хотя вниз по оному всегда корм и вода хороши были, однако, по недостатку леса, селению быть там трудно и по сей причине назначаются форпосты от оной крепости и до самого устья речки Егорлыка. Места под редуты намечены.

– То бишь до границы Области Войска Донского? – уточнила императрица. – А как продумана коммуникация?

– Дорога коммуникационная из Моздока может быть прямо на Можары и Цимлянскую станицу, а от туда через Казанскую станицу и Воронеж до Москвы, и сия дорога от Моздока станет не более 1400 верст. Следовательно, убудет против нынешнего расстояния более 500 верст! Другая же дорога может быть по крепостям до Черкаска и Азова.

Повелев всем присутствующим, кроме Потемкина, оставить кабинет, Екатерина придвинула к себе папку с докладом, увенчанную имперским гербом, и написала на титульном листе: «Быть по сему». С этой минуты документ обретал силу и значение ее указа.

– Доволен ли, сударушка? – улыбнувшись, спросила она отставного фаворита и верного соправителя Державы.

– Точно гора с плеч, – признался Григорий Александрович. – От злого соседа, чем крепче забор, тем лучше.

– На ужине повидаемся, – предупредила Екатерина и, благодарно глядя исподлобья, протянула руку для поцелуя.

Потемкин наклонился над столом, прикоснулся губами к прохладной коже, отдающей ароматом розового мыла. И не ощутил ни в ладони императрицы, ни в своей душе былого трепета. Страсть уходила безвозвратно. Но родство душ становилось еще сильнее, необходимей друг другу...

6

Сотника Ремезова вызвали в войсковую канцелярию на исходе июня. Накануне вечером они с



Мерджан косили на своем наделе сено, ворошили давешние валки, готовились перевозить копицы поближе к своему подворью. Усталые, истомившиеся на солнцепеке, возвратились они домой, а тут – на тебе! – Устинья Филимоновна в тревоге. Сказывал вестовой, что собирают казаков в полки.

И действительно, принес Леонтий весть грустную. Его зачислили в полк, отправляющийся в Астраханскую губернию. Судя по тому, что войсковому атаману Иловайскому ордер по этому случаю прислал сам главнокомандующий казачьими войсками Потемкин, дело предстояло нешуточное. На сборы казакам отвели ровно неделю.

Мерджан, выслушав мужа, едва удержала слезы. Однако душевную смуту подавила она решительным желанием завтра же, оставив все прочее, отвезти сына, крещенного Демьяном, в Ратную церковь, чтобы отслужили молебен Иоанну-воину.

– Так обычай требует, – заявила Мерджан, предупредив возражения мужа и свекрови. – У него прорезались зубки, и два годика исполнилось.

– Любо, – согласился Леонтий, тронутый тем, что его жена рассуждает как исконная казачка. – Съезжу к настоятелю, упрошу.

И малыша на зорьке подняли с постели, хныкающего от того, что не выспался и что кусают комары, принарядили, усадили в казацкое седло и повезли на строевом коне к церкви. Леонтий вел Айдана в поводу, а жена-любушка шла чуть позади, придерживая казачонку за свисающую с седла ножку. Впрочем, в седле он чувствовал себя вполне надежно, – уже много раз отец катал его по улице одного.

Священник окропил будущего воина и родителей свяченой водой, прочел молитвы, в которых обращался к Иоанну-воину, Святому всех казаков, чтобы двухлетний Демьян вырос крепким и храбрым

казаком. И на удивление, малыш за всю дорогу и в час молебна ни разу не заплакал. Был молчалив и серьезен, как старичок.

В прощальную ночь ни Леонтий, ни Мерджан не сомкнули глаз. Не могли насытиться друг другом, предчувствуя долгую разлуку. А на третьих кочетах, когда забрезжило в окошке, он встал и вышел напоить коня. С Дона тянуло сыростью и запахом подросшего камыша. Доносились крики казарок. Где-то в займище утреннюю побудку играли журавушки. «Видно, надолго уеду, – с грустью размышлял Леонтий, наблюдая, как его конь осторожно выцеживает из деревянной бадьи колодезную воду. – Сказывал атаман, тронемся двумя полками. Никак с калмыками или кабардинцами неуправа вышла. А силенок у войска русского не хватает. А войне там, на Кавказе, конца-краю не видать. Сто разных наций, и перемешаны между собой. Как их в разум ввести, к миру приучить?»

Мерджан уложила в переметную суму харчи, смену белья, портянки, нитки с иголкой, кусок сваренного ею мыла. Она всячески отвлекала себя делами, пытаясь не думать о том, что курень без любимого опустеет. Устинья Филимоновна, с трудом волоча больные ноги, хлопотала у надворной печи, разжигая ее дровами. Подождав, пока невестка пойдёт корову, она велела ей зарезать молодого кочета и сварить свое ногайское кушанье, – шулюн. А сама улучила момент, когда сын чистил коня, и подошла к нему.

– Ты, Леонтьюшка, послушай, а сам не перечь... Слабею я, сынок, с каждым днем. Марфушка обабилась, мне не помощница. Ягода, да в чужой корзине... Бог весть, свидимся ли ишо, дождусь ли... Буду всех святых молить, чтоб оградили тебя от пули и сабли вострой! А ты, Леонтий, сам себя обороняй. С умом



вой. Не рвись в пекло, как дед и батька твой. Оба головы сложили! А ты у меня один ...

Мать всхлипнула, и Леонтий поспешил обнять ее.

– Занапрасно не журитесь, маманюшка, – ласково упрекнул он, глядя ее по голове. – Не впервой на службу уходить. Бог даст, вернусь. А вы тут себя сохраняйте. Особо не усердствуйте! Доверьтесь Мерджан.

– Да рази ж я против того? Она баба хорошая. С уважением ко мне. Все одно, сыночек, без тебя нету покоя...

– Как там сложится, не ведаю, да и гадать нечего. Ждите!

Устинья Филимоновна вздохнула, как бы отрезвленная этим одним простым словом.

За городком, на казачьем плацу трубачи дуванили сбор.

Мерджан в поводу вывела лоснящуюся боками казацкую лошадь, не пожалев дать ей в дорогу полпышки. Мимо по улице рысили в свои полки призывники. Они сверху поглядывали на то, как домашние провожают служивого, – много слез али нет? Леонтий сердился, замечая это, и не стал тянуть. Поцеловал мать и Мерджан, стоящую с Демьянкой на руках, и взлетел в седло, брякнув ножами о стремя.

– Счастливо оставаться, а мне – воевать! – весело напутствовал он самого себя и слегка толкнул коня нагайкой. Тот, почуяв удила и волю хозяина, рванул в карьер...

Шестнадцатого мая Потемкин направил атаману Войска Донского Алексею Ивановичу Иловойскому следующий ордер:

«Из высочайше конфирмованного Ея Императорского Величества всеподданнейшего моего до-

клада в учреждении против кубанцев Линии от Моздока до Азова и заселении оной войсками, ваше превосходительство и всё войско Донское ощути-тельно познать можете, коль великое благоденствие устраивается целому войску Донскому от рук Августейшей самодержицы нашей. Происходящая же от этого польза столь известна вам, что не требует она никаких изъяснений, а потому вместо находящихся от войска в Кизлярском краю двух полков и команды, при уничтожении теперь царицынской линии, отныне имеет оное войско содержать для собственной своей пользы некоторую только ближайшую к пределам своим дистанцию. И как польза дела требует, чтоб та Линия нынешним же летом совершенно окончена была, то к прикрытию производимых работ отрядить как наискорее с Дону два полка в команду астраханского губернатора, генерал-майора и кавалера Якобия»

Выбор наместника азовского и астраханского был неслучаен. Прежде грозная вольница – волгское казачество – теперь не представляло особой значимости. Их, волгцев, насчитывалось всего около полутысячи. А по свидетельству бывшего губернатора Кречетникова, «он сам видел войско, и не нашел в нем ни казаков исправных, ни единого порядочно-го станичного атамана». Пуще того, при появлении Пугачева «все они не только в толпу его предались, но Балыклейская станица еще до прихода злодея не впустила к себе посланную им, губернатором, легкую команду и, встретив ее стрельбою из пушек, заставила отойти, а злодея пустила».

Не меньше причин было и для переселения хопцев. Еще пять лет назад, в 1772 году, выборная делегация от них во главе с казаком Пыховской слободы Петром Подцвировым явилась в столицу и обратилась с прошением в Военную коллегию,



чтобы на службу записали всех годных и исправных казаков-хоперцев, а взамен сняли с них подушевой налог. Пожаловались они на коменданта Новохоперской крепости Подлецкого, который заставляет нести неуставную службу, обременяет казенными и частными работами, и вообще, притесняет.

Спустя несколько месяцев из Военной коллегии пришел указ Воронежскому губернатору произвести перепись хоперцев, а коменданту запретить «употреблять казаков на бесплатные работы». Жалобы принесли пользу. И «коменданта-притеснителя» сменил бригадир Аршеневский. Вскоре появился указ императрицы о создании Хоперского полка. В мае 1775-го года прибывший капитан Фаминцын провел для казаков этого полка отмежевания земель, причем, в казаки были зачислены и персияне, и прочие «азиатцы, которые военнопленными попали в Хиву и оттуда были проданы киргиз-кайсакам, от которых они бежали». Именно тогда записано, «с обращением в казачье сословие, 145 семейств крещеных инородцев, в числе – 295 казаков, среди них было 208 персов, 80 калмыков и 7 – разной нации».

В сентябре того же года орденом Потемкина предписывалось армейскому премьер-майору и полковнику Войска Донского Конону Устинову прибыть в Новохоперскую крепость и приступить к формированию 5-ти сотенного полка. Командовали им пятнадцать старшин, выбранных из самых достойных казаков. Бывший депутат Подцвиров стал есаулом, а его товарищ Павел Ткачев – сотником. И в течение почти двух лет служба хоперцев, влачась тихо-мирно, состояла в патрулировании окрестностей, поимке беглых и несении дежурств на форпостах и карантинных заставах. Однако, начиная строительство Линии, вспомнил, видимо, главнокомандующий казачьими войсками о поведении

хоперцев в те дни, когда Пугачев проходил мимо их станиц. Командир донцов Серебряков, преградивший тогда дорогу душегубцу на родную землю, приказал атаманам с Хопра и Бузулука собраться в станице Арчадинской, чтобы согласовать общее выступление против самозванца. Но ни один хоперек на приказ полковника не откликнулся. И это их своеволие в далеком Петербурге не забыли!

Волгское, Гребенское, Терско-Кизлярское и Терско-Семейное казачьи войска, Моздокский и Астраханский казачьи полки ранее были объединены приказом Потемкина в Астраханский корпус. Иван Варфоломеевич Якоби, хотя ему и перевалило за полувековой рубеж, совместил обязанности губернатора и командующего новосозданного войска. Потому и вся ответственность по работам на Линии возложена была именно на него.

Потемкин требовал неукоснительного выполнения своих предписаний, и потому тон его ордера, адресованного Якоби, столь категоричен.

«Учинить распоряжения, чтобы, не упуская удобного времени, нынешним летом исполнить Высочайшую Ее Императорского Величества волю в занятии ими (хоперцами и волгцами) всех назначенных укреплений; как строением потребного числа дворов и всего нужного к домостроительству для всех переселенных одним летом исправиться вам не можно, то поставлю я вашему попечению переводить туда по частям, сперва без семей, а потом, по окончании строения, и семейства их перевести...

Генерал-майор Якоби, получив потемкинский ордер, отправился в Новохоперскую крепость, чтобы проверить, как полковник Устинов выполняет указания Светлейшего князя. То, что семейства их временно останутся в слободах, казакам не понравилось. Но Якоби всего лишь напомнил, что все



строить придется на голом месте. Об этом же он говорил и в Дубовском Посаде, делая смотр волгским казакам.

6-го августа в Царицыне, как предписывалось Якоби, собрались вместе Владимирский драгунский полк, волгские казаки численностью семьсот человек и 5-ти сотенный Хоперский полк. Царицынский командант Циплетев обеспечил это кочевое войско четырьмя проводниками-калмыками, знавшими путь к урочищу Моджары.

7

Летом этого года в Версале предавались новому развлечению. На большой террасе парка, открытого для публики, ночи напролет играл оркестр французской гвардии. Зодич приходил туда поздним вечером, стараясь одеваться щеголем и быть привлекательным для дам. Он точно знал, что частенько навещается в парк и королева Мария-Антуаннета, сопровождаемая своим фаворитом графом д'Артуа. Она нарочито рядилась в простенькие платья и покрывалась шляпкой с вуалью, чтобы не быть узнаваемой. Александр прежде видел сестер Людовика XVI в лицо, и несколько раз замечал королеву, гуляющую с золовками.

Во Франции он был уже полгода, возобновляя прежние знакомства и стараясь войти в круг приближенных королевы. Предписания и наставления, которые даны были ему Паниным при личной встрече в Петербурге, обязывали его выведать намерения французского престола в отношении России, а также заставить, по возможности, документами либо письмами, подтверждающими связь Версаля и Вены с турецким султаном. Обострение ситуации в Крыму, где Шагин-Гирей вознамерился

провести реформы и создать собственную армию, ввести налоги, привело к ухудшению отношений между Россией и Портой. Однако без поддержки европейских стран начинать войну Абдул-Гамид не решится. Дальнейшее ослабление Турции грозило распадом Османской империи. Кто толкал султана на враждебные действия против России и каковы планы европейских правителей, – это необходимо было выяснить Зодичу.

Последний июльский день выдался дождливым. Лишь перед закатом тучи отлетели к северу, солнышко засияло, и через полчаса булыжники дворцовой площади и дорожки парка высохли, маня гуляющих. Зодич и его приятель, сын маркиза Люатье, отправились в королевскую резиденцию верхом на лошадях. Булонский лес, через который вел путь, был еще мокрым, на густой листве платанов и кленов искристо поблескивали капли. В тишине далеко разносился цокот подков по щебню дороги, заглушающий вечерние трели пичуг. Лица мягко оведала лесная свежесть.

– Позавчера, Верден, как мне показалось, вы приударяли за племянницей графини де Полиньяк. Не опасаетесь ли немилости столь важной мадам? Она прочит Жаннетт за какого-то барона, не то баварца, не то испанца.

– Так, шалость. Да и вы, Мишель, также не дремлете.

– За кем будете ухлестывать сегодня? Нам пора условиться, чтобы не мешать друг другу, – предложил приятель, встряхнув длинноволосой головой и приосанившись. Он был младше Зодича, богат безмерно и соединяло их пристрастие к карточной игре да амурные похождения.

– Я как-то видел дочь принца Конде. Очень хорошенькая.



– Да, мсье. Вкус у вас отменный. Мадмуазель прелестна. Но... Как говорится, в «но» поместится Париж... Мой отец из одной партии с принцем, и я открою вам, как другу, секрет. С ведома короля Людовика, через своего агента, принц Конде ведет переговоры с польским монархом. Он предлагает ему в жены собственную дочь.

Зодич невольно придержал лошадь и весело воскликнул:

– Ну, уж это слишком! Соперничать с правителем целой страны – чистейшая авантюра. Спасибо, Мишель, за предостережение.

– Разумеется, там еще идет торг. Поляк настолько богат, что имеет от трех до пяти миллионов ливров. И если этот альянс состоится, то страна его будет оторвана от России. Во всяком случае, брат нашей королевы император Иосиф не упустит возможности нажать в пользу Австрии.

– И как далеко зашли эти переговоры? – просто душно обронил Зодич.

– Не могу знать. Но с тем, что о дочери Конде придется забыть, вам пора смириться. Постарайтесь пленить сердце одной из фавориток королевы! Обе пышут страстью! Имеют любовников. А вы – мужчина не промах! Принцесса Ламбаль и графиня де Полиньяк ждут приключений!

– Мадам де Полиньяк прекрасна, спору нет. Она миниатюрна, грациозна и голубоглаза, что придает женщине обманчивую скромность. Но, увы, связь ее с графом де Водреем давно перестала быть дворцовой тайной.

– Мой отец дружен с Шуазелем, бывшим первым министром Версаля. Мне известны некоторые интриги вокруг короля и королевы. И если учесть, что наш милый Луи, король Франции, подвержен влиянию королевы, то понятно, почему придворные

должности в руках родственников и приятелей де Полиньяк.

– Принцесса Ламбаль, как бы там ни было, не лишена дружбы королевы. Все может измениться в одночасье! – возразил Зодич и подстегнул свою неторопливую откормленную лошадь.

Через полтора часа, миновав Сен-Клу, они уже въехали в Версаль. Надворный слуга принял их лошадей и повел к королевской конюшне. Следом за приятелями в широкие ворота, грохоча колесами, влетела изящная полуоткрытая карета с лилиями из золотых пластин на дверцах. Мария-Антуаннета, французская королева, возвращалась откуда-то со своим закадычным дружкой графом д'Артуа. Будучи младшим братом короля, он позволял себе все, чего хотел. И, женившись на Мари-Терезе Савойской, не бросил своей привычки веселиться, искать развлечений и волочиться за красотками, в том числе, за королевой. Злые языки и памфлетисты, еще несколько лет назад, в бытность здесь мадам дю Барри, распускали о брате короля и будущей королеве, тогда дофине, сплетни. И, действительно, их часто видели вместе на прогулках в парке, гуляющих пешком или на лошадях, мило беседующими наедине в укромных местечках дворца или в салоне мадам Гемене. И ничего удивительного в том не было, поскольку оба отличались жадой жизненных наслаждений и впечатлительностью.

В отличие от брата и жены, Людовик, полный, тяжеловесный и неповоротливый властитель Франции, предпочитал не часто показываться на людях, любил работать в тишине и одиночестве. Для него строгать доски и столярничать было занятие более привлекательным, нежели танцевать в зеленомраморном зале Дворцовой Оперы. Его посещала меланхолия, и весь французский Двор знал отчего. Семь



лет он не мог стать отцом. И, с неразумного откровения Марии-Антуаннеты, было известно о его мужской слабости и физическом недостатке. И потому одни сочувствовали королю Франции, вина во всем ветреную его жену-австрийку, а другие старались приблизиться к королеве, чтобы через нее влиять на Людовика XVI, реализуя личные цели. Несмотря на власть Марии-Антуаннеты над королем, укрепившуюся после того, как между ними, наконец, установилась интимная близость, антиавстрийская партия пополняла ряды. Королева, любя пикантные развлечения, посещала оба враждующие между собой салоны: мадам Гемене и принцессы Ламбаль, ближайшей компаньонки, но уже уступившей сердце королевы новой фаворитке – графине де Полиньяк.

Зодич был вхож в оба салона, имея фальшивый титул барона Вердена, чья фамилия была известна во Франции два века назад, но затем забылась. По разным причинам не оказалось наследников тех, кто был близок в стародавние времена к Бурбонам. Благодаря искусно сфабрикованным геральдическим хроникам, доказавшим родство «Клода Вердена» со своими славными предками, носившими титул баронов, его причислили к избранным, позволяя не только посещать Версаль, как всем желающим, но и бывать на королевских торжествах. Связь с ближайшей подругой Луизы Прованской, жены среднего брата короля, герцогиней Каролин де Брюсе, голубоглазой вдовушкой, привела Александра на королевские приемы. Он был представлен герцогу Прованскому, откровенному недоброжелателю королевы, которая, как поговаривали, отвергла его любовные наскоки. Стать своим в Версале, тяготея к антиавстрийской среде, – это была главная задача, поставленная перед агентом русским посланником в Париже Борятинским...

Августовский вечер, благоухающий цветочными клумбами, собрал многочисленную публику, приехавшую из Парижа и окрестных поместий, блестящую молодежь, среди которой выделялись военные; мадам и мсье, одетые точно с иголки. Зодич был в удлиненном сюртуке, украшенном белой розой в петлице, в узких светлых штанах и в тон им кожаных туфлях, пошитых из рулона крымской кожи. Белая шляпа на вьющихся темных волосах в сочетании с бордовым сюртуком придавали «барону Вердену» вид экстравагантный и весьма привлекательный.

Королевский двор после недавнего возвращения из Шуази вошел в привычный ритм жизни, который ежевечерне предполагал концерты, театральные представления или танцы. Сегодня был объявлен бал в зале Оперы. Недолго задержавшись у открытой веранды парка, где военные музыканты оглушали гуляющих бравурной музыкой, Зодич с приятелем свернули к Дворянскому крылу версальского дворца. Здесь уже царил оживление, и разряженные женщины самых именитых фамилий блистали в окружении разновозрастных донжуанов. Мишель, кивнув «барону» на прощанье, исчез в толпе. А Зодич подошел к начальнику охраны Трианона, дворца королевы, капитану д'Эспираку. Бравый мушкетер приветливо улыбнулся и, отрывисто, по-военному произнося слова, спросил:

– Что-то давно не бывали здесь. Слышал, путешествовали?

– Да, капитан. Коммерческие интересы. Мне не повезло с моими предками. Несметные богатства они потратили на золото и бриллианты, на куртизанок и лошадей. Драгоценности украли. Лошади издохли. И теперь мне самому приходится наверстывать то, что мне предназначалось по праву на-



следства. Ее Величество королева сегодня в хорошем настроении.

– В самом лучшем! Они неразлучны с Его Величеством королем. Ну, понимаете... Большую часть времени она проводит в Версале, а сегодня вернется в свой дворец. Есть основания ожидать наследника, чему должна радоваться вся Франция, – заключил капитан, растрогавшись. Этот здоровила, как всякий мушкетер, был храбр, любвеобилен и сентиментален.

В большом зале, с нежно-голубыми гобеленами, хрустальными люстрами и мраморным полом цвета мокрого изумруда, озаренном тысячами свечей, не смолкала музыка дворцового оркестра. Вероятно, по указанию Марии-Антуаннетты, придворные дамы явились в костюмированных одеяниях. Лица многих скрывали маски, но Зодич без труда узнал свою подругу Каролин в белом домино, светловолосую принцессу де Ламбаль и саму королеву в полумаске, с высоко взбитой прической, «пуфом», изобретенным никем иной, как мадмуазель Бертен. Эта модистка, ставшая королеве подружкой, не только шила наряды, изощряясь в выдумках, исполняя капризы государыни, но и беззастенчиво опустошала королевскую казну. Мария-Антуаннета, хотя о ее огромных долгах знали все, а не только король, не останавливалась ни перед какими препятствиями ради того, чтобы выглядеть изысканно, задавая моду всей Европе.

Зодич, стараясь обратить на себя внимание королевы, танцевал беспрестанно. Его партнершами были и Луиза Прованская, и мадмуазель Бурбон, дочь принца Конде, и мадам Гемене, и графиня де Полиньяк. Последний выбор принес удачу! Когда Зодич провожал «душеприказчицу» королевы к ложе, Мария-Антуаннета удостоила его продолжительным заинтересованным взглядом.

Полонез Александр танцевал со своей возлюбленной, которая успела сообщить, что королева расспрашивала о нем у графини Прованской, и та охарактеризовала «барона» как благородного, очень богатого и щедрого кавалера. «Знали бы вы, мадам, за счет кого такая щедрость! – с иронией подумал Зодич, дождавшись, наконец, что его давний подарок этой графине, – рубиновое кольцо, – возымело действие. – Государыня наша Екатерина одаривает вас своей милостью!»

Несколько лет «барон Верден» безуспешно пытался войти в число доверенных Марии-Антуаннеты, потратил для этого уйму денег, за что не раз подвергался суровым упрекам Борятинского, а нынче ему на редкость везло. Перед тем, как покинуть Версаль, к нему подошел лихой капитан-мушкетер д'Эспирак и с подчеркнутой любезностью передал приглашение королевы на ужин в Петит Трианон. «Черт возьми, недаром я взял с собой полный кошелек! – сразу же догадался конфидент, почему его одарили столь высоким выбором. – Этого и следовало ожидать. Увеселения в Шуази и салоны поднадоели первой мадам Франции, долги ее стремительно растут. Денег нет. Их можно выиграть в карты у тех, у кого они есть. Увы, мадам, я не так богат, как вы предполагаете. Но тысячу-другую ради того, чтобы посидеть рядом, готов попросту подарить. Но при условии, что это – в пользу моей державы!»

Двухэтажный мраморный дворец Петит Трианон, украшенный четырьмя колоннами, собрал избранных. Граф Прованский, по обыкновению, высокомерный, увидев Зодича, почему-то улыбнулся и представил его своему младшему брату, графу д'Артуа, и герцогу де Куани. Об этом немолодом, общительном щеголе, с выразительными карими гла-



зами и изысканными манерами, много говорили в Версале. Именно его, как фаворита, в последнее время особенно выделяла королева.

В застолье блистал красноречием и остроумием граф д'Артуа, рассказывая без тени смущения скабрезные анекдоты и случаи. После очередного опустошенного бокала шампанского безнадежный циник оживился.

– А вот еще одна презабавная историйка, любезные мадам и мсье. Одна герцогиня... Вам известна она, но называть имени не стану. Герцогиня воспылала страстью к юному гвардейцу. Муж стар, неспособен разделить ложе, да и болван, к тому же. Но при этом ревнив до сумасбродства! Казалось бы, мадам и мсье, ежели ты бессилен, то ради удовольствия супруги разреши ей получать удовольствие с другим мужчиной. Разве не так? Будь, сударь, благоразумен и великодушен! Увы, герцог – второй Отелло. И вот однажды, это случилось весной, герцог объявил своей грациозной «кошечке», что уезжает в путешествие в Парму, Флоренцию и еще невесть куда. А сам, разумеется, спрятался в близлежащем поместье, предупредив слуг никому об этом не сообщать. Молодой любовник вихрем примчался к герцогине. Надо отметить, что он был пригож, с длинными светлыми волосами, – словом, херувимчик! Шпионы герцога тут же донесли, что у хозяйки ночует гвардеец. Ночью герцог ворвался в свой замок, вооружившись шпагой. Но и слуги его жены были начеку. Пусть с опозданием, но предупредили хозяйку о появлении ее рогоносца. Кошмар! Путь к отступлению был отрезан. С испугу страстная женщина безумно отдалась любимому юноше, решив, что муж не пощадит их обоих. Но, придя в чувство, она нашла спасительное решение. Кто догадается, какое?

Королева, слушая ближайшего друга с интересом, нетерпеливо бросила:

– Не останавливайтесь, граф. Ум женщины непредсказуем.

– Именно так, Ваше Величество. Она заставила любовника, благо, он был гол, надеть панье, быстро зашнуровала на нем корсет, присоединила лиф, помогла натянуть юбки и прикрепила на грудь стомак. Затем водрузила на голову гвардейца чудесный рыжеволосый парик и снабдила его шляпкой, с лилией и султаном. Бог мой, он стал похож... Он стал похож своей красотой на вас, милейшая принцесса Ламбаль!

Услышав это, бывшая фаворитка королевы вздрогнула, а гости не смогли скрыть улыбок. В гостином зале Трианона повисло напряженное молчание, все насторожились, ожидая реакцию Марии-Антуаннеты.

– И что же дальше? – поторопила королева, сделав вид, что ничего не заметила, а, может, на самом деле, не обратила внимания на двусмысленную шутку. – Герцог открыл обман?

Тут раскатисто захохотал сам рассказчик и, не сразу успокоившись, неожиданно повернул сюжет:

– В это трудно верить, но, когда разъяренный муж вломился в покои изменницы, он вдруг увидел ее мило беседующей с очаровательной девушкой. Жена разыграла растерянность от его столь внезапного прихода и любезно представила свою дальнюю родственницу, оказавшуюся... немой! И сей дряхлый старик поверил! Он стал рассыпаться перед новенькой гостьей в любезностях, даже поцеловал ей ручку!

За столом засмеялись, понимая, что граф д'Артуа, неумемный враль, ловко завершает свою «историчку».



– Герцог умолял младую грацию снова посетить его дом. Но рогатый бедняга, так и не дождался ее. А супруга его, к общей радости, понесла. И скоро, вероятно, родит наследника. Отсюда поучение дамам, – надо отдаваться мужчине так, как будто за дверью стоит муж со шпагой. Впрочем, при условии, что любовник горяч...

Легкомысленное настроение Марии-Антуанеты сгладило назревающий скандал между управительницей дворца де Ламбаль, которую сравнили с гвардейцем, и мадам де Полиньяк, чувствующей себя в Трианоне такой же полноправной хозяйкой, как и королева. Они и сейчас сидели вместе и часто перешептывались, глядя друг на друга влюбленными глазами.

Наконец королева поднялась и перешла в зал, где находился камин, отделанный голубым мрамором, за круглым столиком стояли два кресла и два стула. Гобелены также отливали под блеском свечей ровной бархатистой голубизной. И комната, и мебель были оформлены в стиле рококо. Между тем братья короля с женами и большинство гостей, сломленных ночной усталостью, простились с хозяйкой. Капитан д'Эспирак, очевидно, ждал удобного случая. И как только «барон» и королева сошлись в гостиной, представил вперые приглашенного посетителя.

– Мне рекомендовали вас, как смелого путешественника, кавалера и любителя карточной игры, – мило улыбаясь, чуть искоса окидывая взглядом статного красавца, говорила венценосная особа. – Не хотите ли, сударь, сыграть в «фараона»? Я также обожаю карточную игру. И когда мой несравненный муж разрешил прошлой осенью привезти из Парижа машины-банкометы, я играла всю ночь!

Зодич оставался совершенно хладнокровным, понимая важность этого часа для его дальнейшего

пребывания в кругу приближенных королевы. Он точно бы предвидел, что именно за игрой в карты и закончится эта фантастическая ночь в королевской резиденции!

Придворные оценивающе посматривали на «барона Вердена», на неведомого пришельца, гадая, чей он протеже. И неизвестность того, кто был покровителем этого господина, их откровенно беспокоила. Кто друг, кто враг твой, здесь в Версале, предугадать было немыслимо...

Зодич с учтивым видом сел за стол напротив королевы. И вблизи убедился, насколько правильными были черты ее лица, озаренные мягкой красотой! Невольно обратил он внимание и на ее платье из темного штофа, с разбросанными по полю серебрястыми олеандрами, которое было комбинировано стомаком из драгоценных камней, искрящихся при движении груди. Дворецкий принес две колоды с зеленым крапом и вензелями Марии-Антуанеты. Они были толстыми, и Александр понял, что в старинном наборе было по пятьдесят две карты.

– Вы – мужчина, и, стало быть, извольте метать, – взволнованно приказала королева и оглянулась на герцога де Куани, не сводившего с нее замороженного взгляда. – А я буду пантовать. Итак, мой куш – две тысячи ливров.

– Как вы желаете, Ваше Величество, – покорно ответил «барон» и вслед за королевой отложил свою загаданную карту в сторону. Тут же понтерша «срезала» своей картой колоду в руке Зодича, как бы разделив ее пополам. Александр, как банкомет, перевернул колоду лицевой стороной вверх и открыл первый абцуг – верхнюю пару карт. Мария-Антуаннета с разочарованием увидела, что они не совпали с загаданной ею трефовой семеркой. И второй, и третий абцуг были пустыми, а на тре-



тий, – седьмая карта, нечетная, принесла выигрыш Зодичу. Он показал отложенный им крестовый туз и верхний в абцуге «лоб» – карты совпали.

– Хорошо. За мной долг. Играем снова. Только теперь к нам пусть присоединятся...

Королева назвала имена, вовсе не известные Александру. Судя по их одежде, это были далеко не богачи, а, скорей, карточные шулера. Вид у них был испитой, руки временами мелко тряслись. Трудно было объяснить, как эти господа очутились во дворце. Между тем банккометом второй партии был длинноносый, с бегающими глазами мсье, представленный как музыкант дворцового оркестра. Он ловко провел метку, и с первого же абцуга королева выиграла солидный куш – восемь тысяч ливров. Зодич услышав от нее, что его проигрыш она учла в счет своего долга, решил сыграть еще раз. И тот же банккомет, по всему, опытнейший шулер, снова с первого абцуга принес победу хозяйке. Более чем странно было то, что оба раза Мария-Антуаннета делала ставку на бубнового валета. Очевидно, он был краплен. Опустошив свой кошелек, Зодич вежливо откланялся. Добронравная лошадка вынесла его из Версаля на рассвете.

Вечером он представил Борятинскому рапорт. Из обрывков фраз, реплик королевы и других придворных, со слов Каролин, которая давно уже была его осведомителем, следовало следующее:

«Доношу до вашего высокопревосходительства, что вчера мною посещен Версаль, где имел честь находиться на королевском балу. Меня заочно представили королеве Марии-Антуаннете, которая через капитана пригласила в Трианон. Там состоялось мое знакомство с ней. А затем я имел честь играть с нею в карты, проиграв сознательно тысячу ливров.

Смею утверждать, что принц Конде, известный французский генерал, действительно намерен соединить род Бурбонов со шляхетством. Король Польши колеблется, ссылаясь на свою зависимость от государыни, Ее Императорского Величества Екатерины Алексеевны. Оный правитель, однако, направил в Париж своего доверенного, по имени Глэр. Станислав-Август интригует, предлагая два варианта: самому жениться на юной принцессе или женить на ней своего племянника князя Понятовского. Во втором случае речь пойдет о прямом вызове России, так как этот князь намерен занять престол Курляндии.

В этом предполагаемом браке весьма заинтересован император Австрийский Иосиф, который является главным зачинщиком враждебных Российской державе намерений. Австрийский посланник при французском Дворе Мерси в приватной беседе заметил, что его правительство недаром сосредоточило свои войска в Венгрии. Если удастся убедить турецкого султана вступить за крымского хана Девлет-Гирея, возобновив тем самым войну с Россией, австрийские полки аннексируют Валахию и часть Молдовы. Препятствовать этому не решатся враждующие стороны – ни Порты, ни Россия. Сверх того, брак польского короля с родственницей французского монарха не только сблизит их страны, но и создаст тройственный союз между Парижем, Варшавой и Веной, что значительно ослабит Россию. Залогом тому многочисленные династические браки между представителями Бурбонов и Габсбургов.

Серьезность будущих действий против нашей Державы подтверждает и сообщение от моего осведомителя из Константинополя, которого я нашел будучи там, о тайных переговорах польского ин-тернуция Боскампа с рейс-эфенди. По моему разу-



мению, там речь идет о выгодах, которые получит Станислав-Август в случае войны против России. Стало быть, целью действий монархов Франции, Австрии и Польши является ослабление Российской империи, с возвратом в пользу султана Крымских крепостей, чтобы впоследствии окончательно установить на Кавказе турецкое владычество».

8

В то время, когда войсковую группу, в составе волгских казаков, Хоперского казачьего и Владимирского драгунского полков, барон Шульц вел по степям, выжженным августовским солнцем, к Можарскому урочищу, два полка донских казаков, направленных для прикрытия работ на Линии, двинулись напрямик на юг, намереваясь там же соединиться с основным отрядом.

Эта встреча состоялась в начале сентября в Кумской долине. Защищенная с двух сторон скатами холмов, она была обильна травами на займищах, богата родниками и ручьями, бегущими к реке. Да и сама Кума, светло-желтая, омутистая, пусть и оказалась не тихой, но с водою для питья пригодной, если дать отстояться. Тут и разбили армейцы бивак, расположились на длительную стоянку, восстанавливая силы и откармливая лошадей, донельзя отощавших после пятисотверстного перехода из Царицына.

Донцы разместились лагерем по соседству. И, поступив под общее командование генерал-майора Якоби, встали на один кошт со всеми. Провиант, впрочем, был скуден из-за многочисленности войск, хотя и был заготовлен здесь заблаговременно.

Якоби разбил донцов на эскадроны, численностью в полусотню казаков. Есаул Горбатов назначил себе в помощники Леонтия, с отцом которого вое-

вал против пугачевских банд. Он же и рассказал о том, как погиб Илья Денисович.

– В атаку мы шли, лавой сыпались супротив азиатцев. А те дёру дали, так лупцевали лошадей нагайками, – аж подшерсток летел. Когда гляжу: шайка в балку повернула. Кликнул Илью, ну и других казаков, – кинулись наперехват. И только слетели в низинку, а там – сотня михрюток пугачевских. Кто крутанул коня, тот выбрался. А батька твой спереди оказался. Ну, и давай полосовать шашкой сброд чертов! Скорочко к нам подмога приспела. Когда глядим: куча порубанных нехристей и двое наших односумов... Пуля батьку твоего сразила. Но смерти такой, какую он принял, никакой казак не погнушается. Героем представился, вот что...

Волгцы и хоперцы стояли порознь и, по всему, не дружили. Поминали друг другу старые обиды. Волгцы упрекали хоперцев за то, что с Пугачем якшались, а те высмеивали их за неумение воевать, за пьянство и неспособность противостоять набегам киргизов. Впрочем, состав хоперского полка, как сразу же заметил Леонтий, был чрезвычайно пестрый и разноплеменный. Значительную часть этого, с позволения сказать «казачьего полка», составляли беглые малороссы. И речь их, певучая и таратористая, напоминающая скороговорку, вызывала неприятие и у драгун, и у волгцев. В Хоперском полку состояло несколько десятков калмыков и персов, с чалмами на голове. Баяли, что они крещеные. Но почему-то никак не могли расстаться с головным убором, привычным с детства. Вскоре Леонтий познакомился с хоперским урядником Николаем Бавыкиным и хорунжим Романом Долговым, деды которых были родом из Черкасского городка.

– Царь Петр много делов натворил, – не скрывая осуждения, твердил Николай, покусывая в за-



бывчивости свой рыжий, от табака прокопченный ус. – Некрасова с нашими сродниками ажник к туркам загнал, Сечь и запорожцев погромил, вольность донскую к черте подвел. Мне дед сказывал, что убегли они на Хопер не от сладкой житухи. Русские полки преследовали тех, кто с Булавиным правду шукал... А на Хопре нас, почитай, боле полвека никто не трогал. Пока не прислали коменданта-дурака Подлецкого. Меткая фамилия! С тех пор и пошла катавасия. Мы ведь, хоперцы, одного названия, а происхождения разного. Три слободы – Пыховка, Красная и Алферовка состоят из малороссов, а в трех других – Градской, Новохоперской и Еланском колене проживают потомки донцов и кацапов. Так что каждый держался своей стороны. Бывало, дружили, да не дюже. Ты же, Леонтий, видишь, что сотни наши так и собраны, по слободкам? А командование полка, понятно, из самой боевой слободы, из Градской.

– Чудно видеть с вами чалмачей, – улыбнулся Леонтий. – Тоже казаки?

– Приняли нашу веру. А по случаю жарщи небывалой, разрешено им на башку платки навораживать. Это еще что! Персия тут не дюже далеко. А середь нас и шведы имеются! Опять же царь Петр прислал пленников шведских строить верфь на Осереде. Они так и осели на земле русской. Потом к нам прибились...

Две недели отдыха, данные войску полковником Шульцем, запомнились Леонтию тем, что гоняли с казаками сайгаков, арканя их и сражая выстрелами. Пасли на приречных лугах и займищах своих лошадок, добывая между делов в береговых норах диковинных огромных раков голубого цвета. У вечерних котлов полакомиться дичиной собирались казаки и драгуны. Потом подолгу жгли костры из вербного

сушняка, собранного на берегу, ходили друг к другу знакомиться. За песнями и неторопливыми беседами, обретая силы, отрывались от воспоминаний о родимых куренях и семьях.

Но неизвестность будущего снова наполняла души тревогой и возвращала в прошлое. Тот же Николай не скрывал тоски, рассказывая о доме:

– Осталась жинка с двумя мальцами и родители-старики в Градской. Только на тот год губернатор Якоби обещался, когда в Новохоперскую крепость приезжал на смотр, переселить и семьи наши. Это гутарить просто: переселить. А куда? Ни крыши над головой, ни стены от ветра. В слободе родной все бросай, со скарбом и скотом подавайся на чужбину! – и, понизив голос, стал говорить полушепотом. – Ты думаешь, мы добровольно снялись? Эге! Заартачилось было десятка три-четыре наших казачков. Дескать, это не Высочайший указ, а местных начальников самоуправство. И что? Поплатились за норы! Уже половины в живых нету. Прогнали через строй, палками заporоли. Да и по дороге сюда несколько человек не стерпело, в бега вдарилось... Оно для царицы нашей Линия эта, может быть, и нужна. Не могу судить. Только отдуваться за всех выпало нам, хоперцам да волгским казакам. Дюже чижало на сердце от расставания с Хопром и местами разлюбезными... А деваться некуда. Где живешь, там и родина. Недаром, Леонтий, мы с собой плуги и пашеничку везем. Как осядем где основательно, так начнем хлеб выращивать. А коли родить начнет, то и строить дом можно. Всё от человека зависит. Лишь бы башибузуки с гор не нападали и души не губили. А как-нибудь все одно и на чужой земле обживемся, приласкаемся...

– Не будет здесь покоя, – вздохнул Леонтий. – Народы иной веры, по-русски не понимают. Совсем



безграмотные. Кроме проса, редко пшеницу сеют. У них одно в помыслах – разбойничать. Все мужчины – воины. Так что на мир и надеяться нечего. Нас сюда не зря прислали, чтоб вас защищать. Погоди, прознают горцы, что крепости строятся, поднимут бучу!

– Чему быть, того не миновать, – отозвался хоперец. – Гляди, какое звездное нонче небо! В сентябре их, звезд, более всего. А не знаешь, почему? Они как вроде вишни, под осень созревают и прибавляются. Должно, ученые в такой загадке понимают. Ты как думаешь?

– А по-моему, их всегда одинаково, – рассудил Леонтий.

– А давай, братка, я песню заиграю! Чтой-то на душе мятежно...

Николай крякнул, смахнул растопыренными пальцами со лба свисающий чуб и завел, мягко выговаривая каждое словечко:

*Ой да, не раз, не два мимо жалечки¹ прошел,
Не раз, не два тяжелёхонько вздохнул.
Ой, у жалечки нету дыма, не огня,
Ой, да присмотрелся – на столе стоит свеча.*

Певец глубоко набрал воздуха и запел голосом, вдруг потеплевшим и полным душевного страдания:

*Ой, перед столом стоит раздушечка же моя.
Ой, стоит, стоит, гостей потчевает.
«Что же ты, миленький, не кушаешь, не пьешь,
Знать, миленочек, любить меня не хошь».
Ой, кабы знала, не любила подлеца, –
Не болело б мое сердце до конца...*

И снова хоперец вздохнул и – неожиданно оборвал песню.

¹Жалечка (донск.) – милая, возлюбленная.

– И жалечка у меня в слободе осталась, – проговорил Николай, посмотрев на Леонтия, озаренного оранжевым отсветом костра. Видно, болело сердце казака не только по своей семье, но и по любушке. – Вдовой в двадцать лет стала. А повторно в жены не пошла, хотя сто человек звали. Нет краше ее среди молодиц. Прикипела к сердцу, хоть волком вой! Аж досадно на самого себя! – вдруг обозлился хоперец и поднялся. – Пойду я к своим. Спать время подошло. А ты, Леонтий, дюже по бабе своей соскучился?

– А ты угадай! – засмеялся сотник.

Николай понимающе помолчал и срыву зашелестел сапогами по жесткой вызревшей траве, уходя к однополчанам.

Приказ командующего Астраханским корпусом развел полки в две стороны: волгцам предписывалось двигаться к урочищу Бештомак, куда прибыл уже Кабардинский пехотный полк, а хоперцам и драгунам велено было идти в Моздок. В этой крепости уже с середины августа находился генерал-майор Якоби, проводя с офицерами совещания и строго следя за подготовкой работ на нововозводимой Линии. Полки подходили, а восемнадцать пушек, отправленных водным путем, все еще в Кизляр не прибыли. Учитывая волнения горцев, прознавших о намерениях русских, артиллерийское прикрытие строящихся крепостей было крайне необходимо. Помнился генерал-майору крымский бой, когда его храбрецы-гренадеры осаждали турецкий ретраншемент под встречным пушечным огнем.

Ранним утром десятого сентября кавалькада всадников: генерал-майор Якоби, сопровождаемый офицерами, поступившими под его командование, и бывшим командующим Кавказским корпусом Иваном Федоровичем де Медемом, назначенным



теперь начальником Линии, – походным порядком выехала из Моздока к месту, где должна была возводиться первая крепость.

Генералы ехали вместе, но завязавшаяся на первых порах беседа вскоре иссякла, а затем Медем, сославшись на головную боль, пересел в коляску. Видимо, стал сказываться возраст, – да и недаром, юбилей через несколько дней – ровно пятьдесят пять! Якоби был наслышан о потомке ландмейстера Тевтонского ордена, о его героизме в годы Семилетней войны. В одном из армейских документов попало и его родовое имя – Иоганн Фридрих фон Медем. Но пребывание в России во многом повлияло на характер потомственного воина. Познакомившись с Иваном Федоровичем лично, Якоби проникся уважением к этому ливонцу за неунывающий нрав, обязательность, рыцарский дух и обширные знания в разных науках. Выяснилось, что сей «российский воевода» окончил Йенский и Кёнигсберский университеты. И пусть неважно говорил он по-русски, но относился к подчиненным отечески, хотя и отличался подчас излишней требовательностью и самоуправством.

Время от времени Якоби оборачивался назад, где в легкой повозке сидел, откинувшись на кожаную спинку, ливонец и с улыбкой размышлял: «Оба мы с ним – Иваны, носим самое что ни на есть русское имя. А по происхождению я из шляхты, а он чистокровный германец, граф. Пусть я с детства в военной среде, как и батюшка. Армия сама нас выбрала! Но почему фон Медем, баснословный богач, владелец нескольких имений, красавец и умница, бросив друзей и родных, пошел на службу к государыне? И состоит на ней уже двадцать два года, пройдя чинопроизводство от подполковника до генерал-поручика не в мирной тиши, а в боевом пекле! Явление, в самом деле, замечательное и труд-

нообъяснимое. Может быть, кровь предков отзывается и ведет в бой? Или армейская служба для него способ самоутверждения и проверка себя как человека? Надобно спросить как-нибудь, хотя найдет ли он ответ...»

День народился тихим и солнечным. И, как бывает только в осеннем чистозорном просторе, – с левой стороны распахнулась панорама Кавказского Хребта. А прямо перед глазами, всего в ста верстах с лишком, поражал своим величием Эльбрус, подпирающий белоснежными вершинами небо-свод. Шат-гора¹, как звали её горцы, была украшена ожерельем из тучек. А за Малкой, вдоль которой петлял большак, совершенно открытые взору поднимались склоны скалистых кабардинских гор, заросшие вековыми лесами, с проплетинами лугов и распадками камней. На площадках, ближе к ущелью тут и там лепились сакли аулов, над которыми сизыми столбиками парусили дымы. «Там своя жизнь, свои законы и хлопоты. И как нам понять друг друга? – мысленно спрашивал себя Якоби, с интересом озирая даль. – Матушка Екатерина Алексеевна идет сюда с миром и желанием сделать жизнь горских племен налаженной и богатой, приобщить их к просвещению. А в ответ – лукавство и кровопролитие. И то, что мы сделать должны, – проложить от Моздока до Азова преграду, – послужит благом и кабардинцам, и другим народам, ибо остановит их и остудит воинственный пыл».

Казачьи дозоры впереди были усилены егерями, и по всей дороге до урочища были размещены заставы пехотинцев, уже обжившихся здесь, в Малой Кабарде. Путь выдался долгим. Под вечер свита командующего остановилась на привал подле

¹Шат-гора – Эльбрус.



позиций Кабардинского пехотного полка, где для офицеров были приготовлены палатки, а денщики, выехавшие еще раньше, стряпали ужин. Тут же и переночевали.

На следующий день Якоби и де Медем, одолев еще двадцать пять верст, добрались вместе со всеми к месту. Был полдень. Главный фортификатор Линии, полковник Ладыженский и комендант будущей крепости капитан Гиль, доложили генерал-майору о готовности к закладке.

Первым перед строем выступил де Медем. Он хорошо знал эти места, где не раз вступал в сражения с горцами. Именно он, помня разговор с натуралистом Гюльденштедтом, исследовавшим эту местность, посоветовал Якоби обратить внимание на урочище, приемлемое для оборонительного редута. По случаю столь важного события, Иван Федорович надел красную ленту через плечо, с орденом святого Александра Невского. По всему, генерал-поручику нездоровилось, но настроение у него было приподнятым, и он объявил благодарность всем, кто нес на Кавказе службу. Затем, поддавшись воспоминаниям, напомнил о баталиях с горцами и турками, о понесенных жертвах. А в конце наставительно напомнил, как начальник Линии, что крепости надобно заложить до зимы, а поэтому предстоит трудиться денно и ночью, чтобы исполнить высочайшее повеление.

Якоби, приметив опрокинутый артиллерийский ящик, встал на него и оглядел шеренги пехотинцев, волгских казаков, выстроенные под углом. Его также приветствовали троекратным «ура». Волнение мешало этому бесстрашному командиру, много раз смотревшему смерти в глаза, начать речь. Он сдернул треуголку, подставил ветерку свою седую обнаженную голову. Эскадроны замерли, неотрывно глядя на командующего.

– Братцы мои! Воины Державы! Сегодня выпало нам заложить фланговую крепость нововозводимой Линии. Пять рек сливаются здесь: Терек, Бештомак, Кура, Баксан и Малка. Поглядите, какая излучина! Непросто недругам преодолеть такой заслон. Тут и предстоит заложить цитадель. И названа она будет в честь государыни нашей, Екатерины Алексеевны. Множество милостей было даровано ею. А эти десять крепостей на границе российской встанут щитом от набегов злоумышленников. Подтверждаю слова его высокопревосходительства генерал-поручика и кавалера Ивана Федоровича де Медема, что мы обязаны торопиться, ибо Линия принесет на нашу землю покой и защищенность. Братцы пехотинцы и волгские казаки! Вы примерно показали себя в делах ратных, а теперича потрудитесь на нужды мира! Уповаю на вас, детушки мои, и приказываю к работам приступить!

Ударила барабанная дробь. Капитан Гиль и десятка три волгцев и солдат пехотного полка загнали лопаты в густой чернозем и принялись рыть траншею оборонительного вала. На глаза Якоби непрошено навернулись слезы, но был он лицом по-прежнему строг и пристально наблюдал за тем, как в работу включалось все больше и больше служивого народа...

– С богом, Иван Варфоломеевич! – волнуясь, сказал Медем, подходя к командующему и протягивая ему руку. – Коли приударят да поусердствуют ребятушки, глядишь, к снегу возведем вокруг крепостей оборонительные валы. А, может быть, кое-где и стены поставим. А вот зимовать, черт побери, придется зольдатен¹ в землянках. Мало рук. Да и подвоз кам-

¹Зольдатен (нем.) – солдаты.



ня и щепенки на армейских лошадях затруднителен. Надобно нанимать горских переселенцев.

– Да, смею согласиться, ваше превосходительство, – подумав, ответил Якоби.

Они зашагали рядом.

– Будем нанимать возчиков. Каменные копи здесь неподалеку, а степные крепости потребуют множество подвод, – добавил Иван Федорович, провозжая ливонца к коляске. – Впрочем, желающих нам помогать в таких нуждах немало. Особливо среди осетинцев и ногайцев, живущих подле Пятигорья.

Вслед за первой крепостью волгскими казаками, пехотинцами Кабардинского полка и драгунами были также заложены крепости первой линейной дистанции: 18-го сентября на реке Куре, получившая название Павловской; в начале октября на реке Цалуге (Золке), поименованная Марьинской, а затем крепости на берегах Подкумка и Карамыка (Сабли), названные в честь святых – Георгия и Андрея.

Строительство второй дистанции Линии, западной, было возложено на казаков Хоперского полка и драгун Владимирского полка, общее командование которыми, по-прежнему осуществлял тридцатисемилетний полковник Вильгельм Васильевич Шульц. Это трудное задание Якоби поручил ему неслучайно. Драгунский полк уже проходил этим маршрутом в прошлом году и там, где намечено сооружение крепости у Черного леса, разбивал стан. Теперь же предстояла неотложная работа по возведению не малого оборонительного объекта, а настоящей цитадели, поскольку именно в ней должен находиться командующий второй дистанцией Линии. А самое важное заключалось в том, что именно отсюда расходились дороги в три стороны, – в Закубанье, к Дону и на Азов!

Утвержденный императрицей приказ, ордера Потемкина о закладке всех десяти крепостей до окончания года, – сей грандиозный прожект, как выяснилось уже в октябре, выполнить было невозможно. Во-первых, Линия, пересекая гористую и степную местность, простиралась на огромное расстояние, одолевать которое обозам было затруднительно. Во-вторых, не хватало ни рабочих рук, ни строительных материалов. Кроме того, как ни зажигали офицеры хоперцев и драгун патриотическими речами, внушая сугубую необходимость постройки редутов и крепостей, служивые оставались по-прежнему размеренно несуетными, угрюмыми и как будто недовольными. И это было вполне объяснимо: провианта в драгунском полку поубавилось, так как он, завозимый маркитантами, делился с хоперцами. А казаки не забывали своей обиды за высылку из родных мест, за жестокое принуждение. Об их неблагонадежности постоянно докладывали Шульцу, совмещающему командование драгунами и Хоперским полком. Но вместе с его подчиненными следовал эскадрон донских казаков, поэтому опасаться неповиновения, а паче того, бунта, как считал барон, не стоило.

Походная колонна достигла северного отрога Байвалинских вершин, где были соленые озера и полноводный приток Калауса. Несмотря на середину октября, дни стояли ослепительно яркие, безветренные, на редкость теплые. Бабье лето выкрасило склоны гор и холмов, покрытых лесом, охрой и багрянцем. В ясном небе было тесно от пролетных стай.

Место это, как сразу поняли все в отряде, было выбрано удачно. Отсюда открывалась панорама пе-



ревалов и урочищ, речной долины, переходившей на северо-западе в степь. А за нею, на горизонте, смутно возвышалось плато, синевя очертаниями, куда предстояло еще пройти восемьдесят верст.

18-го октября полковник Ладыженский, который и принимал участие в планировании крепостей, прибыл в расположение отряда. Этому ладному и энергичному инженеру, в меру остроумному и требовательному к подчиненным, еще не исполнилось и сорока лет. Но опыта возведения зданий и редутов набрался он предостаточно, служа бригадным фортификатором, за что удостоин был ордена Святой Анны, а после назначен командиром Кабардинского пехотного полка.

Полдень был по-осеннему солнечным и свежим. Еще издали заметил он работающих солдат и казаков, копающих траншею и расчищающих территорию от деревьев и кустарников. Премьер-майор Баас, обрусевший немец, назначенный строителем и комендантом будущей крепости, тоже стоял в одной шеренге с дровосеками. Поодаль, на позициях драгунского полка стояли походные палатки командования. Ладыженский послал адъютанта к полковнику Шульцу, чтобы уведомить о приезде.

Баас, увидев главного фортификатора Линии, передал топор солдату, вставшему на участок, и топорливо подошел, отряхивая руки. На его полных щеках пылал румянец.

– Желая здравствовать, господин полковник! – приветствовал премьер-майор, часто нося грудью и стирая белоснежным платком пот с лица. – Вот, с Божьей помощью, приступили к исполнению.

– Премного рад. Извольте предоставить план крепости. Я желаю удостовериться, – приказал Ладыженский, трогаясь с места и направляясь к лесу.

Рубка его по размаху и многолюдству напоминала чем-то летний сенокос. Так же строем, на определенном расстоянии друг от друга передвигались солдаты, круша деревца, так же сменщики их, идущие позади, собирали ветки в кучи, – только вместо кос в крепких солдатских руках сверкали топоры. Ладыженский подошел к рубщикам. Двое из них, красивый черноволосый парень, с короткими усами, и дюжий бородатый казак, обернулись и прекратили работу.

– Откуда, ребятушки? – доброжелательно спросил полковник. – Хоперцы?

– Никак нет. Донцы. Сотник войска Донского Ремезов! – смело доложил Леонтий, задерживая дыхание. – С казаком Харечкиным откликнулись на призыв. Решили пособить сродникам. А караулы наши на дежурстве. Дозоры выехали на разведку.

– Молодцы. Рук жалеть не надо! Кто командует вами?

– Есаул Горбатов.

– Где он?

– В нашем лагере, выше высокоблагородие.

– От моего имени передашь ему, чтобы с двумя эскадронами оставался здесь. И не просто охранял эту стройку, а выделял своих казаков на работы. Впрочем, я сам скажу об этом полковнику Шульцу... Были стычки с горцами?

Леонтий, подумав, доложил:

– Дважды замечали их отряд. Но по причине удаленности догнать не удалось.

– Коварство их известно. Не проспите! – напутствовал Ладыженский и вместе с премьер-майором прошел к началу траншеи.

Полковой писарь, который находился здесь, приступив к учету работающих, дабы каждому в день начислять по пяти копеек, в одну минуту при-



нес проект крепости. Ладыженский, сверяя карту с местностью, строго заметил:

– Перемерьте расстояние в южном направлении. Вы сдвинули правый фас саженой на двадцать.

– Так точно, ваше высокоблагородие! – подтвердил Баас. – Там обнаружено залегание гранита. Соответственно границу слева мы увеличили, согласовав это решение с господином полковником фон Шульцем.

Ладыженский возмущенно посмотрел на коменданта.

– Вы нарушили документ, предписанный императрицей и Военной коллегией! Допускаю, что при рекогносцировке допущена неточность. Но утвердить решение, которое приняли вы, имеет право только Иван Варфоломеевич Якоби. Потрудитесь прекратить работы!

Полчаса потребовалось фортификатору, не выпускавшему крепостной карты из рук, чтобы вместе с Баасом обойти стройку по периметру. Еще не везде были вбиты колышки и промерены точные границы. Шел только первый день закладки. К окончанию их обхода подоспел Шульц. Полковники обнялись. И Ладыженский, убедившись, что вросший в землю каменный пласт настолько глубок, что сокрушить его вряд ли возможно, внес свои коррективы.

– План неукоснительно должен выполняться. А посему прошу вернуться к означенному прежде местоположению крепости Святого Александра¹. Однако строительство стены начинайте на гранитной породе. Она прочней любого фундамента. А ров вынесите на внешнюю сторону. Расширение оборонительного пункта допустимо. Соизвольте, господин премьер-майор, возобновить работы.

¹Крепость Св. Александра. – Вскоре получила название Северной. Ныне – село Северное на Ставрополье.

– Будет исполнено! – отрапортовал Баас.

Шульц, проводив взглядом подчиненного, сказал:

– Толковый офицер. Участвовал в баталиях. Да и все мы, командиры, собранные на Линии, повоевали немало... А теперь вот воюем с лопатами... Погода, Николай Николаевич, благоприятствует, и я хочу завтра продолжить марш к Черному лесу, к Ташле. Оставлю здесь Бааса, половину Хоперского полка и два эскадрона драгун, а остальных двести пятьдесят казаков и свой полк поведу на закладку тамошней крепости. Вы с нами?

– Нет, задержусь. А потом догоню. Я вам всецело доверяю, Вильгельм Васильевич.

– Благодарствуйте. Будем стараться, – улыбнулся Шульц. – Хотя, как говорят по-русски, пресловутая немецкая точность сегодня нас чуть-чуть подвела.

– Что есть, то есть. Надеюсь, этого не повторится. Но, если быть справедливым, отвага и самоотверженность также свойственна немцам. Это присуще большинству военных вашей нации, – с нескрываемым уважением заметил Николай Николаевич, идя следом за командиром полка к его палатке. – Посчитайте только тех, кто причастен к Линии: де Медем, Криднер, Гиль, Баас, вы! Я уже не говорю об Иване Ивановиче Германе! Этот саксонец – сущая находка для России! Вот сейчас оставил на него командование полком, и душа покойна. За несколько лет он стал лучшим офицером инженерной службы генштаба. Воевал с турками, при рекогносцировке на Дунае получил контузию. Усмирал Пугачева. Я читал его послужной список... Помимо этого составил карты Финляндии и Молдавии, описал Валахию. Установил границы и составил карту области Войска Донского. И Бог послал нам его сюда в этом году, как только в мае был произведен в подполковники.

– Да, Герман! – подхватил Шульц. – Славный подполковник! Он более других усердствовал в том,



чтобы проект был обоснован. Но вы забыли, дорогой друг, еще об одном моем соотечественнике, Иоганне Гюльденштедте. Ученейший человек, освещенный буквально во всех науках, говорящий на пяти языках. Сей врач и натуралист мне знаком, мы встречались в Петербурге. Он рассказывал, как путешествовал по Кавказу. Составил перечень горских народов, описание флоры и фауны здешнего края. А его географические заметки стали основой для планирования Линии. В том, что множество иностранцев, людей весьма достойных, участвует в преобразовании России, воля государыни.

– Также вашей соотечественницы, – добавил Ладыженский потеплевшим голосом, садясь напротив Шульца на походный стул, выставленный адъютантом. – Однако столько мудрых и добрых дел, как Ее Императорское Величество, для России не сделала ни одна русская женщина. Говорю это абсолютно искренне.

– Совместными усилиями, Вильгельм Васильевич, и крепости поднимем, и мир установим, – заключил барон, распорядившись, чтобы подали обед и кофий, к которому пристрастился в походах.

Строительные работы ни на минуту не прекращались. Срубленные деревья и ветки на вожжах оттаскивали руками и при помощи лошадей к крепостной меже, возводя впереди рва заградительную полосу. Землекопы не только поднимали чернозем, но и отсыпали его в бруствер. Приглушенный рой голосов и крики не стихали.

Переполох негаданно всех позабавил. Два драгуна, углубившиеся в лес по известной причине, вылетели оттуда со спущенными штанами, крича: «Медведи!» Их испуг мигом заразил окружающих, и они ломанулось со всех ног наутек. Трое донских казаков, с ближнего поста, примчались с обнаженными

шашками. А следом за ними – уядник с заряженным ружьем. Из-за густостволья буков, действительно, донесся медвежий рев. К засаде тут же присоединились драгуны с ружьями. Прождав четверть часа, послали разведчика. К счастью, косолапая семейка убралась подобру поздорову. И происшествие это, ненадолго прервавшее труд, позволило чуть отдохнуть и отвлечься...

10

Дорога до Черного леса хорошо запомнилась Леонтию.

Он, принявший под свою команду полуэскадрон, следовал с дозорами впереди походной колонны. Кроме того, взвод донцов прикрывал хвост арьергарда. Все чаще, словно призраки, стали появляться в светлой дали, на взгорках и курганах, черные всадники. Они замирали, приглядываясь и выслеживая, и бесследно исчезали.

Всё случилось у переправы через Калаус, где отряд Шульца остановился на роздых. Дюжина горцев с дикими воплями вылетела из терновой балки, отсекая от лагеря казачий табун, пущенный по скату попаски¹. Лошади испуганно шарахнулись, пустились вскачь. Айдан был рядом. Его, к счастью, Леонтий не успел разнуздать, поскольку вернулся только что из разъезда.

Ремезов бросился в погоню, один против двенадцати. В его руке была только шашка, и он даже не осознавал, какой опасности подверг себя. Только видел перед собой, леденя от гнева, отряд горцев в косматых папах и коричневых чекменях, угоняющих лошадей. Они были лихими наездниками, пустиив своих легконогих кабардинцев бешеным гало-

¹Попаски (донск.) – Свободная пастьба.



пом, чтобы скрыться с отбитым косяком. Молодой горбоносый горец и рыжебородый, с обритой головой джигит, потерявший на скаку шапку, по очереди стреляли в преследующего казака, но пули шумели в стороне. Похитчики отрывались всё дальше. Айдан, с которого сотник не слезал почти сутки, стал сбиваться, засекая на заднюю ногу. И Леонтий начинал свыкаться с мыслью, что коней не вернуть...

Показалось, громыхнуло где-то вдалеке. как бывает перед степной грозой. Но постепенно гром этот стал слышной. Леонтий обернулся, и от радости замер! Взвод драгун, маяча своей черно-красной формой, двигался чуть в стороне мощным ходом. Лошади у армейцев были немецкой породы – тракены. Ни одна лошадь в мире не сравниться с ее бесстрашием и добрым нравом. Ремезов придержал Айдана. Драгуны промчались мимо.

Перестрелка завязалась в облеске, у зарослей волчьей ягоды. Доверив трем своим товарищам угонять похищенных коней, остальные черкесы залегли за деревьями. Драгуны, попав под их обстрел, сделали круг, зашли с фланга. И спешились. Пальба в неподвижном воздухе была хорошо слышна отряду, хотя расстояние до него было не менее пяти верст. Леонтий заехал с левой стороны, как и драгуны, и прыгнул с коня.

– Присмотрите! – крикнул он коноводам, оставленным у лошадей, а сам побежал между кустами шиповника. В облеске чудесно пахло подсохшей травой, созревшим боярышником и орехами. Они, в лопнувшей буро-зеленой кожуре, лежали под деревьями толстым слоем. Леонтий замедлил бег, осматриваясь. Цепь драгунов растянулась за деревьями вдоль поляны, а на ее другой стороне таились горцы.

Леонтий подбежал к подпоручику и предложил окружить неприятелей. Молодой, не по возрасту самоуверенный офицер ответил уклончиво:

– Им некуда отступить! Голубчики в западне. А ежели на лошадей сядут, настигнем... Впрочем, возьмите любого из солдат и действуйте по своему усмотрению. Егор Егоров! Поступаешь в распоряжение господина сотника!

Крадучись, Леонтий и долговязый драгун Егоров сделали крюк по редколесью, заходя в тыл горцев. За деревьями, наконец, проступили силуэты их коней. Стрельба то учащалась, то стихала. И атакующие, и обороняющиеся меняли позиции. Близилась минута отступления черкесов. Леонтий с напарником подползли на расстояние выстрела. Приготовили оружие, сотник поднял пистолет, Егор взял на прицел мушку длинноствольного ружья.

Раздались гортанные выкрики, и горцы выбежали к лошадям. Леонтия опередил, не дождавшись команды, бестолковый драгун. Видимо, парень не бывал в деле и попросту испугался. Эта оплошка и привела к беде. Близко обнаружив неверных, джигиты ответили яростным огнем. Они стреляли, прикрывая друг друга, и по очереди отъезжали на лошадях. Леонтий, выстрелив, перекатывался по земле, избегая вражеских пуль. А Егорушка, приклонив голову за толстый пенёк, опоясанный опятами, спешно палил, как придется. Ружейный треск, между тем, становился все громче. Видимо, драгунский подпоручик повел подчиненных на штурм.

Всего два джигита оставались на краю облеска, и Леонтий не сдержался. Зарядив пистолет, сорвался с земли и побежал, целясь в того, кто был в седле. Ремезов успел выстрелить, ощутив гарь пороха, и увидеть, как вдруг лопнула черкеска горца ниже лопатки, и широкая рана стала заполняться кровью. В тот же миг выстрел бритоголового поверг его на землю. Страшная боль пронизала грудь. Свет стал меркнуть. Мысли спутались. Он понял, что ранен



и, наверное умирает. «Вот почему мне сегодня Мерджан снилась, – вспомнил вдруг он, теряя сознание. – Она хотела меня предупредить, а я не догадался...».

Цепь драгунов поднялась запоздало. Небрежность их командира, приказавшего оставить лошадей за полверсты, позволила горцам, потеряв двух человек убитыми, бесследно уйти по Калаусской долине. Драгуны отделались одним тяжелораненым. Донского сотника Ремезова также доставили в полевой лазарет. Лекарь Карл Петрович Штейдле, засучив рукава и велел помощнику кипятить воду, посчитал пациента безнадежным и, без особого волнения, стал готовиться к операции...

22 октября, в праздник иконы Казанской Божьей матери, хоперские казаки и драгуны Владимирского полка, одолев зыбучий склон, разбили бивак на вершине горы, где предстояло заложить Московскую¹ крепость. Хоперцы, впрочем, снова спустились к ее подножию, разместившись вдоль поляны, удобной для содержания лошадей. К тому же, кустарники за ней были редки, что позволяло расчистить целое поле. Тут же находился и полевой лазарет. В кибитках, под брезентовым пологом, находились раненые. Сотник Ремезов, хотя и выжил, но был по-прежнему слаб и говорил с трудом.

Несмотря на церковный праздник, полковник Шульц приказал приступить к работам. Хоперцам предстояло пилить и рубить деревья. Они стояли непреступной стеной. И, действительно, сколько обозревал глаз, – и на севере, где урочище смыкалось с долиной речки Ташлы, и на юге, загражденном холмами, и вокруг вершины простирались

¹Московская крепость. – Вскоре получила название Ставропольской, дав начало одноименному городу.

вековые древостой. Росли здесь в изобилии буки, орехи, дубы, липы. Тесными полчищами стояли темноствольные грабы и клены. И недаром древесный массив, раскинувшийся по склонам плато, посреди степного простора, был назван Черным лесом. Вблизи него, с горных вершин, начинались русла рек, в том числе Егорлыка, вдоль которого предстояло еще заложить две крепости.

Перестук топоров, гулко отдающийся в чаще, протяжное и веселое повизгивание двуручных пил, голоса переговаривающихся людей огласили вершину горы! Лесоповальные артели, созданные из рот и эскадронов, расставлены были таким образом, чтобы территория крепости расширялась равномерно. Сам Шульц, сбросив теплый суконный бешмет и оставшись в полковничьем сюртуке, пил на пару с Карлом Петровичем. У обоих желания трудиться со всеми вместе было немало, но силенок в обрез. Однако воинственный дух и характер не позволяли им капитулировать!

Старая липа, между тем, поддавалась, и напил на стволе поминутно углублялся. Карл Петрович, запыхавшись, то и дело поправлял свои круглые очки. Он был немолод, устал, к тому же, и долгий путь остался позади. Но пред командиром не хотел показать слабости и, закусив губу, продолжал ритмично, туда-сюда двигать рукой. Наконец дерево слегка качнулось. Расторопно подбежавшие драгуны в несколько рук надавили на ствол. И высокая, в золотистой накидке из листьев, красавица липа, прощально махнув небу верхушкой, рухнула наземь, с нарастающим треском обламывая соседние деревья. Простора на поляне прибавилось.

– Не полагал, что придется мне в кавказском краю валить лес, – добродушно признался Шульц своему соотечественнику, собравшемуся идти к лазарету. – А вы?



– Ja, gerr Oberst! Das Menschenleben hat vielen Überraschungen¹, – ответил лекарь, со свойственной ему раздумчивостью, и неожиданно по-русски добавил:

– Важно то, что ты делаешь. Но еще значительней, чтобы службу исполнял хорошо... Как это по-русски... Mit Gefühl dienen²... Разрешите отлучиться в лазарет. Да и руки болят без привычки. Но свалили мы с вами эту великаншу мастерски!

Полковник направился в сопровождении адъютанта осматривать участки строительства и лагерь, где ставились походные палатки. Вечерело. Из лесной чащобы стал наплывать зябкий туманец. Шульц обошел будущую крепость по периметру, отмежеванную приданным в полк фортификатором. Почва здесь была несколько суглинистая, местами каменистая, а в иных местах выступали напластования желтого известняка. По всему, строительство этой крепости не окажется легким. В любом случае, как решил Шульц, следует начать строительство с обозного сарая, конюшни и гауптвахты. Его немецкая натура требовала неукоснительной дисциплины. А как за нее бороться, если у солдата нет страха перед гауптвахтой? Кроме этого, необходимо возвести и дом для офицеров. А казаки и драгуны, закаленные на службе, как-нибудь перезимуют в землянках да палатках. Лес вокруг. Дров предостаточно. Есть из чего костры жечь!..

Приятель-хоперец, Николай Бавыкин, ждал, пока Карл Петрович перевязывал Леонтия и давал ему пить из кружки декохт. Потом, осторожно ступая по примятому бурьяну, подошел к повозке, на которой покоился раненый. В сумерках лицо сотни-

¹ – Да, господин полковник. В человеческой жизни бывает много неожиданностей. (Нем.)

² – Служить с душой. (Нем.)

ка показалось хоперцу очень бледным и отрешенным. Он уже хотел было отступить, не тревожить собрата, но Леонтий сам его окликнул:

– Добрались, слава богу?

– Добрались! – воскликнул Николай и оживился. – Ну, ты как, казачок дорогой? Держисся? Держись, братка. Фершал, как гляжу, дюже старается. Мудрый старичок. Он тебя поставит на ноги! Сердцем чую... А не сказывал он, можно тебе в еду ягоду-боярку? Мы когда деревья валили, наткнулись на деревце. Попробовал я – чисто сахар. Вот принес в шапке.

Николай наклонился над повозкой, нашел в изголовье медную тарелку, из которой, наверно, кормили Леонтия, и насыпал туда отвердевших на ветру, ароматных ягод.

– Казаки мои тоже работали? – спросил Леонтий.

– Всех немец заставил, – с неприязнью сообщил приятель. – С ног валимся. Хоть бы денек дал, паразит, очапаться. Как скотов, гнобит... И ты скажи, братка, пришли сюда, – теплынь стояла. А теперича туман и сырость холодная. Поганая погода. А придется здесь доживать. На тот год сулятся семьи привезти. Для того командира нашего полка Конона Устинова не сюда прислали, а при бабах наших оставили.

– То-то я и гляжу, что полк без командира.

– И слава богу, что его нет. Не любит он нас. Дюже не любит! А почему? Из соседней станицы он, из Михайловской. С его станичниками раздоры у нас из-за угодий шли. В турецкую войну привелось Конону служить под командованием Потемкина. Вот и продвинулся он вперед, благодаря знакомству. Стал быть, угодил генералу! А натурой Устинов человек злопамятный и самодур. Отец его из рядовых казаков геройством вышел в есаулы. Да и братья Конона ухи-ребята. А этот не в родню... Ну, да нехай живет,



не чихает... Может, раздобыть тебе чего из провизии, а? Может, чехоньку желаешь? У меня осталась одна.

Леонтий движением головы показал, что ничего не нужно и облизал сохнувшие губы. Ему было хорошо, но он не показывал вида. Да и отвлекался хоть как-то от постоянной жгучей боли.

– Ты приглядывай, сделай милость, за моим Ай-даном А то душа не спокойна... Да набери мне в гарнец воды ключевой. Тут, я слышал, солдаты говорили промежду собой. Есть под горой родник. Как завтра отпустят тебя с рубки, так и принеси.

– Не сумливайся, братка. Не забуду, – повеселев, заверил Николай. – Что интересно... Леса вокруг скаженные, а тут, неподалеку, приглядели мы с казаками низину. Не дюже большая, но годная. Даст Господь, подержится погодка без дождей, вспашим ее и засеем. Чтоб на следующий год урожаем снять. Ежель подружимся с землицей, то и сердце успокоится... Ну, до завтрава. Не тужи!

– Рад стараться! – отшутился Леонтий и впервые за последние дни ощутил в душе надежду и поверил в спасение. Приход ли хоперца так повлиял на него, а, может, попросту молодой организм накопил силы для выздоровления?

Ночью туман поднялся. И Леонтий, проснувшись от холода, увидел за краем брезентовой крыши удивительной красоты небо. Полная луна стояла в зените, сияя за тонкой пеленой облачка. Такие же маленькие облака, словно раковинки из перламутра, где сплошь, где с прорехами, выложили небосвод. И между ними проступала фиолетовая бездна, с огоньками звезд. Никогда прежде не видел Леонтий небо, убранный золотом и серебром. Ни малейшего движения не было в воздухе. И он, натянув на себя бурку, согревшись, долго не мог заснуть, озирая поднебесную даль. «Как жить хочется! – со спазмом в

горле подумал Леонтий. – Жить не в богатстве, а как припадет. Ни на кого не обижаться, не скупиться, а прощать людям. Пусть счастье ждет либо невзгода. Они идут дружка за дружкой, так мир устроен. Лишь бы видеть всё это вокруг, слышать голоса, служить в полку или дома хозяйничать. Не разлучаться с Мерджан, матерью и сыном. Дай Господь сил! И прости за грехи, прости за пролитую кровь... Такая у ратников планида. Но велел мне Святой Георгий за землю родную стоять, потому и не поберег себя... Казаку так и положено. Увернуться сердце не позволит!»

11

На следующий день после крещения внука, взволнованная этим событием, Екатерина решила устроить «Малый стол», пригласив к нему самых близких людей. С утра уже она была возбуждена, отменила приемы и, поработав немного в кабинете, вернулась в свои покои, где все, причастные к ее туалету, находились в безропотном ожидании.

Личный парикмахер Иван Козлов, набравшийся мастерства за границей и приспособившийся ко вкусу августейшей клиентки, смело взялся за дело. Как скоро императрица села перед большим туалетным зеркалом, он распустил прядки, аккуратноенько подхватил падающую волну темно-каштановых волос и опустил донизу. Длина их была столь велика, что за малым не достала до пола. Расчесывание на редкость густых волос заняло немало времени. К тому же, под расческой то и дело раздавалось потрескивание и сыпались искры. И Екатерина шутила, что так можно и пожар учинить. Парикмахер не останавливался ни на мгновенье! Он сплетал косички, завивал раскаленными щипцами букли, и – точно фокусник, неуловимыми движениями укладывал на голове царицы невысокую, с зачесами вверх, от-



крывающую лоб, прическу. Она терпеливо следила за его работой и лишь изредка делала замечания.

Как только парикмахер был отпущен, камер-юнгфера Анна Александровна Палакучи ловко наложила поверх волос флеровую наколку с драгоценными камнями, и императрица удалилась в свою спальню. Подумав, она отказалась от шелковых «полонезов», вошедших в моду, не стала надевать и любимый лиловый «молдован» поверх белого гродетурового платья. Сегодня она решила нарядиться так, как в дни торжеств. Две других камер-юнгферы, Авдотья Иванова и Анна Скороходова, помогли облачиться ей в парчовое платье, с тремя орденскими звездами: георгиевской, андреевской и владимирской. Не было для нее радостней праздника, чем этот, в честь внука, нареченного Александром!

И странно, в душе вспыхнуло, казалось, навек утраченное материнское чувство при виде крошечного мальчика, со сморщенным личиком, еще несмышленого и беспомощного. Детей, рожденных ею от Орлова и Потемкина, она даже не запомнила. Младенцы были оторваны тотчас, как только появились на свет. В судьбе ее существовал лишь один сын – Павел, наследник престола. Но вот появился и у него наследник! И этот маленький «наследник наследника» совершил в душе Екатерины переворот. Она вдруг ощутила себя многолетней, перешедшей в поколение бабушек, что, впрочем, ее не огорчило, а, скорей, позабавило

Обед был назначен, по обыкновению, на час полудни.

Подчеркивая торжественность момента, императрица совершила выход, согласно заведенному при Дворе ритуалу. Потемкин прибыл в ее покои заранее и успел переговорить о текущих делах.

– Батя, я читала твой рапорт, – сказала императрица, улыбочиво глядя на своего тайного мужа. – Как

скоро турецкий султан приуготовляется к новой войне с нами, то проводимые усердия на Кавказе заслуживают всяческого поощрения. Пусть ведет Якобий и далее Линию, поелику это возможно. Заодно и про земледелие не забывает. Объяви ему от меня благодарность. А в своих милостях я не задержусь. Надобно вернуться к давешним планам. И Кубань укрепить подобными редутами.

– Я дал поручение своему штабу исследовать тамошнюю местность. А Суворову прикажу самолично проявить усердие... Доходят до меня сведения, всемилостивейшая государыня, что статс-секретарь Зорич отпуская в мой адрес нелестные высказывания. Сие, Ваше Императорское Величество, смешно и недопустимо.

– Погоди, да верно ли это? – удивленно спросила Екатерина, меняясь в лице. – Не наговор ли?

– Я могу перечислить тех особ, кто слышал словесные эскапады¹ сего голубчика, но... К чему это?

– Будьте покойны. Я скажу ему. И церемониться не стану, – жестко пообещала Екатерина и, вздохнув, посветлела лицом. – Я выполняю, батя, твои желания. И очень довольна, что тебе понравился мой подарок, Осиновая роща.

– Вы балуете меня, Ваше Императорское Величество.

– Потому что, милюша, ты в моем сердце пребываешь...

– Матушка моя беспримерная, как бы хотелось мне верить в это... – с нажимом проговорил Потемкин и умолк, увидев входящих камер-юнгфер.

Выход императрицы начался. Впереди шествовал гофмаршал, за ним попарно камергеры, министры, сановники. На пять шагов впереди Екатерины пе-

¹Эскапада. – Выходка, выпад.



чатал шаг в парадном мундире, сияющем орденами, с жезлом в руке, ее генерал-адъютант Григорий Александрович Потемкин. А сама она, свободная и величественная, плавно плыла по надраенному паркету, чуть запрокинув голову назад и выпятив подбородок.

В «Зеркальном» зале, где был накрыт стол на пятьдесят персон, ее уже ждали приглашенные. И при появлении царицы все замерли, преклоняя головы и подобострастно улыбаясь. Ответила и она им своей милостливой улыбкой и остановилась, чтобы гости могли подойти к руке. Целование царской руки заняло минут пять. Каждый раз, близко смотря в глаза подходящего или подходящей, Екатерина старалась понять, каково истинное отношение этого человека к ней. Но проникнуть в тайник чужой души, как знала, еще никому не удавалось...

Наконец она заняла место во главе стола и пригласила всех за ней последовать. Потемкин сел по левую руку от императрицы, а справа, рядом с матерью, поместился Великий князь. Супруга его после родов была еще слаба, и старалась быть с младенцем неотлучно.

Обед, как всегда, начался со здравниц в честь Ее Императорского Величества и Державы российской. Потемкин чувствовал себя нездоровым и пил мало. Екатерина была радостно оживлена, и ее настроение передалось гостям. Царские обеды и прежде отличались свободой и непринужденностью, но сегодня царило особое веселье и радушие. То и дело речи заводились о новорожденном Александре, о том, что он копия своего отца. Самодержице это было лестно, и сама она болтала без умолку, охотно поднимала бокалы с шампанским.

Однако с иностранными посланниками, как заметил Потемкин, держалась Екатерина весьма осто-

рожно. И когда прусский посол Сольмс напомнил о немецких корнях императрицы, а, стало быть, и внука, она со смехом возразила:

– Нет, он родился в России, и человек русский. И служить должен этой земле!

Застолье затянулось. И Потемкин, невольно наблюдая за своим бывшим адъютантом Зоричем, которого сам же благословил в фавориты царицы, вместо Завадовского, испытывал раздражение и против него, и против этого пиршества, устроенного счастливой бабушкой, чтобы еще раз подчеркнуть особую важность появления будущего наследника российского престола. Нарушая этикет, он отпросился у Екатерины, сославшись на жар.

Петербург был завален снегом. И карета мягко катилась по накатанному насту, везя его во дворец у Аничкова моста. Здесь недавно была самодержица с гостями, и они славно провели время. Но в этот день Потемкин испытывал одиночество и непонятную грусть.

Григорий Александрович, разоблачившись, сбросив с себя генеральский мундир, надел теплый халат и прошел в кабинет. Вспомнив разговор с Екатериной, он достал черновик ордера, написанного прежде, но не отправленного пока Якоби.

«Рапорт вашего величества от 23-го минувшего сентября со всеми принадлежностями и планами мною получены, и к Высочайшему Её Императорского Величества сведению всемилоостивейше представлены, из коих успех неустанных трудов ваших в строении на новой Линии крепостей и в заведении хлебопашества соизволили Её Императорское Величество принять с особливым благоволением и милосердно указать мне объявить оное вам и всем, трудящимся под руководством вашим, с тем, что несумненно надеюсь я, что и остальные крепости



общими и усиленными трудами приведутся будущего лета к окончанию. Остается только приметить вам, чтоб хлебопашество стараться всеусильно размножить при всех крепостях к особливому Её Императорского Величества удовольствию и при том завести к пользе того края конные заводы, виноградные сады и табак, а потому всем по той Линии состоящим полкам, батальонам и казакам раздать достаточные земли не только на выгон и для лесов, но и для хлебопашества».

Затем сидел Потемкин у камина и время от времени посматривал на пляшущие языки огня, бросающие на лицо отсвет. Все проходит, и жизнь промелькнет, размышлял он, слыша мерный стук напольных часов. Лишь в делах своих и великих помыслах остается человек в памяти народа. Да, всяк печется о собственном благоденствии и богатстве, но, как верилось всей душой, велено ему свыше, самим Господом, отдать себя России. Служить и умереть ради нее. Тому приводил Потемкин множество доказательств. И, прежде всего, это была встреча с Екатериной, ее любовь и доверие к нему, соправителю и венчаному мужу. Он многое хотел сделать для Отчизны, и многое уже успел. И своих единомышленников находил вокруг все больше...

И не ведал Григорий Александрович о том, что именно в этот декабрьский день, не по-зимнему теплый, хоперские казаки распахали целину у подошвы горы, на которой возводилась у Черного леса крепость. Потом заскородили они черную, слегка влажную землю и засеяли ее зернами пшеницы. И, выбившись из сил, глядя на возделанное поле и хмелея от запаха чернозема, повторили старинную русскую присказку:

– Живи, зерно, и плодись, а мы – с тобою...

Новое имя

Сельский почтальон

Рассказ

*Моим родителям
Алексею Ивановичу
и Анастасии Игнатьевне.*

Дед Игнат захворал. И не то чтобы сильно. Бывало хуже. Сердечко часто пошаливало. Просто не ко времени. Праздники. Май на дворе. День Победы скоро. И не просто праздник, а юбилей. Дед воевал. Но в 41-м под Москвой был ранен, лишился руки. Вернувшись, почтарил на селе. Как начал в войну, так и разносил письма да газеты до самой пенсии. Да и после продолжал более десяти лет, став легендой районного масштаба. Женат не был. Вся деревня судачила по этому поводу. Он всегда отшучивался: «Как последняя солдатка замуж выйдет, я – следом».

Но солдатки замуж не шли. Да и померли почти все. Одна Евдокия Ушакова осталась. Она в молодые годы и пожить с мужем не успела. Чуть ли не со свадьбы в 43-м его забрали в военкомат и на войну. С тех пор – ни слуху, ни духу.



**ВАЛЕРИЙ
АГАРКОВ**

Проза





Часто их видели вместе. То беседуют о чём-то, то дед Игнат по хозяйству ей что-либо мастерит, помогает. Так ловко дед управлялся с инструментом, что здоровые мужики завидовали. Деревенская молва пыталась их «ославить», но не прилипло это к ним. И всё как-то само собой затихло...

Дня три дед не вставал. И тут, как гром среди ясного неба, батюшку затребовал. «Скорую» хотели вызвать – запретил. Внучатые племянники побаивались деда. Из города (благо, рядом) батюшку вызвали. Мудрый, говорили знающие прихожане.

Деревня всполошилась. Уважали деда Игната. Разносить письма во время войны – это характер надо было иметь. Да и сердце дед рвал себе на каждой похоронке. Были и радостные вести. Но одна горькая – для всех, а радостная – в одну избу...

Батюшка приехал быстро. Благо, на своём «Моск-виче». Вышел из машины. Роста внушительного, красив, хоть и в летах уже. Прихожанки, говорят, глаза опускали, чтоб греховную искру не увидел, да такие же мысли не прочитал.

Отец Андрей, так звали батюшку, в избу вошёл один. Народ не расходился, ждал. Пробыл около часа. Вышел и велел позвать Евдокию Ушакову. «Солдатушка», как стали ее называть после войны, пришла быстро. Батюшка проводил её в хату, а сам вышел на крыльцо. Нервно перебирал чётки и что-то шептал. Прослышав про беду, народ стал прибывать.

Через некоторое время вышла Евдокия. В руках у неё была сумка почтальона. Это была та самая сумка, в которой во время войны дед Игнат носил письма, газеты и похоронки. Бледная, как

мел, не обращая ни на кого внимания, Евдокия пошла к своей хате.

Батюшка вернулся в избу. Немного погода вышел и объявил о кончине деда Игната. Это было так неожиданно, что все притихли. Даже собаки, с которыми играли мальцы, стали жаться к их ногам, а бабы заголосили только спустя некоторое время. Мужики, знавшие деда, как-то неловко замялись, опустив глаза, закашлялись, но слёз никто не стеснялся. Все ждали, что скажет отец Андрей. Но тот, сославшись на тайну исповеди, быстро уехал. Деда Игната хоронили всем селом. Такая вот это была личность. Почёт и уважение снискал он своим трудом и добротой характера. Подлости не делал, слыл в активистах.

Похороны совпали с 9 мая. Митинг провели на могиле. Поминали на площади, там и столы накрывали.

Вспоминали, как уже в Афганскую войну, дед дня три не носил почту, пил, горланил песни и проклинал всех и вся. Потом принёс родной сестре похоронку на сына. Правда, единственную на всё село. Вспоминали и Чечню. И тогда уже все знали, если дед Игнат пьёт, значит, в чей-то дом придёт беда. И все с тревогой и надеждой глядели, что вытащит он из своей сумки – «казёнку» или солдатское письмо.

Но никто в этой суете не вспомнил о Евдокии. Где она? Была ли на похоронах? На празднике? Как-то всем не до неё было. Но после похорон сельчане стали замечать, что каждый день, ровно в полдень, из своей избы выходила Евдокия с сумкой почтальона в руках и шла на кладбище. Садилась у могилы деда Игната и читала какие-



то письма. Плакала, разговаривала с ним. Уходя, крестила могилу, что-то шептала и кланялась.

Через год не стало и Евдокии. Это была последняя солдатка в деревне. Незадолго до её смерти приезжал нотариус, и она оформила завещание. Никого из родни у неё в этой деревне не было. Всю жизнь учительствовала. Бывшие ученики, как могли, помогали ей. Хорошая она была, добрая. Очень детишек любила. Хотя своих так и не нажила.

Местная власть начала организацию похорон. Но тут нотариус приехал. Через местное начальство народ стал собирать. Сказал, по важному делу. Собрались быстро. Пытались узнать, по какому поводу сбор. Выяснили. Евдокия завещание написала для всех. Стали ждать. Приехал и батюшка, отец Андрей, который исповедовал её перед смертью.

Нотариус начал оглашать завещание. Голос его то и дело срывался, а иногда и вовсе прерывался. В зале Дома культуры, где зачитывали завещание, стояла мёртвая тишина. Евдокия завещала всё продать, похоронить её рядом с дедом Игнатом. На деньги, хранившиеся у нотариуса, поставить им общий памятник. Сумку с письмами вскрыть и зачитать их всем. Потом вместе с сумкой положить ей в могилу. На памятнике написать: «Спасибо тебе, Господи, за судьбу». Деньги от продажи дома передать на строительство храма в нашем селе. Подписала завещание как-то по-домашнему: «Ваша Евдокия».

Народ сидел, ничего не понимая. Но все чувствовали, что что-то должно произойти. И они узнают об этих людях то, о чём никогда не догадывались, хотя и прожили рядом не один десяток

лет. Казалось, зал затих ещё сильнее, и женский шёпот выдавил из себя: «Ну, читайте же». Нотариус даже вздрогнул. Он повернулся к батюшке и сообщил, что читать велено ему. Так и сказал по-деревенски – велено.

Отец Андрей молча взял сумку и высыпал на стол письма. Их было четыре. Перебрав конверты по датам, батюшка поставленным голосом начал читать.

«ИЗВЕЩЕНИЕ.

Ваш муж, Ушаков Иван Петрович, 1918 года рождения, уроженец села Медвежье, Молотовского района, в бою за Социалистическую Родину, верный своей присяге и долгу, проявив героизм и мужество, убит 12.02.1943 года под Новороссийском. Похоронен в братской могиле.

Начальник военкомата. Подписи и печать».

Зал зашумел. Не получала похоронку Евдокия. Все бы знали. Батюшка негромко, но твёрдо успокоил зал и взял второе письмо.

«Уважаемая Евдокия Ивановна!

Сообщаем Вам, что ваш муж, Ушаков Иван Петрович, служил в нашей части. По приказу командования был направлен выполнять боевую задачу по разгрому фашистских разбойников. Иван с честью выполнил свой долг перед Родиной. Он как патриот смело и решительно громил ненавистных врагов. Краснофлотец Ушаков И.П. пал смертью храбрых. Бойцы и командиры нашей части поклялись отомстить фашистским людоедам за смерть нашего товарища.

Уважаемая Евдокия Ивановна! Гибель Вашего мужа – большая утрата. Но мы отомстим за него. Мы отомстим фашистским разбойникам за



все их кровавые злодеяния, которые они творят над нашим советским народом. До свидания.

Заместитель командира по политической части Белоусов.

Полевая почта 70081/а.

28.04.1943 года».

В зале было тихо и отец Андрей, не делая большой паузы, продолжил читать следующее письмо.

«Дорогая Евдокия Ивановна!...»

Батюшка запнулся, но зал не шумел. Тем неожиданней было продолжение.

«Нет. Любимая моя Дуняша! Пришёл мой час покаяться перед тобой, твоим мужем (царство ему небесное) и Богом. Когда ты будешь читать это письмо, меня, может быть, уже не будет на этом свете. Но я не жалею о смерти. Я её хотел не раз. Страшная эта штука – Совесть! Прихватила меня на обмане и не отпустила до самой кончины. Молод был и глуп. Хотел, как лучше сделать, а вышло вот оно что. Нравилась ты мне. Шло время, полюбил я тебя. И, как видишь, навсегда. Открыться боялся. Думал, не простишь. Да и видел, что ждёшь его. Надеешься. А надежду эту я тебе дал. Как отнять?! Вот и жил, любил, а признаться не смог.

Батюшке исповедался. Он сказал, что Бог простит. Не со зла ведь. А я всё про тебя думал– ты-то простишь?

Письмо написал заранее. Попрошу батюшку, чтобы тебе передал вместе с сумкой моей. Сколько я в ней горя поносил... Может, там, наверху, встретишься с Иваном. Попроси и за меня прощения. Ещё раз прости. Не ведал, что творил.

Прощай.

*Всегда твой Игнат Аверкиевич Ожерельев.
8 мая 2005 года».*

Батюшка взял стакан воды и медленно выпил. Глаза его блеснули, но он сдерживал себя. Люди удивлённо переглядывались. Они не верили, что это – не сон, а явь... Как, в такой маленькой деревне, где всё на виду, происходило такое, и никто об этом не только не знал, но даже и не догадывался.

Отец Андрей своим предложением продолжить чтение прекратил активное обсуждение и отдельные всхлипывания уж очень впечатлительных селянок.

Четвёртое письмо было написано на листке из ученической тетради. В огромных батюшкиных руках оно казалось запиской. Он кашлянул для наведения полной тишины и начал читать.

«Милые мои односельчане!

Каюсь перед Богом, перед вами и перед Игнатом. Не буду говорить, с какого времени, но я его тоже любила. Любила и боялась. Боялась молвы, боялась своих лет, боялась, а вдруг Ваня вернётся. Приедет, а что я ему скажу?

Так и жила между любовью и долгом. Между надеждой и желанием. Думала, что это бывает лишь в кино. А оно, видите, со мной приключилось. После смерти Игната, после того, что я узнала, мне захотелось туда, к ним, и пусть бог нас рассудит. Спросите, почему пишу всем вам?

Так долго жила в затворничестве, что захотелось донести до вас одну истину, которую я очень поздно поняла...»

Батюшка оторвался от письма и посмотрел в зал. Такими своих прихожан он ещё не видел никогда. Он поймал себя на мысли, что это похоже



на «Нагорную проповедь». Но потом отбросил это греховное сравнение, перекрестился и продолжил: *«Любовь даёт нам жизнь, а жизнь дарит нам любовь. Живите и радуйтесь в этом вечном круговороте, но только в ладу с совестью».*

Расходились молча. Было не до обсуждений.

Прошло много лет. В деревне той, говорят, через год столько детишек народилось. Многие мужики пить бросили. А в честь Игната и Евдокии (не боясь молвы), в мае свадьбы стали играть. И разводов почти не стало. Стараниями отца Андрея в деревне церковь отстроили. Люди к храму потянулись. Жила в селе Любовь, была и Надежда. А теперь и Вера вернулась. Ну, и Слава Богу!

Гости форума "Белая акация"

Старуха и квартирант

Старуха не любила скрипичную музыку и, когда из небольшого черного футляра, из красного плюшевого нутра, квартирант доставал ореховый инструмент и начинал тягучий нотный зудеж, предпочитала удалиться и отсиживаться в кухне, затворясь дверью, и слушать радио, которое, правда, иногда допускало огорчительный сбой и подвывало квартиранту гнусоватым смычком.

Квартирант был не просто временным съемщиком комнаты, он застрял где-то в одном из хитросплетений родословного древа покойного старухино мужа, и отказать в постое ему, редкостно пробившемуся на консерваторское обучение из провинциального захолустного угла, было невозможно, как невозможно было запретить ему упражняться подолгу, по несколько часов подряд. Благо квартирант вел себя примерно и старухи не чурался, тепленько называл ее бабушкой и любил побалакать с ней о цветах:



**ЕВГЕНИЙ
ШИШКИН**

Проза





– Почему же это столетник не цветет? Кактус цветет, а они с ним чем-то похожи. Оба шипастые... А на Кавказе, бабушка, у моря, растет дерево – рододендрон называется, с большими розовыми цветами. Говорят, очень красивое. Я не видел. Я еще ни разу к морю не ездил, – тихонько вздыхал квартирант и глуховато подкашливал, прикрывая узкой ладонью рот.

Этим вздохом и движением руки он напоминал старухе умершего мужа, который тоже принадлежал к музыкантскому племени: был трубач. Она вышла за него замуж по страстной влюбленности, но без всякого восторга от его музыки. Когда-то он самозабвенно рисовал их счастливую будущность: большой дом с открытой террасой, рояль в гостиной... А еще он обещал ей купить дорогую, длинную – до пят – каракулевою, с воротником из чернобурки шубу. Ни первого, ни второго, ни длинной шубы, о которой старуха еще в невестах грезилась как о чем-то заветном, в их жизни не появилось. Трубач-муж напрасно уповал стать знаменитостью, слава ускользнула от него; он вечно нуждался, занимал и перезанимал деньги, постоянно искал себе "новые" оркестры, часто хворал и умер еще молодым от грудной болезни, не выполнив своих обещаний ни перед творческим "я", ни перед женой. Он оставил в наследство ей папки с нотами, потускнелую трубу и одиночество, которое на закатном уклоне лет и потревожил не совсем случайный квартирант из дальней родни с музыкальными наклонностями. "Пускай проживает. Не так скучно хоть", – говорила про себя старуха, испытывая подчас к квартиранту материнские чувства.

"Да вот и он! Что же так рано?" Нынче вечером квартирант собирался с кем-то на концерт в фи-

лармонию, но обернулся очень скоро, как будто филармонический артист занемог и выступление отменили. На вопрос старухи "Что так?" квартирант промямлил нечто невнятное, устало-раздраженное и, оставив посреди прихожей свои ботинки, чуть не до верхов извоженные в весенней грязи, ушел к себе в комнату-боковушку и тотчас же приступил пиликать.

Старуха, немало удивленная небрежностью его ответа и вызывающей заляпанностью его обуви, собралась было в кухню – пересидеть неминуемый урок, но замешкалась. Соло нынешнего смычка показалось ей странным, не всегдашним: смычок то стремительно взвевается к пискучим голосам высоченных нот, то без всякого переходного рисунка, о котором старуха имела невольное представление, вдруг загудит низким плотным шаляпинским басом, но и эту песнь оборвет сплеча, на полувыдохе... Сегодняшние упражнения студента явно пробуксовывали: он часто умолкал, потом опять выкрутасничал, выводя неблагозвучные темы, снова умолкал, пока очередной припадок активности не понуждал его к новой нелепой виртуозности.

"Не стряслось ли с ним чего? Обидел кто-нибудь. Билеты на концерт потерял?.. Или нездоровится?" – блуждала старуха по догадкам, слушая, как дико, с надрывом, с болью взревывала скрипка.

Поразмышляв немного, старуха налила в кувшин воды и под предлогом поливки цветов на окошке, которые были политы поутру и по влаге не соскучились, пошла – движимая любопытством и озабоченностью – в комнату постояльца. Когда старуха приблизилась к двери, скрипка играла высоко, путанно и коряво: "И-и-и-и-и!! – иии!" Потом скрипка внезапно прервала узловатую нотную вязь, и в коридор получившегося затишья старуха и хо-



тела пробраться в комнату – осторожно приналегла плечиком на дверь, но в тот же миг, будто включилась сигнализация, смычок резанул по струнам и нервам; скрипка завизжала истерично, как перепуганная, опозоренная женщина, которую застали врасплох нагишом...

Квартирант не видел обнаружившуюся у приоткрытой двери старуху: он стоял к ней спиной – лицом к окну, как всегда на своем ученическом месте, возле пюпитра, на котором сейчас вместо нот лежал портрет в белой картонной рамке. О портрете этом старуха давно знала, хотя квартирант его прятал, но прятал, в силу рассеянности своей, чертовски халатно: забывал на стопке книг на этажерке, между цветочными горшками, а бывало, уголок белого рамочного картона виновато высовывался из-под подушки. Цветной фотографический облик избранницы квартиранта старуха изучила досконально. Темноволосая, с тонкими бровями, с безукоризненно отточенными косметикой ресницами вокруг больших черных глаз, с крупными губами и чуть смеющимся, иронично-надменным подбородком, в затейливых серьгах висюльками и в кофточке с узором золотой вышивки, – девица нравилась ей очевидной, неоспоримой, какой-то журнально-обложечной привлекательностью, но и вызывала некоторое подозрение. "К ее наружности кавалера другого бы надо", – подумывала старуха, приставляя к фотографической особе нынешнего ухажера – скрипача-студента, немодного, застенчивого, да еще из провинции, с безденежья.

Вдруг квартирант отбросил на кровать смычок, а портрет с красивым девичьим лицом схватил с пюпитра и швырнул себе под ноги; плечи квартиранта судорожно затряслись. Старуха испуганно притворила дверь, боясь быть уличенной в подглядке, и замерла, прижимая к телу холодный кув-

шин с водой и сдерживая дыхание.

Однако сострадательный интерес к постояльцу не позволял ей долго бездействовать, она немного повыждала, потерпела и костяшкой согнутого указательного пальца постучала в дверь. Сперва тихо, после погромче.

– Да, да, – минуя паузу, глухо откликнулась комната.

– Цветочки полить, – кашлянув, доложились старуха при входе и неслышно-мягко прошла к окну, при этом заметив, что портрета нигде не видать, а глаза квартиранта красноваты.

– Весна... Герани пора уж зацветать. В прошлом году в это время распускалась. Может, земля истощилась, витаминов каких-то не хватает, – говорила старуха, условно поливая накануне политые растения, сопровождая это занятие пояснениями, с расчетом разговорить квартиранта.

Квартирант пока не проронил ни слова, сидел на кровати, положив на колени скрипку, искоса взглядывая на старуху. Она, в свою очередь, покашивалась на него. Лицо квартиранта было неброским, худым, с красноватыми пятнышками от былых отроческих чирьев; глаза, с нездоровым блеском недавних слез, глядели скорбно; тонкие руки бледны – почти в цвет его белой рубашки, обшлага которой далеко выползли из рукавов кургузого, порядком поизносившегося пиджачка.

– Вот просохнет на улице и пойду в овраг за черноземом, – вздохнула старуха, якобы притомилась и позволила себе сесть на стул, что находился возле кровати и квартиранта. – Землю в горшках поменять надо. И рассадить кой-чего. Бегония вон густо пошла – целая шапка, – продолжила она цветочную тему.

Квартирант повернул голову к окну, вероятно, выбрал взглядом шапку круглых листьев бегонии,



темно-зеленых, с восковым налетом с лицевой стороны, и бордовых, с белыми прожилками с изнанки. Старуха уловила в этом его движении некую отзывчивость к своим словам и расположенность к себе и осмелилась полюбопытничать:

– Ушла, что ли, она от тебя?

Квартирант быстро, стыдливо взглянул ей в глаза и опустил голову, заперебирал нервными пальцами струны на скрипке; однако, похоже, старухиному вопросу не удивился – напротив: ему, похоже, самому хотелось исповедаться. Он швыркнул носом и лихорадочно часто закивал головой, отвечая тем самым на вопрос старухи утвердительно, а потом заговорил скоро и отрывисто, с горькой обидой:

– Никакие концерты ей не нужны! И музыка не нужна! И я ей не нужен! Деньги ей нужны! – Он часто дышал и давил пальцами гриф скрипки. – Она теперь с другим. У того квартира есть. Доллары! Она только и говорит, чего сколько в этих долларах стоит.. Он летом ее за границу повезет. К морю! Да неужели все женщины такие? Покажи им деньги – и побегут? – взглянув в глаза старухе, с запальчивостью и отчаянием спросил он, словно она отвечала за все женское в этой жизни.

Старуха поначалу несколько смутилась, потупилась, будто чего-то наобещала квартиранту, да не выполнила. Ей, конечно, хотелось утешить его, успокоительно высказать ему, что настоящей любви никакие деньги не страшны, что избранница его вскоре вернется, оценит его по достоинству, покается и вернется. Она видела и чувствовала, что квартирант ждет от нее именно таких слов и такого участия. Но старуха молчала. Ей вдруг в этот момент пришла на ум шуба – та самая, каракулевая, длинная – до пят – шуба с чернобуркой на воротнике. Эту шубу она мысленно примеряла тысячи раз, в этой

шубе – нарядно-неотразимая – она шла по городу с гордо поднятой головой, в этой шубе она слышала за своей спиной завистливый и восторженный шёпот знакомых: "Это идет жена известного музыканта... Таких шуб у нас в городе всего несколько". О! Какая это была шуба! Которая, к несчастью, ни разу в действительности не легла на плечи старухи за всю долгую жизнь.

Старуха печально усмехнулась, вспомнила еще о чем-то, потерянном и невозвратном, и глядя с легким упреком на квартиранта, тихо и серьезно сказала:

– Ты смолоду это пойми... Кто богат, тот и люб! Всегда так было, всегда и останется... Вот красивая у тебя скрипка, поет хорошо, так она и стоит дорого. Так же и любовь... Для бедного человека любовь-то иной раз – это роскошь. Такую роскошь не всякий оплатит.

Квартирант, не ожидавший от старухи подобных слов, взглянул на нее в недоумении и тут же опустил голову, словно обжегся о ее впалые, но ясные глаза. Он не хотел больше ничего слышать и сильнее прижал к себе изящно выгнутый лаковый бок скрипки.

Квартирант был еще слишком молод, чтобы верить старухе.

Я, ты и наша любовь

В гробу лежал ее муж Евгений Федорович Пустовалов. В лице его еще не появилось той покойницкой заостренности и восковости, которая отпугивает и страшит запредельным холодком, и его красивые густые брови, прямой твердый нос и вертикальная морщинка на подбородке сохранили мужественную жестковатость его вида, симпатичность и неизмен-



ность с того рокового утреннего часа, когда, собираясь в институт на кафедру, он присел к письменному столу взять какие-то бумаги и вдруг враз оглох, очоленел от смертельного инфаркта. Порой казалась, что муж ее и не мертв, а просто по странной какой-то прихоти или для жуткой потехи забрался в эту нарядную, обитую голубой шелковистой материей домовину и накрепко заснул, сцепив на груди руки; и относиться к нему как к усопшему – неловко и непозволительно, будто он обязательно еще встанет, оборвет летаргическое забытье.

"Как же мы опустим его туда?.." – пугливо думала Ирина Андреевна, цепенея от навязанного себе самой воображения: вот наглухо складываются половинки гроба, гроб опускается в могилу, заваливается красным суглинком, очень тяжелым и липким, потому как нынче на улице дождь, – и он, ее муж, остается в полнейшем беспросветье, подземельно-сыроватом холоде, а главное – без доступа воздуха, задыхающийся... От ужаса таких представлений Ирина Андреевна содрогнулась, на какое-то время закрыла глаза, а потом полезла в карман за носовым платком, чтобы стереть со щек выкатившиеся слезы. Плакала она в эти дни много.

Двадцать с лишним семейных лет один кров и неразлучность связывали их с Евгением Федоровичем, и время это было прожито не худо-бедно, не предосудительно, а честь по чести, людям в пример и на зависть: дети у Пустоваловых воспитанные, умницы: дочь Лиза – студентка университета, трудолюбива, недурна собою и на выданье почти, а Кирилл, сын, на последнем школьном году, без "троек" в табеле; дом у Пустоваловых большой – о пяти комнатах, с добротной обстановкою, полным хозяйственным обустройством, а в пристроенном гараже – внедорожник "Форд". Было о чем плакать-

ся и кручиниться, теряя всему этому толкового хозяина, теряя мужа, отца!

И сейчас, находясь у гроба Евгения Федоровича, незадолго до выноса, Ирину Андреевну больше всего пугало будущее: неутешное одиночество, безуютная холодность и пустота осиротевшего дома. Пусть муж мертв – с этим уже нельзя не соглашаться – но он пока здесь, в доме, и он все еще здесь хозяин... А что будет потом, когда она вернется с кладбища?.. "Как я буду дальше без него?.. Где мне набраться сил?.. Как пережить все это?" – утирая слезы и чувствуя припухлость своего лица, спрашивала, пугала себя Ирина Андреевна.

– Автобусы уже приехали, – тихо сообщила ей подошедшая Ксения. – И музыканты здесь.

Ирина Андреевна удовлетворенно качнула головой, подумала: "Хорошо, что есть Ксения. Что бы я без нее делала?" Ксения даже не дальняя родственница – подруга, но почти всю организацию похорон добровольно переложила на себя: оркестр, венки, транспорт, водка для поминок... Работник районной администрации – в ней была организаторская опытность и хватка. "Хотя, может быть, это не совсем правильно по отношению к нему. Он недолюбливал Ксению", – подумала Ирина Андреевна несколько позже, нечаянно взглянув на пальцы подруги с остро заточенными, вишнево окрашенными, ухоженными ногтями. Откуда-то из глубин памяти всплыл досадный конфликт с Евгением Федоровичем из-за подруги.

– Пусть твоя Ксения проявляет заботу о своем муже, а не обо мне! – отрубил однажды Евгений Федорович, когда Ксения привезла из заграничной командировки индийский свитер и подарила ему со словами: "...он теплый... на охоту ходить... не простудишься..."



– Ты прекрасно знаешь, что у нее нет мужа. Она от всего сердца...

– Нет, не от сердца. Это просто плата за то, что лезет в дела чужой семьи.

– Оставь, пожалуйста, – вздыхала Ирина Андреевна. – Почему ты к ней так?..

В гостиной было душно: людей перед выносом собралось – нелегко повернуться, а раскрытые форточки не выручали: на улице дождливый полусумрак октябрьского дня с застойно-влажным воздухом. Ирина Андреевна чувствовала тяжесть в голове, истомленность всех мышц и липучую сонливость от духоты; была очень рассеянна: вскользь слушала, что ей говорили подходившие с опечаленными лицами люди, часто сама забывала, о чем начинала говорить с ними, и после какой-нибудь нечаянной заминки уж не могла вспомнить. "Быстрее бы тогда на воздух..." – обреченно подумала Ирина Андреевна: духота начинала ее предобморочно мутить.

– Еще минут десять. Потом пора выносить, – сказала Ксения, словно угадывая обессиленное состояние Ирины Андреевны и ее мысли.

Слова Ксении, видимо, услышала Лиза, стоявшая поблизости, – заплакала. Кирилл, покосившись на сестру, тоже переменялся в лице, часто заморгал, чтоб удержать в себе слезы.

– Несчастные вы мои, – промолвила Ирина Андреевна и обняла их обоих. – Как тяжело нам будет без папы. Господи... – К горлу ее опять подобрался соленый ком слез и где-то внутри стали нарастать толчки рыданий. Однако на этот раз выплакаться ей помешали...

У дверей гостиной произошло непонятное оживление: там кто-то появился и торопливо стал протискиваться к центру, вызвав некоторый гул и шевеление. Вскоре у изножья гроба появилась вы-

сокая молодая женщина в длинном черном плаще и черном берете; она была напряженно бледна. Оказавшись у гроба и напрямую увидев лицо покойного, незнакомка вздрогнула и негромко воскликнула "Ах!" Потом виновато прикрыла ладошкой рот и, очевидно, испытывая на себе вопросительные взгляды окружающих, склонила голову, тихонько и уже как-то вяло запробиралась назад к выходу. Она будто убедилась в том, что покойник именно Евгений Федорович, и ушла.

– Что это за особа? – тихо спросила Ксения. У Ирины Андреевны высохли на глазах слезы, неприятное смятение и тревога похолодили сердце. "Дальняя родня, его троюродная сестра", – наскооро придумала она, но все же так не ответила: зачем лгать лучшей подруге? Призналась шепотом, честно:

– Я ее не знаю. Может быть, с его работы?

Ирина Андреевна обернулась, ища взглядом Нила Афанасьевича, проректора института, но его сейчас не было видать, а другие бывшие коллеги мужа выразили глазами недоумение: высокую женщину в черном они явно не знали.

– Странная какая-то. Истеричка, похоже... – с язвительной антипатией отозвалась о незнакомке Ксения.

С подругой Ирина Андреевна была в общем-то солидарна: в незнакомке ей показалось присутствие излишней порывистости и даже диковатости, но, с другой стороны, ей показалось, что незнакомка совершенно обыкновенна и нормальна и только очень потрясена смертью Евгения Федоровича и его теперешними немymi чертами. "А ведь, возможно, я ее где-то видела. Кажется, не очень давно... Но ее ли? – стала припоминать Ирина Андреевна, роясь памяти, как в пачке с фотографиями. – В универса-



ме за кассой? На почте?.. Нет. Но где же?" – Отыскать нужную карточку ей так и не удалось: не до того, – пришло время выносить гроб, ехать на кладбище.

Моросил дождь. Двое дюжих могильщиков в серых, окропленных каплями фуфайках углубляли яму, расчетливо орудовали до серебра отшлифованными на земляной работе лопатами. Ждать их пришлось недолго, почти не пришлось.

– Прощайтесь покуда с ним, – указал на покойника один из копальщиков, что постарше, с изломанной шрамом бровью, – мы и поспеем. Подкопать надобно. Дело нехитрое. – И плюнул себе в широкую ладонь.

Нил Афанасьевич – грузноватый седой профессор в тяжелых очках, подойдя близко к гробу, покусав свои губы, словно мучаясь дилеммой: говорить или лучше помолчать, собрался, однако, с мыслями и заговорил торжественно-хвалебную, печальную надгробную речь. Заподозрить профессора в неискренности было бы кощунственно: с покойным дружили они со студенческих лет.

Ирина Андреевна почти не слышала произносимых слов, смотрела задумчиво на лицо мужа – такое родное, знакомое, не поддавшееся еще обмертвелости, только щетина несвойственно темнела на подбородке, и за нее цеплялись мелкие капли дождя, просеянного через какое-то небесное сито. О чем она думала? Что испытывала в эти минуты?

Наверное, каждый человек, стоящий перед гробом и остающийся жить, виновен перед тем, у кого навсегда сомкнуты веки. И она сейчас тоже признавала вину перед покойным, мысленно каялась: саднила душа за историю с домом, хотя минуло с той поры больше десятка лет. Евгению Федоровичу страшно не хотелось расставаться с отчим домом, доставшимся ему по наследству от рано умершей

матери. Дом был еще достаточно крепок, немал и местоположением выгоден: фасадными окнами – на реку. Но Ирина Андреевна не хотела жить в свекровином доме, настояла продать его и купить другой: "попросторнее и поосновательнее", – как тогда выразилась. Один дом продали, другой купили, но после этого настал период, когда Евгений Федорович тяготился семьей. Бывал он тогда частенько раздражителен и даже груб и безумно полюбил охоту – пропадал в сезон из дому на все выходные, чего крайне не одобряла Ирина Андреевна.

Впоследствии, правда, Евгений Федорович в новом доме обжился, матеро пустил корни: сделал пристрой, гараж, посадил в палисаднике каштан, и Ирина Андреевна, празднуя в душе победу, высказывала ему примирительно: "Вот видишь, ты упрямылся, а ведь я оказалась права..." Он согласительно кивал головой, улыбался, но этим почему-то отнимал у нее радость победы.

Речь профессора кончилась – настало время последнего целования покойного. Ирина Андреевна склонилась над лицом мужа, не веря тому, что это уже последние минуты и дальше для нее наступит жизнь без него. "Неужели все?.. Я любила тебя... Зачем ты меня оставляешь?.. Что со мной будет? Господи..." От горечи утраты, от безысходной досады ей хотелось пасть на колени и не просто плакать тихими слезами, а разреветься, разорвать душу, выпустить из нее высокий бабий голос и страдальческое вытье, но в то же время она чувствовала, что сейчас что-то претит ей поступать так, что-то неумолимо сдерживает ее на тормозах. Она воровато окинула людей, царापнула взглядом черный берет незнакомки. А ведь это она, именно она и не дает ей излиться в полную волю, мешает! Незнакомка как будто пряталась за спинами других, пригибала голову, лица



ее не было видно, но уже одно присутствие ее здесь было подобно острому камушку в туфле, когда боль от покалываний способна затмить самое важное и оставить одно желание снять туфлю, поколотить запяtkом о что-нибудь твердое и вышвырнуть злосчастную колючку...

- Да-а, потерять такого мужа – горе великое.

- В расцвете лет еще был.

- Что говорить: нелегко ей придется...

- Да и детям-то каково? – рассеянно слышала Ирина Андреевна сострадательные голоса родственников и знакомых, уступив место у изголовья гроба Лизе и Кириллу.

У Лизы от плача вздрагивали плечи, а юное лицо опухло от слез и как-то размылось в чертах, смазлось, сделалось некрасивым, с набрякшей красной носом. Кирилл торопливо стирал краем рукава сочившиеся из глаз слезы – старался не показывать их окружающим и все же не мог скрыть слезы страданий на своем безусом лице с мелкой отроческой прыщеватостью.

После того, как с покойным простились самые близкие люди, связанные узами родства, предусмотрительная Ксения покрыла лоб покойного белым носовым платком, сложенным в ленточку – так, по ее объяснениям, нынче принято: некоторые побаиваются или побрезгивают коснуться губами холодного мертвого лба, а поцеловать усопшего в платок смелости и усилий над собой требуется куда меньше. Люди вытянулись очередью, подходили: кто-то просто кланялся, кто-то нагибался ко лбу; замыкала траурную вереницу незнакомка. Она двигалась ссутулившись, с сильно потупленной головой и вроде хотела быть менее приметной, скрасть свой большой рост. Чем ближе она была к гробу, тем сильнее Ирина Андреевна испытывала чувство тревоги и

опаски: ей казалось, что незнакомка чересчур неравнодушна к ее мужу и способна даже сейчас выказать к нему какое-то излишнее, сумасбродное внимание. Ирина Андреевна следила за ней настороженно и ревниво, но ей чуть было не помешал Нил Афанасьевич. Шагнув немного вперед, став перед Ириной Андреевной и этим заслонив и гроб, и незнакомку, он соболезновал:

– Хотя его нет в живых, но вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и на помощь нашего института. Авторитет Евгения Федоровича будет всегда нас обязывать к этому.

Ирина Андреевна легонько закивала головой и отодвинулась в сторону, чтобы успеть увидеть незнакомку у гроба. И успела.

Склонившись к покойному, незнакомка что-то зашептала – губы ее быстро зашевелились, – потом приподняла белый платок и три раза приложила губами к непокрытому, остывшему лбу Евгения Федоровича. От гроба уходила она, уже не тая своего роста, с горделивой выпрямленностью и непроницаемым лицом.

Она прошла совсем близко, и Ирина Андреевна успела хорошо разглядеть это молодое лицо: несколько продолговатое – узкие скулы, высокий лоб, – светло-зеленые, почти бесцветные глаза, выделявшиеся лишь темным очертанием вокруг райка да зрачком-агатиком в центре; небольшие, суховато-блеклые, в трещинках губы. Лицо ее было бы незапоминающимся, скучноватым, если бы не мелкие карие родинки, которые рассыпались и над верхней губой, и на висках, и на надбровьях, придавая ей непохожесть и какую-то выигрышность. Эти-то родинки и натолкнули Ирину Андреевну к опознанию незнакомки. "Она! Точно! В блокноте!" – осенило ее, когда мысленно сличи-



ла ту, которая только что прошла рядом, и ту, которую случайно видела на рисунке в блокноте мужа; вернее, это был даже не рисунок – набросок, где черты лица – незначительные штрихи, а родинки означены крохотными точками.

В блокнот этот Ирина Андреевна заглянула невольно, позавчера. В день скоропостижной смерти Евгения Федоровича ей пришлось забраться к нему в письменный стол, куда обычно никогда не стремилась, и в его записных книжках и блокнотах разыскивать адреса и телефоны дальних родственников, чтобы и их известить о постигшем семью Пустоваловых горе. В блокноте были и другие рисунки, эскизы: лодка у причала, плакучая ива над рекой, восход или закат солнца, – а также разные записи и заметки, касающиеся охоты. Сейчас Ирина Андреевна уже не сомневалась, что в случае с незнакомкой каким-то образом обязательно замешана мужнина охота. "Опять эта охота... Она вечно мне портила кровь", – подумала Ирина Андреевна, раздражаясь на мужа. Но потом, вспомнив и увидев, что с ним теперь, с ее мужем, суеверно и боязливо устыдила себя и тотчас же направила свое раздражение на незнакомку.

– Принесло ее. Откуда взялась? Как бельмо на глазу, – тихо и негодуя сказала Ксения, с презрительным интересом глядя на длинную удаляющуюся фигуру в берете. Ксения, очевидно, тоже заметила, что незнакомка по-особенному простилась с покойным.

– Готово все у нас, – сухо доложилась могильщик, что был помоложе, глядя на Ксению, угадывая главного распорядителя похорон в ней.

Дальше все происходило быстро, даже спешно; люди как будто уже умаялись от процедуры погребения и дождливой погоды и взглядами подталкивали могильщиков – торопили. Покойного отреза-

ли от живых крышкой, пригвоздили ее, и после этот саркофаг могильщики подхватили на широких ремнях и без видимой натуги поднесли к яме. Коротко перемолвившись о том, как лучше "заводить", чтоб не осыпать окраек, они подняли его над могилой. В этот момент, когда гроб завис на какую-то секундочку над ямой, Ирине Андреевне почему-то со страхом и удивлением подумалось: "Неужели он и в жизни был таким невысоким, ведь гроб такой короткий?.. А чуток спустя, гроб глухо ткнулся о дно могилы.

– Пожалуйста по три горсти земли, – вежливо подсказал могильщик со шрамом, и, плюнув в свои ладони, взял лопату на изготовку.

Ирина Андреевна подошла к куче свежей светло-желтой от песка земли, бросила три горсти на голубеющее материей дно могилы, рассчитанной точно для гроба, со всех краев впритык. Все остальные стали проделывать то же самое. Наблюдая сквозь набежавшие слезы, как люди подходят и сыпят в могилу землю, а потом ладошка об ладошку стряхивают налипшие к рукам песчинки, как нетерпеливые лопаты копальщиков начали обратную, облегченную работу, Ирина Андреевна удивлялась какой-то непостижимости человеческой жизни, которая рано или поздно обрывается и так обыденно, слишком запросто заваливается землей... Еще ее удивило то, что незнакомка у могилы не появилась. Она куда-то исчезла и не объявилась даже тогда, когда временная, зелено окрашенная металлическая пирамидка стала над могильной грядкой, и ее густо и пестро обьяли венки в лентах.

"Куда она запропала?" – думала Ирина Андреевна, вглядываясь во влажную проседь кладбищенской перспективы с голыми безлиственными деревьями, с перелетами и гарканьем ненасытных ворон.



Незнакомка отыскалась чуть позже, когда народ двинулся на выход с кладбища, к автобусам. Она стояла спиной к дорожке, прислонясь плечом к широкому бугристому стволу тополя без кроны, которую, видно, снесло молнией или ураганным ветром; рядом с ней – Нил Афанасьевич, поддерживая ее за локоть и что-то говоря.

"Ах, вот оно что! – какое-то легкое злорадство шевельнулось в душе Ирины Андреевны. – Он ведь тоже компаньон по охоте..." Вообще-то Нил Афанасьевич в охотниках никогда не числился, но иногда, смузыкиваемый Евгением Федоровичем, брал корзинку под грибы и отправлялся с ним побродить по лесу.

Дождь к этому времени усилился, каждая капелька словно бы вычленилась из общей сырой туманности, обрела весомость и силу; лужи гуще порябели от мелких колец; люди зашагали проворнее, поторапливаясь в теплые автобусы с комфортом мягких сидений; перед дверцами автобусов лопались и исчезали цветные шляпки женских зонтиков, мужчины выбрасывали окурки.

Скоро все устроилось, и можно бы ехать, если бы не Нил Афанасьевич и незнакомка. Их ждали в автобусе, где находилась Ирина Андреевна.

– Может, посигналить им? – спросила ее Ксения, сидевшая рядом.

– Не надо, – тихо отозвалась Ирина Андреевна, не повернув взгляда к тем, кто создал проволочку.

Наконец Нил Афанасьевич, пыхтя от пробежки, забрался на подножку автобуса.

– Она не едет, хочет остаться, – сообщил он, грузно поднимаясь в салон; толстые очки его быстро запотели. – У нее тут кто-то похоронен из родственников – собирается навестить. Говорит, обратно доберется с рейсовым... – Он снял очки и глядел на

Ирину Андреевну слеповатыми сощуренными виноватыми глазами.

Ирина Андреевна никак не среагировала, а Ксения недовольно вздохнула и сказала в сторону водителя:

– Поехали! Трогайте!

Украдкой Ирина Андреевна подсмотрела, что незнакомка возвращается назад, в глубь кладбища. "К нему", – сказала она себе и почувствовала, как лицо ее краснеет от ревности и неприятной догадки. Незнакомка не появилась у края могилы и не бросила в нее традиционные горсти земли, потому что побоялась – да! Побоялась – за себя, побоялась выдать свои чувства к покойному, – и ушла, скрылась, спасаясь на время от себя и от окружающих, которые для нее сплошь чужие; зато теперь она вернется и даст полную свободу своему сердцу, чтоб оплакать утрату, – так думала Ирина Андреевна, и ей не хотелось спорить с собой.

Когда кладбище размылось позади автобуса в сумеречном шелесте дождя и тягостность на душе не то что бы отлегла, а просто поменяла черный цвет скорби на серый цвет тоски; когда ехавшие заговорили на разные темы и немного оживились, Ксения, кашлянув в кулачок, негромко обратилась к профессору, сидящему рядом, впереди:

– Нил Афанасьевич, откройте же, наконец, тайну: кто эта особа в берете?

Профессор с готовностью обернулся, словно только и ждал вопроса, и дабы придать ситуации невинную простоту, сказал улыбаясь:

– Да разве вы не знаете той истории! Это та сельская учительница, которую Евгений Федорович спас от голодной смерти. – Теперь он добродушно усмехнулся. – Она в село еще по распределению попала, родом сама из города. Вздумала однажды в



лес по ягоды выбраться, без сопровождающих. В тех местах на болотах уйма клюквы, богатые ягодники. И как следовало ожидать, заблудилась. Темно на дворе, а о ней ни слуху ни духу. Соседка, на счастье, ее хватилась, она и подняла тревогу. К лесничему гонца послали, а у него как раз в ту пору Евгений Федорович останавливался. Вот он-то и вышел на несчастную. Сидит под деревом, дрожит, замерзла, умирать собралась... Да ведь это давно уже было. Неужели он не рассказывал? – Тут Нил Афанасьевич смутился: похоже, пожалел, что примкнул к повествованию две последние фразы.

В разговоре получился неловкий провал молчания. Ирина Андреевна отвернула голову к окну.

– Кто же ей сообщил о его смерти? – обрывая паузу, любопытствовала Ксения.

– Я, – отвечал Нил Афанасьевич. – Совершенно случайно. Вчера, знаете, увидел ее на площади возле института и подошел. Нельзя ей было не сказать...

"Врет, конечно же, врет, – подумала Ирина Андреевна. – Нигде он ее не встретил, а позвонил или послал телеграмму..."

Нил Афанасьевич отвернулся и сидел теперь как-то очень смиренно, даже пришибленно, как бы зная, что его раскусили, да и уши выдавали его ложь – были очень красны и очень заметны возле серебряной седины головы.

А историю со спасением заблудившейся учительницы Ирина Андреевна действительно услышала впервые: Евгений Федорович был крайне сдержан в рассказах, которые касались им любимого, но очень не любимого женой увлечения. "Так я и знала, что это каким-то образом связано с охотой, – подумала Ирина Андреевна. – Да ведь мне и Ксения намекала, что там не все чисто... Он Ксению и не любил больше всего за то, что она о чем-то догадыва-

лась..." – Ирине Андреевне вдруг пришло на память, как подруга, бывало, подковыристо спрашивала Евгения Федоровича: "Ну, как дичь, охотник?" – "Летает", – небрежно и угрюмо отвечал ей он.

Ксения ближе придвинулась к Ирине Андреевне, шепнула на ухо:

– Ну и пусть эта лыжа там остается. Чтобы за столом ее не видеть. Так спокойнее.

Ирина Андреевна не сразу сообразила, что подруга оскорбительно окрестила незнакомку лыжей. "Хм, лыжа..." – усмехнулась про себя Ирина Андреевна, вспоминая высокую худую прямизну учительской фигуры. Но вслух ничего не выразила, только слегка пожалала плечами.

По дороге к Ирине Андреевне никто больше не обращался, с ней не разговаривал, на нее, овдовевшую, печальную, лишь тайком поглядывали с жалостью – точно так же поглядывали и на ее детей, сестру и брата, – осиротевших, понуро-грустных, безмолвно посматривающих на скучную мокрядь октябрьского дня, плывущую за боком автобуса.

Поминки устраивались дома – не в столовой, не в кафе (покойник не любил общепита), – и дома не тесно.

Лишь только автобусы остановились против пустоваловского крыльца, Ирина Андреевна решительно направилась в дом, в кабинет покойного мужа, на ходу расстегивая пальто. Перед этим она наказала Ксении:

– Меня некоторое время не будет. Распорядись тут, как полагается. Я скоро.

Кабинет помещался в угловой светлой комнате с двумя окнами на разные стороны – юг и запад. Помимо двухтумбового письменного стола с канцелярской необходимостью и лампой под зеленым абажуром, высоких – под потолок – книжных шка-



фов и характерного для таких кабинетов кожаного дивана, здесь на треножнике находился мольберт, а подле на столике – карандаши, краски, в старой вазе букет из кисточек щетинкой кверху. Евгений Федорович смолоду учился рисованию, но за порогом юности дело это капитально забросил, и лишь в последние годы его опять потянуло на живопись. Проходя к письменному столу, Ирина Андреевна с нехорошим подозрением покосилась на все это художническое хозяйство.

Из ящика она вынула блокнот с рисунками и записями, нашла нужную страницу. Образ сельской спасенной учительницы угадывался несомненно. "Так и есть..." Но не только ради этого рисунка уединилась Ирина Андреевна в кабинете: интуиция подсказывала, что здесь можно откопать и другие сведения об особе в берете; Евгений Федорович умер в одночасье и, конечно, не успел уничтожить зафиксированные бумагой тайны.

При жизни мужа она никогда не позволяла себе копаться в его столе: зачем нарываться на скандал? Да у нее и не возникало желаний уличать его в каких-то грехах, но теперь, когда он умер и на его похоронах появилась чувствительная странноватая женщина, в Ирине Андреевне разыграл азартный интерес к возможным секретам покойного.

Ничего компрометирующего пока не попадалось, но в одном из ящичков, среди научных рефератов, Ирина Андреевна наткнулась на томик стихов любимого мужем Блока. Она взяла книгу, открыла, машинально прочла какую-то строфу, перевернула несколько страниц и вдруг... вдруг нашла то, чего искала!.. Письмо было без конверта и не все: лишь небольшая часть, уместившаяся на листочке почтовой бумаги. Глядя на ряды слов женского почерка, Ирина Андреевна вдруг очень разволновалась: го-

лова немного даже закружилась, грудь обдало шумом напуганного сердца.

Неожиданно дверь кабинета подалась, в комнату заглянула Лиза. Ирина Андреевна вздрогнула, сунула письмо обратно в стихи; от своего стыдливого, воровского положения стало жарко.

– Мама, там спрашивают... – заговорила Лиза, но Ирина Андреевна, преодолевая смятение, упредила вопрос дочери отговоркой:

– Лизочка, без меня. Пока все без меня! Мне нужно побыть одной. – Сказала торопливо, чуть раздраженно, делая отстраняющий жест руками.

Робкая, подавленная, слинявшая какая-то от слез и переживаний, Лиза понимающе кивнула головой и скрылась. Ирина Андреевна прислушалась, уловила затихающие в коридоре шаги дочери и отдаленные голоса из гостиной и, чтобы обезопасить себя, примкнула дверь защелкой. Теперь никто не сможет застать ее врасплох, увидеть, что она проникает, быть может, в святая святых покойного супруга; она даже шторы на окнах призадернула, чтобы не следил за ней из палисадника посаженный Евгением Федоровичем каштан.

"...и стала на календаре зачеркивать прожитые в разлуке дни, и бесконечно рада, что календарь чернеет, этих дней больше – значит, скоро наша новая встреча, я даже во сне продолжаю скучать по тебе. А вчера я ездила в район за пробирками для школы, проезжали мимо савеловского поля, и у меня сердце зашло от счастья. Когда же, милый мой, мы опять будем вместе: я, ты и наша любовь? – как тогда – помнишь? – в тот сумасшедший ливень, он застал нас посреди этого поля, и некуда было деться, мы спрятались в скирду соломы – помнишь? – я сидела у тебя на коленях, а дождь был так силен, что твоя накидка не держала воду, солома кололась, а мы, об-



нявшись, говорили с тобой о любви, только о любви, и тогда я была самой..."

Такой текст, написанный, видать, на одном дыхании, возбужденной рукой, забывающей разделять предложения, и горячо влюбленным сердцем, прочла Ирина Андреевна; начало и конец письма ей уже не требовались...

Опустив лист, Ирина Андреевна недоуменно огляделась и только сейчас поняла, что стоит среди комнаты и что нужно поскорее сесть, потому что ноги гудят от усталости, и вообще все тело покидают силы. Осторожно, не желая будить пружины, присела на краешек дивана. "Вот так", – убито, вполголоса произнесла она.

Теперь она испытывала уже двойную опустошенность, двойную потерю мужа. Но эти чувства не были последними и окончательными, которые испытала она за время пребывания здесь, в мужнином кабинете, сидя против пустого мольберта.

"А может быть, это и к лучшему, что я нашла письмо? – закралась Ирине Андреевне неожиданная мысль, и рискованная мысль эта не была окостенелой, а развивалась, стремясь к обобщениям: – Вот бы все мужья, умирая, оставляли бы письма своих любовниц. Вдовы были бы им благодарны: по покойнику меньше страдать..." – с холодком крамольности закончила Ирина Андреевна.

Почему-то сейчас ей стало жаль, что за поминальным столом не будет сельской учительки, ей захотелось видеть ее, даже поговорить.

Потом что-то изнутри подтолкнуло Ирину Андреевну перечитать то место письма, где незнакомка ("Да какая она незнакомка? – знакомка! почти родственница!" – подумала мимоходом Ирина Андреевна) писала о том, как они с ее мужем спасались от ливня.

"...сумасшедший ливень... посреди поля... в скирду соломы... сидела на коленях... накидка не держала воду... кололась солома... говорили о любви..." – выхватывала глазами с листа Ирина Андреевна и старалась представить то, о чем писалось. "Хм, она такая высокая – "лыжа", – вспомнилось ей словцо Ксении, – выше его ростом, а сидела у него на коленях, да еще на соломе и в дождь... Неудобно же... – подумала Ирина Андреевна и даже слегка поежилась, словно это над ней по измокшей накидке шлепает дождь и вокруг солома – колется, лезет под одежду. – А впрочем, все это очень занято... Сидеть в ливень посреди поля в скирде соломы на коленях у чужого мужа и говорить с ним о любви, только о любви". – Губы Ирины Андреевны тронула улыбка, но скоро чувствам было улыбки уже недостаточно.

Тем временем в гостиной все было готово, чтобы помянуть покойного, чей фотопортрет в черной рамке стоял в красном углу, и почти уже все расселись за столами, составленными в непонятную букву или несложный иероглиф; отсутствовала только вдова.

– Кирюша, сходи, позови маму, – тихо попросила Ксения. Кирилл прошел коридором, приблизился к отцовскому кабинету, тронул за ручку дверь. Дверь оказалась заперта. Он насторожился. И вдруг услышал за дверью чей-то смех, не очень громкий, но какой-то очень веселый, искренний и такой чужеродный в эти минуты для этого дома.

– Мам, мама! – испуганно позвал он и постучал в дверь. Через некоторое время из кабинета вышла Ирина Андреевна и, быстро взглянув на сына сухими серьезными глазами, направилась к поминальному столу, в центр, на вдовье место.

А Кирилл осторожно заглянул в кабинет, надеясь застать там кого-то еще, но там никого больше не было.



Легкий характер

Много раз доводилось мне в застольях становиться свидетелем раздраженной сцены, когда жены ограничивали в выпивке своих мужей. Или старались таковые урезки произвести. Жёны надували губки, кривились, фыркали, нервно взбрыкивались, заслоняя ладошкой мужнину рюмку, стопку, бокал, фужер или стакан, в которые стремилась горячительная струя из бутылки, твердя: "Хватит!", "И так уже лыко не вяжет!", "Завтра на работу!" Или небрежительно отмахивались от мужа: "Хоть зайлейся! Я тебя на себе не потащу!" Картина расхожая и грустноватая. Женщину тут осудить – грех: она в гости собиралась, наряжалась, душилась, бровки выщипывала, мечтала повеселиться, окруженная вниманием благоверного, а он...

Галочка, однако ж, вверх тормашками переворачивала все представления о женином неудовольствии по поводу крепкой накачки мужа за праздничным столом. "Лишь бы в радость! – присказкой выражалась она. – Слышь, Игореша! Лишь бы тебе в радость!"

Но начнем по порядку.

В тихий городок Стрижевск, затерянный среди сосновых лесов, я заехал попутно, возвращаясь из родных мест в Москву на машине, – попроводать университетского приятеля Николая. Случилось это в субботу, уже под вечер, когда весеннюю нагретость мартовского дня выстуживали ранние сумерки. Заявившись в дом друга без предупреждений, вечером в выходной, я нежданно-негаданно угодил на празднование дня рождения его жены Кати. Благо круг гостевой у них оказался невелик – всего лишь одна супружеская чета, – а у меня нашелся приличествующий событию сувенир. В застолье, таким

образом, я вписался без помех, даже чувствовал на себе избыток заботливого внимания.

– Столичные птицы в нашу глухомань залетают редко, – говорила та самая Галочка, которая со второй фразы легко, без нажима и без фамильярности перешла со мной на "ты". – Давай рассказывай нам московские штучки. Говорят, Пугачева и Киркоров собрались снова пожениться? Популярность-то падает...

Я пожимал плечами, говорил, что про жизнь эстрадной богемы знать ничего не знаю и что провинциальные обыватели чаще бывают просвещеннее столичных. И вольно-неволью разглядывал своих новых знакомых.

Галочка являла собой этакое мягкое доброе существо, белокурое, в мелких завитушках, с голубыми глазами, с круглыми щечками с ямочками, с толстенькими губками, – пышечка-пампушечка; веселая, с быстрой речью, в которой мерцали иногда уместные остроты; в сером бархатном платье, – явно дорогое – явно форс, отделанном норковым серебристым мехом; на руках несколько золотых хомутиков с камешками, на шее – золотая цепочка со знаком зодиака (не разглядывал – каким, гороскопам никогда не верил и считал их шарлатанством разных глоб...). Словом, против меня сидела миленькая во внешности, простодушная в общении и оттого привлекательная молодая особа. Заведующая местной сберкассой. Узнав о ее профессии, я даже порадовался: ну, самое место ей быть там: и на виду у людей, и при почете – все ж маленькая начальница.

– Игореша, закусывай! Покрепче закусывай! На сальце вон налегай. Под закусочку-то больше выпьешь, – смеясь подзуживала Галочка, после того как муж опрокидывал в рот следующую и очередную стопку водки. Он именно опрокидывал стоп-



ку – залпом, даже рывком, потом, тихо крякнув, не спеша, не суетливо обращался к закуске.

Игореша являл из себя мужика дюже осанистого, "гористого" – как гора; крупный, очень крупный с лица, с тяжелым подбородком и недовольным ртом (со спущенными уголками губ), и очень добрыми, какими-то детскими, зеленоватыми глазами; светловолосый, подстриженный, похоже, "под полубокс", с косою короткой челкой. Весу в нем было центнер с гаком, не менее (это я позже не умозрительно, а эмпирически прочувствовал); пил он на редкость смачно, увлеченно, всякий раз по полной.

"Недолитая стопка – что машина без колес, что баба без груди, что дом без крыши", – высказался он по сему поводу. Пожалуй, эта была самая длинная и оригинальная фраза, которую я услышал от него в застолье. Многословием он не грешил. А его упоминание о доме без крыши оказалось неспроста: он труженик-строитель, прораб: целый день то на холоде, на ветру, то на жаре, – можно и расслабиться в праздник-то. К тому же здоровьем, видать, не обижен – литр, а то и полтора "на грудь" под хорошую закуску примет. Да еще при таком-то либерализме женушки!

"Должно быть, во всем у них мир и благодать, если даже в выпивке такая гармония", – подумалось мне, когда я наблюдал за ними.

– Что ж ты не пьешь-то? – по-компанейски обращалась ко мне Галочка. – Ну и что, что за рулем. Выпил бы да переночевал. С Николаем вон сколько не виделись. А остановиться и у нас бы мог. Сынишку мы к бабушке на сегодня сплывили. Места у нас в доме хватит. Ты б на наш дом поглядел. Как Игореша развернулся!.. Прораб, он и дома прораб. Вон, с Николаем да Игорешей-то пропусти по стаканчику. За встречу, за Катю-именинницу..

К сожалению, выпивка и долгое гостевание у друга в мои замыслы не входили. Еще до полуночи я собирался одолеть километров сто пятьдесят пути, потом где-нибудь приткнуться, покемарить с часок в машине, и снова в дорогу: уже поутру я кровь из носу должен был быть в столице по срочным, вечным, проклятым делам. Дорога, к моей радости, оказалась вполне сносной – не разбитая и повсюду обсохшая. Мартовское солнце поднималось рано, светило ярко и уже сгоняло последнюю наледь с обочин. Ехалось поутру хорошо: трасса почти пустая.

Но это будет впереди, пока же наше застолье текло своим неизвилистым обыкновенным руслом. Тосты, анекдоты, бытийные истории, курица-гриль, самодельный, "обалденный" соус... Даже потанцевали немного. Не без того. Я потоптался на пятачке перед праздничным столом сперва с именинницей Катей, потом – с Галочкой. Невольно трогая в танце Галочку за мягкие плечи, талию, невольно "натыкаясь" на ее пышную грудь, я с некоторой вульгарщиной думал: "Экая сдобная булочка!" И с приятностью наблюдал, как движутся ее толстенькие губки, как открыто, простодушно смотрят на всех ее голубые глаза, – на какую-то минутку у меня даже пробудилась зависть к Игореше.

– Зря ты сегодня едешь. Ехать в ночь – только приключений себе искать. Выпей да оставайся, – говорила Галочка.

– Боюсь, – пококетничал я. – Останусь – еще чего доброго в тебя влюблюсь. Опасно.

Галочка весело рассмеялась и легонько ущипнула меня за бок.

Наконец мы с Николаем выбрали время: уединились в кухне. Под табачный дым вошли ненадолго в светлую реку студенческих воспоминаний, в которой



купаться бы да купаться! Но... После задымленной кухни я объявил честной компании, что уезжаю.

Мои слова об отъезде были приняты в штыки. Достаточно огрузлый от выпитого Игореша, который уже почти не произносил слов, а только жестикулировал, вдруг захотел со мной выпить, указывал толстыми волосатыми руками на бутылку с водкой, мол, надо разлить... хотя многократно слышал, что я нынче не пью. Галочка тоже высказала свое неодобрение: "Ну понятно, не пьешь. Нельзя. Хоть так посиди. Да лучше бы заночевал, на свежую голову в дорогу..." А Катя неуступно и хозяйски заявила: "Пока пирога с чаем не отпробуешь, не отпущу! Сама пекла, полдня у плиты стояла, а ты поехал!"

Мы опять оказались за столом вокруг слоистого аппетитно усыпанного вишенками пирога. Игореша "под пирог" почти одну за одной пропустил пару стопок. "Н-да..." – почесал я у себя в затылке, глядя на его толстую красную шею, и вспомнил армейскую байку. Рассказал обществу:

– В полк неожиданно рано утром приезжает важный проверяющий, реальным прототипом этого проверяющего, говорят, был маршал Батицкий, мужик по комплекции вроде Игореша. Выстраивает офицеров на плацу и диву дается. Офицеры все помятые, движутся как сонные мухи, лица опухшие, глаза с похмелья красные. "Да вы что, товарищи офицеры! – возмущился проверяющий. – Разве так можно? Выпил грамм восемьсот – и остановись!"

Все рассмеялись. Игореша тоже растянул в улыбке рот. По моим прикидкам, Игореша уже приговорил литр.

– Домой-то доберетесь? – тихо, по секрету, спросил я Галочку, указав на ее мужа.

– Не впервой! – беспечно усмехнулась она.

Вот и пирог с чаем был с благодарностью к хозяйке откушан, я опять засобирился в дорогу. Впрочем, все наше застолье распадалось. Галочка и Игореша тоже пошли в прихожую собираться восвояси.

– Может, подбросишь нас? Тут недалеко. Тебе как раз по дороге. Мы б и сами дошли, да тропки сегодня скользкие, – обратилась ко мне Галочка.

– Какой разговор! – безусловно согласился я.

Игорешу пошатывало, даже очень прилично пошатывало, но коленей он не гнул, держался набыченно, угрюмо, водил по сторонам простодушными, но остекленевшими глазами. А говорил уж совсем плохо, неразборчиво. В основном мычал, округлял глаза и водил руками, что-то изображая или о чем-то прося. Галочка на него не только не сердилась, но и с полуслова, с полужеста, с полумычания угадывала его озабоченность и откликнулась на нее. Стоило ему чуть приподнять ногу, и Галочка тут же улавливала: мужу надо обуваться; стоило ему мотнуть, как быку, большой угрюмой головой, и Галочка тут же понимала, что мужу потребовалась шапка. Кстати, Игорешу обула сама Галочка и завязала ему шнурки на ботинках. При этом она ничуть не стыдилась перед нами своей бабьей услужливости. "Истинно, легкий характер! – думалось мне, когда я наблюдал, как она, присев на корточки, зашнуровывает ему ботинки. – Другая бы стала ли при народе-то!.. Это и к лучшему, что я им подвернулся. Подброшу до дому, а то где-нибудь этот кабан свалится – мучайся, несчастная женщина".

Уже собранный, в застегнутом Галочкой пальто, в надетой Галочкой шапке, перед самым уходом, Игореша еще запросил водки. Он сделал это безголово: большим и указательным пальцем "отмерил", что нужно еще столько... И даже тут Галочка не стала усмирять мужа, а, напротив, живо откликнулась на жест:



– Посошок хочешь повторить?
– Конечно-конечно! Даже обязательно повторить! – подхватили хозяйева.

С подмогой Галочки, но на своих ногах Игореша добрался до моей машины во дворе дома и был помещен на заднее сиденье. Я завел двигатель для прогрева, включил в салоне "на полную" печку и выбрался из машины, чтобы постоять с друзьями "на дорожку".

Уже наступила ночь. Красивая, звездная, мартовская ночь с хрупким воздухом: где-то хрустнет тонкий ледок, где-то в тишине разнесется скрип карниза под тяжестью сосулек, обледенелая ветка тихо ударит такую же обледенелую сестру. Всё прихватило морозцем. Я любовался звездным небом, желтыми, скромными и теплыми окнами провинциального Стрижевска, затерянного в высоких сосновых лесах, глубоко вдыхал чудный здешний воздух. На душе было легко: таки заехал к другу, а то все дела, дела, дела, а жизнь-то – штука конечная. Мы обнялись с Николаем на прощание, Катя чмокнула меня в щеку, напутствовала, чтоб их не забывал.

Когда мы с Галочкой сели в машину: я – за руль, она – рядом, – услышали храпоток Игореша.

– Эх ты! – воскликнула Галочка с некоторой досадой. – Разморило его, уснул. Обычно он до дивана дотягивает... Ну ничего, растолкаем. На утро Игореша самогоночкой восстановится. Свекор прекрасную гонит... Поехали!

Игореша с полуоткрытым ртом похрапывал, свалив свою большую голову на край спинки сиденья.

Езды оказалось – рукой подать, метров пятьсот, не больше: городок Стрижевск компактен. Игореша и Галочка жили в аккуратном, из красного кирпича, одноэтажном доме с мезонином. Крыльцо под

коньковой крышей с резной отделкой, калитка из витого металла. В пристройке – гараж. Словом, небольшой современный особнячок. Игореша, видать, по трезвости был мастеровит. Подъехать, однако, к калитке не удалось. От дороги до калитки пролегла лишь узенькая тропинка, по краям которой лежали внушительные сугробы; фонарь на уличном столбе красиво подсвечивал мерцающий иней наста на этих сугробах. Подъезд к гаражу тоже не был рассчитан. Галочка объяснила, что "по зимам" Игореша на своей машине не ездит: "особо-то и некуда".

Игореша на заднем сиденье сонно замычал и заскрежетал зубами.

– Ничего, растрясем! – оптимистка Галочка вышла из машины, открыла заднюю дверцу, к Игореше.

Я тоже вышел.

– Ничего, растрясем! – весело повторила Галочка и принялась...

Я только ушами хлопал.

– Игореша! Маленький! Подымайся! Ну давай, давай, иди к мамочке! Сюда... Правильно, сюда. Вот, хорошо! Умница... Ручки свои давай сюда. Сюда ручки. Обхвати мамочку за шейку... Ну, молодец, Игореша. Ножку ставь сюда, вот так, а эту ножку... Ручками, ручками, держись, Игореша, за мамочку!..

Игореша и впрямь слегка "отутовел" – выражаясь на местном диалекте: он еще как бы не проснулся, но уже и не спал. По его лицу блуждала тупая блаженная пьяная улыбка – вероятно, это был отклик на зов "мамочки". Но глаз он не открывал. В какие-то моменты казалось, что он напрягает веки и глаза вот-вот и откроются, но увы – сил, видать, не хватало: он двигался на автопилоте, вслепую, на голос авиадиспетчера.



– Так-так, Игореша! Ножку – сюда, а вторую – сюда... Теперь – сюда. Тю-тю-тю... Ручки! Главное – ручками держись за мамочку!

Галочка двигалась по тропке задом, Игореша в полусне, в полуяви – за ней, передом, положи ей руки на плечи, почти не поднимая ног, шаркая подошвами; а сзади, поддерживая Игорешу за толстые бока, мелкими шажками двигался я. Этаким топ-топом, этаким паровозиком с малыми оборотами мы и добирались по узкой тропинке к дому. И верно бы, все сладилось, кончилось бы благополучно под бодрящие выкрики Галочки: "Ручки, ножку, мамочке!" – если бы не весна. Тропка к ночи оледенела, и наш Игореша в какой-то момент заскользил ботинком по глади, потерял равновесие, пошатнулся, повел весь состав вбок. Уцепясь своими огромными ручищами в ворот пальто Галочки, стараясь хоть как-то спасти вертикаль, Игореша ее первой уронил в сугроб. Потом стал заваливаться набок сам. Я обхватил его, как огромный мешок с картошкой, и попытался удержать, да разве такую тушу в период наклона и падения удержишь! Да и все произошло в какие-то секунды: все спасительные движения были машинальны и безнадежны. Следом за Игорешей ухнул в сугроб и я. "Этого быка только башенный кран удержит!" – по-строительски промелькнуло у меня в мозгах, когда я летел обочь тропки, отворотя в сторону нос, чтобы не ободрать об наст.

Обтирая лицо от снега, отплевываясь, все-таки и лицо искупал, я первым выбрался из сугроба и мысленно обругал, даже всячески искостерил Галочку; меня разбирала обида: я-то за что страдаю! "Ну и дура! Какая же все-таки провинциальная дура! Дала так накачаться своему кабану, а теперь возись с ним!"

Вдруг из сугроба я услышал смех. Беспечнейший смех Галочки! Злость просто вскипела во мне. Бестолочь! Клуша! Ладно бы пьяной была. А то ведь нет. Трезва! За весь вечер в гостях рюмок пять рябины на коньяке выпила: для такой-то пышечки – мизер. Вот характер!

Я стоял на тропке, отряхивал себя от снега, а они лежали в сугробе. Игореша что-то мычал, так и не открывая глаз. А Галочка, барахтаясь в снегу, сквозь смех комментировала:

– Что, Игореша, упали? Как мы все втроем-то! Хорошо, хорошо полетели!

Вскоре опять продолжилось "перемещение пьяного тела". И опять "ручки, ножки, шейка мамочки". Наконец-то – калитка, крыльцо, прихожая.

– Давай, Игореша, будем раздеваться... Вот так. Один ботиночек сняли. Теперь – другой, – щebetала Галочка, разувая и раздевая мужа. – Нет, Игореша, сегодня ты пьяненький, так что пошли не в спальню, а на диван. В зал пошли, маленький...

Галочка увела мужа в зал. Через приоткрытую дверь я видел, как она бережно укладывает его на диван, укрывает широким клетчатый пледом.

В прихожей было очень уютно, чисто, прибрано, нигде ничего не валяется, вся обувь на полках, вся одежда в шкафах; за исключением одежды и обуви, только что снятой с Игореши; освещение – лампа в зеленом абажурчике с рюшами, на стене – огромное, в багетовой раме зеркало. В эту минуту, когда я, немного упревший, стоял в прихожей и дожидался Галочку, чтобы проститься, мне даже стало жаль эту Галочку. За всем этим уютом, за всей этой чистотой стоит бабья хлопотливость и труд. С другой стороны, меня подмывало желание сказать Галочке при расставании что-нибудь колкое, язвительное: побереги здоровье-то мужа, вон у вас какое хозяйство.



В зале погас свет, Галочка вышла в прихожую, притворила за собой дверь. Но и сквозь закрытую дверь был слышен нарастающий разомлелый храп хозяина, объятого родным домашним теплом. Я стоял в расстегнутой куртке, мял в руках шапку и чувствовал себя как-то неловко: все же во мне было больше жалости к Галочке, чем обиды за ее сегодняшние страдания...

Галочка остановилась против зеркала, громко выдохнула: по-видимому, умаялась. Затем она встряхнула головой, своими мелкими светлыми завитушками, будто бы освежила себя и поправила прическу. Затем отшагнула от зеркала и негромко выкрикнула:

– Ура! До утра он будет спать как убитый!

Галочка повернулась ко мне, на ее раздурманенном лице появилась загадочная улыбка, голубые глазенки лукаво прищурились. Она взяла обеими руками концы моего шарфа, который висел у меня на шее, и потянула к себе.

– Да не бойся ты. Я же знаю: до утра он будет спать как убитый.

Я смотрел через плечо Галочки, которая прижалась ко мне пышной грудью, на огромные ботинки размера примерно сорок седьмого. Ботинки косолапо стояли, соединясь тупыми носами, с которых стекали капли растаявшего снега.

Мне почудилось, что поутру Галочка, похмеляя Игорешу первачом, скажет ему с веселостью: "А какие мы тебе рога-то наставили, Игореша! Ого-го какие! Ты теперь у нас просто олень!" – И на закуску поднесет прямо к губам мужа соленый огурчик.

Глиняный калейдоскоп

(фрагмент из романа
"Враждебный портной")

1

Мамедкули – так назывался город в Западном Туркестане (в советские годы Туркменской ССР) вблизи границы с Ираном, где в детские годы проводил лето Каргин. В этом забытом Богом (и не только) месте среди песчаных барханов и глинобитных, разделяющих домовладения, дувалов жил дед Каргина Порфирий Диевич. В глинобитные стены вместе с битым кирпичом зачем-то вмазывались большие, быть может, ещё дореволюционного или НЭПовского времени длинношеие зелёные бутылки. Они посверкивали в стенах, как в глиняных калейдоскопах, а если глина выветривалась, и открывалось горлышко бутылки – свистели и выли, глотая ветер, как злые джинны из восточных сказок.

С одной стороны город подпирал раскалённый песок пустыни. С другой – расплавленный горизонт над мелководьем Каспийского моря. Солнце разъ-



**ЮРИЙ
КОЗЛОВ**

Проза





ярённым верблюдом топтало город ногами, как истёртый до белой земли ковёр, выбивая из него пыль и отгоняя от берега воду. Летнее солнце в Мамедкули было таким ярким, что когда Каргин чиркал спичкой о коробок, он не видел зародившегося огонька. Пламя бесследно растворялось в солнце, как капля дождя в бронзовом безрыбном море. Рыболовецкая артель полоскала в воде пустые сети. В те годы Каспийское море стремительно мелело, а Аральское, напротив, сидело в воде по самые песчаные уши. Это потом Каспийское начало стремительно подниматься, подтапливать берега, а Аральское высохло до дна, унеслось в атмосферу соляным смерчем, но к тому времени Каргин отделился от Средней Азии, а сама Средняя Азия – от СССР.

Одноэтажный белый дом Порфирия Диевича стоял на улице Пушкина. В Мамедкули, как и в других среднеазиатских городах той поры, уважали классиков русской литературы. Каргин точно помнил, что в Мамедкули были улицы: Лермонтова, Толстого, Гоголя и Горького. Можно было с уверенностью предположить, что великие писатели, включая Пушкина, никогда здесь не были и вряд ли вообще знали о существовании Мамедкули. Однако советская власть полагала, что жители Мамедкули должны знать о русских классиках, так же, как и о великих революционерах – Марксе, Энгельсе, Либкнехте (эту фамилию местные жители выговаривали с трудом) и Розе Люксембург, не говоря о Ленине, Дзержинском, Свердлове и добром с козлиной бородой дедушке Калининe. Вероятно, в этом заключалась простая, как жизнь, логика: советская власть несла в степи и пустыни, солончаки и барханы, горы и сопки русскую культуру, умноженную на революционную энергию представителей других национальностей.

В итоге получилось то, что спустя годы назовут «Великим советским проектом». И окраины (до поры) не возражали против этого проекта. Русские учителя, инженеры, офицеры, врачи, агрономы, астрономы, железнодорожники и телеграфисты вносили в повседневную среднеазиатскую жизнь устойчивость и перспективу. Что же касается идеологических и карательных излишеств, сопровождавших проект, то чем-чем, а жестокостью и презрением к здравому смыслу среднеазиатские народы было не удивить. Тем более что терпели не зря. На реках поднимались каскады гидроэлектростанций. На степных просторах, где прежде паслись верблюды, возникали космодромы. Если бы СССР просуществовал чуть дольше, Средняя Азия дождалась бы поворота сибирских рек. Они бы до сих пор исправно орошали её поля и, возможно, снова бы наполнили Аральское море. Но не случилось. Россия осталась с водой, а Средняя Азия – с солнцем.

Выбеленный известью на манер украинской хаты дом Порфирия Диевича состоял из трёх больших комнат. Одна – гостиная – смотрела окнами на улицу, где росли тополя и вяло струился мутный арык. Другая – в огороженный глиняными дувалами внутренний сад. Большую часть садового пространства занимал одичавший виноградник, исправно дававший гроздьё кисловатых ягод, но главным образом необходимую в летнюю жару тень. Росли в саду и плодовые деревья: огромный – в три обхвата – урюк, так его здесь называли, персики, груши и яблони. Проходная комната – между застеклённой, обращённой окнами во двор террасой и гостиной – была тёмная, без окон. Имелся ещё узкий, длинный, как пенал, кабинет с отдельной дверью на улицу, непобедимо пропахший тошнотворным запахом АСД.



Этим жидким чёрно-коричневым лекарством дед лечил не только кожные, но, вероятно, и другие заболевания. Запах АСД порождал некоторые сомнения в божественном происхождении человека, если его можно было спасти с помощью подобного средства. Чудодейственную силу загадочного состава, тем не менее, Каргин неоднократно ощущал на себе. Ссадины после соприкосновения с АСД заживали мгновенно, фурункулы (в ранней стадии) засыхали, а в поздней – немедленно прорывались. Даже такую неприятную вещь, как панариций на среднем пальце левой руки Димы, дед излечил без хирургического вмешательства тампонами, пропитанными АСД. Каргин ходил с ними несколько дней. Ночью он не мог заснуть и, глядя на коричневый цилиндр обмотанного бинтами пальца, малодушно думал: чёрт с ним, с пальцем, только бы не нюхать эту вонь!

В начале семидесятых Порфирий Диевич (у него был дар предвидения) без спешки перебрался из Мамедкули в Подмосковье. АСД давно сняли с производства. Но он где-то его добывал. Дух АСД, хоть и не так победительно, как в кабинете в Мамедкули, витал на даче в Расторгуеве.

Жена деда – бабушка Каргина – училась с Порфирием Диевичем в астраханском медицинском институте, а потом уехала вместе с ним по распределению в Мамедкули, где (видимо, конкуренция отсутствовала) стала главным санитарным врачом района. Она умерла в сорок четвёртом году, заразившись холерой на пограничном санитарном кордоне. Порфирий Диевич уже два года как был на войне – главврачом одного из армейских госпиталей Третьего украинского фронта. Советские войска штурмовали предгорья Карпат. Немцы и венгры отчаянно сопротивлялись. Раненые шли

потоком. Ему бы никто не позволил оставить госпиталь. Жену похоронили без него. Двоюродная сестра Порфирия Диевича забрала дочь (Ираиде Порфирьевне было в ту пору двенадцать лет) к себе в Астрахань. Порфирий Диевич вернулся в Мамедкули в сорок шестом году из Австрии, где стояла его часть.

Каргин видел бабушку только на фотографиях. У неё были тонкие руки и красивое, явно не советское лицо с невыразимой печалью в светлых, почти прозрачных, глазах. В них как будто светился бездонный провал, куда канула прежняя Россия. В те годы на фотографиях и плакатах преобладали другие лица – размашистые, как шаги пятилеток, простые, как букварь, крепкие, как сжатые на страх врагам кулаки. Ей бы, смотрел на фотографию Каргин, гулять в белом платье по парку, скользить в кабриолете по бульвару, принимать букеты от поклонников, а она... умерла от холеры – в антисанитарии, в пустыне, среди песка, верблюдов, колючек, иссечённых солнцем людей в халатах и тюбетейках, привыкших к нищете и смерти. Видимо, и в этом, как понял позже Каргин, проявлялась необоримая сила имперской русской советской идеи.

Ему хотелось отделить в этой идее русское от советского, но не получалось. Напротив, получался какой-то зеркальный парадокс: имперская советская идея была крепка и непобедима, пока была (пусть даже по умолчанию) русской, и – рассыпалась в прах, как только перестала быть русской; имперская русская идея была крепка и непобедима, пока была советской, и – рассыпалась в прах, как только перестала быть советской. Без имперской идеи русские перестали быть не только советскими, но и русскими, то есть стали никакими.



Каргин не желал смотреться в это зеркало. В так называемой перестройке, разгроме ГКЧП, распаде СССР он, как и большинство советских граждан, увидел попытку разбить опостылевшее зеркало, с мазохистским удовольствием следил, как летели в него камни.

Зеркало разбили.

Осколки растащили.

Смотреться стало не во что.

Перестав быть советской и не став русской, Россия сделалась такой, какой только и могла сделаться страна с никаким народом, а именно – первобытно-рыночной. Каргин довольно быстро понял суть первобытно-рыночного уклада жизни. Он не был предназначен для решения насущных проблем страны, народа, общества. Поэтому он не нуждался в стране, народе, обществе как в совокупности людей, осознающих свои интересы. Напротив, был им люто (неприлично для просвещённого двадцать первого века) враждебен. Зато первобытно-рыночный уклад легко решал любые проблемы отдельно взятого (никакого) человека при наличии у того необходимых для этого денег. Но эти проблемы не имели никакого отношения к тому, что всё ещё по привычке называлось страной, народом, обществом, и решались практически всегда им во вред и исключительно за их счёт. России как страны, русских как народа на территории в одну восьмую части суши уже не было. Как не было на ней и способного не то чтобы отстаивать, но просто осознавать собственные жизненные интересы общества. Бесхозное (выморочное?) имущество – таков был неназываемый статус территории. Безотнositельно к тому, что говорили с трибун и на пресс-конференциях о великой России фантомные прави-

тели – те самые отдельно взятые, давно решившие все свои проблемы за её счёт, никакие люди. Теоретически территорию ещё можно было спасти, залив разлагающуюся поверхность революционным раствором АСД. Но кому захочется, даже ради грядущего выздоровления, жить в этой вони – рубить, засушив по-петровски рукава, головы жуликам и ворам, восстанавливать дороги и линии электропередачи, заново зажигать лампочки Ильича, корчевать и засеять заброшенные поля, запускать развалившиеся проржавевшие заводы?

Хотя (опять же, теоретически) такие люди в стране ещё были. Каргин и прежде задумывался, почему те, кто громче всех кричали о свободе, демократии и гласности, ходили на митинги с транспарантами «Долой КПСС!», не пропускали трансляций со съездов народных депутатов, тряслись от ненависти к коммунякам, остались в новой жизни в подавляющем большинстве у разбитого корыта и с голой задницей? Те же, кому с самого начала не нравились Горбачёв и Ельцин, кто до последнего носил в карманах партбилеты и не осчастливил своим присутствием ни одного демократического собрания, довольно быстро оказались в новой жизни при делах. Даже во времена Гайдара и Чубайса, когда имущество страны ставилось на поток. Перемены легки, как воздух, думал Каргин. Жизнь тяжела, как мать – сыра земля. Первые были на стороне перемен, вторые – жизни. Ветер легко унёс одних, но не смог оторвать от земли других. Облегчённый разум носится над землёй, как пыль; разум тяжёлый стоит, как врытый в землю (в истину) столб. Пусть даже земля (истина) горька и ничего не родит. Есть, есть люди, думал он, не до конца отравленные первобытно-рыночными отношениями. Среди никаких редко, но встречаются какие. Пусть



у него особняк в Ницце, квартира в Майами, пять «мерседесов» в гараже, но он ещё не окончательно потерян для... нашего дела. Мы ещё понюхаем АСД!

Жена Порфирия Диевича не успела превратиться в бабушку, сошла с корабля, плывущего к морщинистому, каменистому (в почках и желчном пузыре) берегу старости. Дед доплыл до этого берега и надолго там застрял в одиночестве.

В относительном. Хороший врач, в особенности, кожник-венеролог, никогда не бывает одиноким.

Сейчас Каргин плохо помнил женщин, появлявшихся в белом одноэтажном доме на улице Пушкина. В пропахший АСД кабинет к деду, как в Мамедкули, так и позже в подмосковном Расторгуеве, где его одиночество скрашивала старая такса по имени Груша, приходило множество людей, объединённых общим определением «больные». Одни женщины, вероятно, относились к этой категории, другие – помогали Порфирию Диевичу по хозяйству. «Должен же кто-то за тобой смотреть, когда я на работе?» – отвечал тот, когда маленький Дима проявлял излишнее любопытство. Дед, хоть и жил один, монахом не был.

Но одну женщину Каргин запомнил хорошо. Это было в день, когда он впервые услышал голос вещей.

2

Ираида Порфирьевна родила Каргина через полгода после свадьбы с будущей звездой «Ленфильма» Иваном Коробкиным. Они оба учились (на разных, правда, факультетах и курсах) в Ленинградском институте культуры, оба были иногородними

и без крыши над головой. У Каргина не было иллюзий относительно своего появления на свет. Оно было вынужденным. Молодые жили в общежитии и наверняка испытывали трудности с пригодными для близости местами. Они ловили момент, то есть близость у них была ситуационной. О каком-либо системном предохранении, стало быть, речи не было. Аборты в сталинские годы категорически не приветствовались. Институты культуры, как и текстильные производства, считались в СССР питомниками невест. Парни в институте культуры были наперечёт. Ираида Порфирьевна решила не искать добра от добра. Иван Коробкин был институтским комсоргом и кандидатом в члены КПСС. Деваться ему было некуда, кроме как, стиснув зубы, в ЗАГС.

Так появился на свет Дий (Дима) Каргин.

После окончания института Ираида Порфирьевна с мужем снимали в Ленинграде комнату. Вопящий по ночам ребёнок осложнял им жизнь, беспокоил соседей. Сначала маленького Дия (Диму) переправили в Псков к родителям Коробкина, а когда он подрос и окреп, Ираида Порфирьевна договорилась с отцом, что тот наймёт в Мамедкули няню и возьмёт Диму к себе, пока они с мужем не обзаведутся жильём в Ленинграде. Иван Коробкин уже снимал на «Ленфильме» сюжеты о донорах, занимающих с утра очередь в пункты сдачи крови, о народных дружинниках с красными повязками на рукавах, усмиряющих бесчинствующих стилиг и пьяниц, о пожарниках в брезентовых робах и медных касках, готовых мгновенно потушить любой пожар. Некоторые из его сюжетов попадали в киножурналы «Новости дня» – их к большому неудовольствию зрителей в принудительном порядке показывали в кинотеатрах перед началом фильмов. «Ленфильм», однако, не спешил предоставлять мо-



лодому семейному режиссёру, члену КПСС, отдельную квартиру. Жилищные дела во все времена сопровождались интригами.

Диме было шесть лет, когда Ираида Порфирьевна снарядила его в долгий путь к деду. Из Ленинграда прямых рейсов в Мамедкули не было. Ирина Порфирьевна довезла Диму до Москвы, а там поручила своему бывшему сокурснику по фамилии Посвинтер. Этот Посвинтер, как узнал потом Каргин, работал в издательском отделе зоологического музея и страдал то ли экземой, то ли псориазом. Ираида Порфирьевна сумела его убедить, что помочь ему может только её отец – главврач мамедкулийского кожвендиспансера – высочайший квалификации специалист, исцеливший от неприятных болезней во время войны многих прославленных военачальников. Так что экзема Посвинтера для него – тьфу! Там всё время дует сухой горячий ветер с песочком, объяснила Ираида Порфирьевна, он любые кожные болезни счищает, как шкурка. Твоя кожа станет гладкой и розовой, как... да вот у моего Дийчика, экзема ведь не заразная болезнь? Про чудодейственные свойства АСД она, чтобы не спугнуть Посвинтера, естественно, умолчала.

Порфирий Диевич к этому времени уже два года как вышел из тюрьмы по амнистии и был фактически (если ему доверили возглавить такое важное учреждение, как районный кожвендиспансер) реабилитирован. Он сидел по статье за мошенничество, но Ираида Порфирьевна убедила нервно почёсывающегося Посвинтера, что её отец – жертва культа личности, угодившая в лагерь по так называемому «делу врачей».

Каргин на всю жизнь запомнил перелёт с Посвинтером через горный хребет Копет-Даг.

Из Ашхабада летели на маленьком двухмоторном «ИЛ-14». Горы тянули вверх острые коричневые лезвия с белыми вкраплениями снега, словно хотели насадить на себя самолёт, как стрекозу. У Посвинтера были выпуклые бараньи глаза и чёрные щетинистые щёки. Во время полёта они всё время пили лимонад, который приносила стюардесса на подносе в тёмных пластмассовых чашечках. Посвинтер мгновенно выпивал одну чашечку и тут же, улыбаясь, брал другую, как бы вовлекая стюардессу в некую игру. Но той, как определил имеющий опыт общения с воспитательницами в детском саду Дима, игра не нравилась. Стюардесса смотрела на Посвинтера с брезгливой жалостью, абсолютно не разделяя его веселья.

А вот Дима не испытывал никаких сложностей в общении с Посвинтером.

Не то, что с псковским дедом Костей, служившим железнодорожником на вокзале. Он был длинный, худой, как рельс, и ходил в чёрном кителе с железными пуговицами. Придя вечером с работы, дед Костя садился за стол и долго молча смотрел на Диму, пьющего молоко или скребущего ложкой с тарелки кашу. Потом вдруг громко произносил: «Га!», так что у Димы ложка выпрыгивала из рук. «Зачем ребёнок пугаешь, дурак?» – спрашивала бабушка. «Он должен знать, как гудит паровоз», – отвечал дед Костя. «Зачем ему это знать?» – удивлялась бабушка. «Потому что так Бог-машинист разговаривает со своими чумазыми ангелами», – объяснял дед Костя и уходил из кухни.

Спустя годы отец расскажет Каргину, что дед Костя – сын священника, сгинувшего на Соловках в конце двадцатых. Комсомолец и активист комбеда, он едва не загремел из рядов как поповский сын и кулацкий подголосок. Но кто-то из старших това-



рищей, присутствовавших на собрании, вспомнил слова Сталина, что сын за отца не отвечает. Деду Косте вкатили выговор и определили на курсы воинствующих безбожников. По окончании курсов он ездил по деревням с лекциями, обходил с комсомольцами-богоборцами дома колхозников на предмет изъятия икон, лампад и прочих предметов религиозного культа, распространял атеистическую литературу, проверял, не носят ли школьники нательные крестики.

Дед Костя умер в середине восьмидесятых, долго пережив жену (бабушку Каргина по отцовской линии). Ираида Порфирьевна и Иван Коробкин к этому времени давно расстались. Отец находился по кинематографическим делам в Москве. Он позвонил Каргину и попросил отвезти его на машине в Псков. Они провели куцую панихиду в ритуальном зале морга железнодорожной больницы, похоронили деда Костю рядом с бабушкой. После поминок с дальними родственниками, которых Каргин не знал, они с отцом разбирали в крохотной квартире дедовы вещи. Их было на удивление мало, и все они имели исключительно практическое назначение. Ничего лишнего, только то, без чего невозможно обходиться. Атеист дед Костя жил в евангельской простоте. Отец решил забрать на память только ордена и толстую исписанную тетрадь в чёрном окостеневшем коленкоре.

На обратном пути из Пскова в Москву они остановились переночевать в гостинице в городе Оленино. Спать было рано. После ужина Каргин из любопытства полистал тетрадь. «Год 1930. Бога нет!» – было написано крупными буквами на первой странице. Как понял Каргин, это были тезисы лекций, которые читал в сельских клубах и красных уголках дед Костя. «В Библии указывается, что

на Ноевом ковчеге, – выводил он перьевой ручкой графически-чётким, как рельсы и шпалы, почерком, – было всякой твари по паре. В мире, – продолжал дед Костя, – насчитывается около двух миллиардов видов живых существ. Так каких же размеров должен быть ковчег, чтобы все эти «парные твари» могли в нём разместиться? По самым приблизительным расчётам он никак не мог быть менее семи километров в длину! Кому было по силам соорудить такой корабль в библейские времена?» Но более всего Каргина удивила приписка к классическому антирелигиозному тезису, сделанная богоборцем-железнодорожником в относительно недавние (гелевой ручкой) времена нетвёрдой (рельсы и шпалы – вкривь и вкось) рукой: «Только Богу».

Каргин показал запись отцу, расположившемуся с прихваченными из буфета холодными беляшами и недопитой бутылкой водки за журнальным столиком у телевизора. «Грешно так говорить, – вздохнул отец, – но он... вовремя умер. Его уже собирались перевести из неврологии в психиатрию. Знаешь, что главврач рассказал? Он написал заявление в райком, что выходит из КПСС, а все уплаченные им членские взносы просит перечислить на... строительство православного храма. Беда... – покачал головой, налил в стакан водки. – Неужели и я, если, конечно, доживу до его лет, что маловероятно, – самокритично уточнил отец, – сойду с ума?»

С Посвинтером, в отличие от богоборца деда Кости, Каргин был, что называется, на одной волне. Возможно, Посвинтер был прекрасным педагогом, умеющим найти подход к ребёнку. Или же, что более вероятно, он был не то чтобы умственно отсталым (иначе как бы он служил в зоологическом музее, или... только такому там и служить?), но че-



ловеком со странностями, так сказать, особенным, сохранившим детское восприятие мира, человеком. Ираида Порфирьевна рассчитала точно. Кто-то другой вряд ли бы согласился лететь неизвестно куда, неизвестно к кому, да ещё с чужим малолетним ребёнком. А может, перманентный кожный зуд, красная пена экземы терзали его разум, как прибой берег?

...Посвинтер долго и задумчиво смотрел на проплывающие внизу горные вершины, а потом, икнув лимонадом, сказал: «Я точно знаю, что в этих горах живёт Снежный человек!»

Снежный человек, можно сказать, был третьим в их компании. В Москве Ираида Порфирьевна, как папа Карло азбуку для Буратино, купила Диме в дорогу детскую книгу под названием «Как мы искали Снежного человека». Посвинтер в залах ожидания и в самолётах читал её Диме вслух. Тот слушал без большого интереса. Гораздо больше его заинтересовали картинки, а отнюдь не история, как советские дети обнаружили, выследили, а затем приручили Снежного человека. На последней странице Снежный человек уже был в трусах, в рубашке, в красном пионерском галстуке и почему-то с сачком для ловли бабочек в руке. На Диму, однако, куда большее впечатление произвела картинка в самом начале книги, где Снежный человек был изображён в первозданной дикой свирепости. В меховой набедренной повязке он, ощерив зубы, подкрадывался с занесённой дубиной к застывшему в ужасе на камне горному козлу. Дима, как зачарованный, смотрел на Снежного человека, проникаясь его звериной мощью, отчаянной жаждой жизни и лютым – до головокружения – голодом. Ему казалось, что если бы внизу в горах действительно жил Снежный че-

ловек, он бы мог прыгнуть вверх, схватить самолёт за хвост, как птицу, размолотить его о камни, а потом выгрызть из него, как зерна из железного раздавленного граната, пассажиров.

3

Именно с этого момента – с созерцания проплывающих под брюхом самолёта гор и картинки в книге, изображающей Снежного человека, Каргин начал осознавать себя как личность, имеющую право на существование и собственное отношение к миру. С этого момента он помнил всё, что с ним происходило.

Раньше, живя у дедушки и бабушки в двухэтажном деревянном доме на окраине Пскова, он был растворён в окружающей жизни, в воле окружающих людей, как крохотный кусочек сахара в огромной кружке с надписью «Желдоробщепит», из которой пил чай дед Костя. Из псковской жизни он вынес отрывочные, неосмысленные воспоминания. Мягкие руки бабушки, поправляющие одеяло. Чёрный с привинченным орденом Красной звезды китель деда Кости в прихожей на вешалке. Китель с орденом напоминал Диме ворона с простреленной грудью. Вид из окна: широкая лента полей, тёмные избы на берегу озера, белая рябь чаек над полями и водой. Тонкая полупрозрачная трава вдоль асфальтовой дорожки, по которой они ходили с бабушкой на соседнюю улицу в магазин. Иногда по этой дорожке им навстречу гнали с пастбища коров. Коровы смотрели по сторонам, задумчиво шевелили большими розовыми губами. И ещё почему-то он помнил синий в белых чёрточках, как в чайках, мяч. Дима подолгу бросал его в стену, когда оставался дома один. Почему-то ему очень хотелось попасть в



узкую полосу между потолком и висящим на стене ковром. Когда это удавалось, он испытывал необъяснимую радость.

Он жил у деда в Мамедкули до самой школы. К этому времени «Ленфильм», наконец, предоставил его родителям квартиру, и Ираида Порфирьевна забрала Диму в Ленинград. Отныне он приезжал к деду только на летние каникулы. Последний раз Каргин гостил у него в шестьдесят восьмом году, когда советские войска вошли в Чехословакию и превратили пражскую весну, как скажет позже Каргину один знакомый чех, в нескончаемую и унылую русскую осень.

Со временем воспоминания о жизни в Мамедкули у Каргина утратили чёткость, зато приобрели объёмность и насытились цветом, можно сказать, перешли в категорию *neverending* сна о волшебной стране, где он был счастлив.

На первое время (пока Дима привыкал к няне, а няня к нему) Порфирий Диевич определил его в детский сад.

Детский сад располагался на окраине города – на плоской горе, откуда были видны развалины крепости, которую то ли возвёл, то ли взял штурмом Александр Македонский. А ещё по пыльной улице мимо детского сада водили верблюдов. Должно быть, там пролегал какой-то древний караванный маршрут. Верблюды в Мамедкули были местной породы – огромные, косматые и рыжие. Они отлично плавали, держа высоко над водой надменные носатые головы. Пустыня и море соседствовали в Мамедкули. В жару верблюды лежали на мелководье, как шерстяные рыжие заплатки. На лавочке у конторы под вывеской: «Фураж» сидели бесхозные старики в халатах и бараньих шапках. Они не просили мило-

стыню, но некоторые люди им подавали. Бесхозные старики не кланялись и не благодарили, равнодушно смотрели сквозь дарителей.

Каргин жалел, что Снежный человек живёт в горах, а не в пустыне. Ему казалось, что в Мамедкули на него бы никто не обратил особого внимания, наведаясь он в контору за фуражом, или к рыбакам за рыбой. Да даже и в столовую возле конторы, где стояли накрытые марлей от мух подносы с нарезанным хлебом и мутным компотом. Разве только люди из «Собачьего ящика» могли обидеть Снежного человека. «Собачьим ящиком» назывался раздолбанный непонятного цвета фургон, в котором перемещались по окрестностям истребители бездомных собак. Несмотря на кажущуюся ветхость и предельную изношенность, фургон был удивительно живуч. Дима наблюдал его в деле каждое лето. Неизменными, хотя годы шли, оставались и люди в фургоне. Один – высокий со скошенным затылком, напоминал одновременно единицу и поставленную на попа винтовку. Горло у него всегда было обмотано похожим на половую тряпку шарфом, а сам он ходил в малоразмерном пиджаке поверх тельняшки. Второй даже в самую злую жару оставался в телогрейке и в толстых чёрных брюках, заправленных в кирзовые сапоги. Третий – водитель – почему-то носил нарукавники, предохранявшие не рубашку, а... голые в татуировках до плеч руки, поскольку вместо рубашки на нём была обвисшая, потерявшая цвет, майка.

Они ловили собак сетями, но те, услышав натужный скрежет мотора, успевали разбежаться. Ящичные люди стреляли им вслед крупной дробью, так что в сети, в основном, попадались подбитые или больные собаки, которые не могли убежать. У ящичных людей имелись свои охотничьи



приёмы. Они могли привязать длинной верёвкой течную сучку к дереву, а сами спрятаться за дерево, поджидая, когда прибегут кобели. Они точно знали, что похоть пересилит в кобелях страх смерти, а запах течной сучки – ружейную и их собственную вонь. Дима долго не мог понять, почему эти люди не меняются, почему на них столько лет одна и та же одежда, почему не ломается проклятый фургон. Наверное, отнятые (отстреленные) у собак жизни каким-то образом плюсовались к их (включая неодушевлённый фургон) веку, делая его бесконечным, но при этом бездомным и собачьим. Другого объяснения не было. Коренные обитатели Мамедкули не обращали внимания на живодёров, только сердобольные русские тётки иногда кричали им вслед: «Креста на вас нет!»

Один раз, причём совершенно неожиданно – весной! – в Мамедкули выпал снег. Каргин успел забыть, что это такое, а потому очень хорошо запомнил тот день. В псковском детсаду он часто получал подзатыльники. В Мамедкули воспитательницы сдували с него пылинки, накладывали полные тарелки, разрешали после обеда не спать, отпускали гулять с ребятами, остававшимся на продлённый день в располагавшейся по соседству школе. Потом Каргин догадался, что иначе и быть не могло. Порфирий Диевич был главврачом кожвендиспансера, где детсадовский персонал (в советское время с этим было строго) каждый месяц проходил освидетельствование.

В день, когда выпал снег, Дима и два мальчика из группы продлённого дня забрались по приставленной лестнице на крышу сарая. С крыши открывался вид на горы, на море, на покрытую снегом пустыню. Рука ветра одобрительно потрепала Диму

по плечу и – одновременно – раздвинула впереди облака, выпустив на небо, как застоявшегося рыжего верблюда на пастбище, солнце. Дима долго смотрел на солнце, на нагруженных мешками с зерном ишаков, на выщербленные, как крышки над побитыми кастрюлями, крыши, на глиняно-песочное в кубиках и пирамидах с полумесяцами мавзолеев, без единого дерева мусульманское кладбище, а потом вдруг произнёс: «Я... Ленин».

Странная фраза, однако, не удивила его товарищей. Один мальчик, тут же добавил: «Я Сталин!» Потом решительно спустил штаны и... показал пиписку. Другой тоже хотел что-то сказать, но промолчал. Каргин как сейчас помнил, он был татарин и плохо говорил по-русски. Да если бы и говорил, то не смог бы выбрать для себя равновеликую Ленину и Сталину личность из пантеона тогдашних вождей. Хрущёв ещё не пользовался у народа авторитетом. Про Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова маленький татарин, скорее всего, не знал. Некоторое время Дима раздумывал, не показать ли ему тоже пиписку. Но тут на крыше появилась рассерженная воспитательница. Она согнала их с крыши, а Сталину ещё и поддала по голове. Дима решил, что поступил правильно, оставив пиписку в штанах, но было не отделаться от чувства, что Сталин переиграл Ленина.

4

А потом Дима заболел дифтерией и чуть не умер. Сначала у него распухло горло. Потом поднялась температура. Перед глазами всё поплыло, ноги сделались мягкими и слабыми. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы его никто не трогал. Дима закрывал глаза, и ему казалось, что он бабочка,



неудержимо летящая навстречу тёмному свету. Там тишина и покой, но его хватают за крылья, тербят, переворачивают, сбивают с маршрута. Он помнил холод металлической палочки на языке, пахнущие спиртом женские руки, ощупывающие его шею, гулкие и тревожные голоса деда и женщины-доктора сквозь шум в голове, как сквозь вату.

Потом его тело обрело странную лёгкость. Дима как будто кружился над кроватью. Никаких мыслей. Никакого страха. Мелькание картинок, как если бы он смотрел в трубу калейдоскопа. Неизвестно откуда взявшиеся, случайные слова, которые он без конца повторял, за которые держался, чтобы не заблудиться в полёте. Одно из этих слов он запомнил: «Новид». Что оно означало? Слово откололось, как метеорит от астероида, от какого-то большого смысла, который Дима не мог охватить своим хоть и приблизившимся к смерти, а потому досрочно мудрым, но ранним умом. Он знал, что это смерть и не испытывал страха. Она увиделась ему в виде бесконечного глиняного дувала. Ему надо было всего лишь перебраться через этот дувал.

Несколько дней он существовал пунктирно, катался цветным осколком внутри калейдоскопа.

Потом пауза – долгий сон – пробуждение.

Дима лежал в кровати под зелёной махровой простынёй с белыми цветами. По простыне прыгали яркие солнечные зайчики. Он посмотрел по сторонам, задерживая взгляд на знакомых предметах.

Многие предметы в доме Порфирия Диевича Диму совершенно не интересовали. С некоторыми же он находился в особых отношениях.

Разноцветные китайские (кажется, их называли райскими) птички на пианино. Внутри ярких пушистых птичек скрывался тонкий проволочный скелет. Проволоку можно было гнуть. Птички при-

нимали разное положение. Одна, как солдат, куда-то шагала, задрав лапку, другая что-то клевала, опустив клюв, третья тревожно осматривалась, вытянув вверх шею.

Литая чёрная чугунная фигура Мефистофеля в шляпе и со шпагой. Она стояла на этажерке с книгами. Диму влекла к себе шпага Мефистофеля. Её можно было доставать из кольца на поясе фигуры, а затем с грохотом возвращать обратно. Кому в СССР пришла в голову странная мысль серийно изготавливать чугунных Мефистофелей? Позже Каргин видел подобные фигуры, правда, значительно меньших размеров в квартирах самых разных людей. Помимо Мефистофеля чести быть отлитым в чугуне ещё удостоился дон Кихот. Он тоже был со шпагой и почему-то с раскрытой книгой в откинутой руке. Только этим двум литературным персонажам было позволено оживлять интерьеры квартир советских граждан. Но такого крупного экземпляра, как у деда, Дима больше нигде и ни у кого не видел. Наверное, это был единственный случайно уцелевший экспериментальный образец, случайно попавший в Мамедкули. А может... Мамедкули был осознанным выбором самого Мефистофеля. Домработница Порфирия Диевича – узбечка по имени Патыля – звала чугунную фигуру кара-шайтаном, стирала с неё пыль, отвернувшись и зажмурившись. Неужели, размышлял, повзрослев, Каргин, это как-то связано... со Сталиным? Может, это был таинственный сталинский message народу, чтобы тот, как дон Кихот, читал книги, набирался ума, а потом бы рявкнул в чугунную морду Мефистофеля: «Остановливай, гад, мгновение, потому что социализм прекрасен!»

Был ещё милый сердцу Димы носатый ребристый стеклянный кувшин с серебряной в виде серд-



ца откидывающейся крышкой с вензелем и красиво выгравированной надписью на неизвестном (позже он установит, что на венгерском) языке.

А ещё семейство серебряных же, покрытых тёмной красной эмалью рюмок с овальными медальонами охотничьих пейзажей – лугами, озёрами в камышах, летящими утками и делающими стойку собаками. Диме нравилось расставлять рюмки на столе в произвольном порядке, рассматривать эмалевые пейзажи, заглядывать в их серебряную, тускло переливающуюся глубину, прикладывать рюмки к ушам и слушать, как шумит в лугах и озёрах ветер, свистят в вечернем синем воздухе крыльями утки.

В доме было много необязательных, но очень красивых вещей, привезённых Порфирием Диевичем из стран, сквозь которые, как сквозь музеи и антикварные лавки, грозно проходил его госпиталь. Эмалевые рюмки, к примеру, были из загородного дворца венгерского правителя – адмирала Хорти.

Воскресший Дима встретился с этими вещами, как с друзьями после долгой разлуки, и друзья, включая угрюмого в шляпе с пером остробородого Мефистофеля, были рады встрече. Хотя Мефистофель косился неодобрительно с этажерки на расположившихся на пианино пушистых райских птичек. Видимо, ему не нравилось такое соседство.

Дима понимал, что нить, соединявшая его с миром, чуть не оборвалась. Он сделал шаг назад от дувала, но пока что был на живую нитку, лишь несколькими стежками прихвачен к живущему своей жизнью миру.

Потом он увидел женщину-доктора. Дима вспомнил её светлые волосы, зелёные глаза, встре-

воженное лицо. Оно мелькало в крутящемся перед его глазами калейдоскопе вместе с непонятным словом «Новид», случайными мыслями и картинками. Дима слышал её голос, помнил пронзительно-сладкий вкус микстуры, которой она его поила. Боли от укулов Дима почти не чувствовал. В какой-то момент он просто перестал обращать внимание на укулы.

Женщина завернула его в махровую простыню, вынесла на руках во двор – на заасфальтированный пятачок перед верандой, где стоял покрытый клеёнкой стол. Дима закрыл глаза, таким нестерпимо ярким показался ему солнечный свет. Потом он увидел старую овчарку Нимфу. Она жила во дворе за запертыми воротами, ночевала в будке, то есть была домашней собакой, но когда по их улице проезжал «Собачий ящик», поднимала холку и скалила зубы. Овчарка подошла к женщине, держащей Диму на руках, лизнула край простыни. От солнца, прозрачного воздуха, цветущих деревьев у Димы закружилась голова, заложило уши. Он никак не мог насмотреться на покрытый клеёнкой стол, старую овчарку Нимфу (Дима почему-то звал её Габой), сарай, где среди старых, покрытых помётом, как черепаша панцирем, вещей обитали куры и голуби, журчащую воду из присосавшегося к крану шланга, пролетевшую сквозь виноградник на радужных крыльях стрекозу с зелёными глазами. Но при этом он опережающе знал, что тёмный свет ярче всех солнечных зайчиков на свете, а глиняный дувал... везде.

Потом он услышал голос: «Ты останешься, потому что слышишь. Ты сделаешь, потому что должен». Дима открыл глаза. Женщина смотрела на него и улыбалась. Но Дима был уверен, что с ним разговаривала не она, а... зелёная махровая про-



стыня в белых цветах, которая, как магнит, притягивала солнечные зайчики.

Старые вещи

1

– Зачем тебе это надо, Каргин? – спросила Надя через месяц после их встречи на Бережковской набережной возле офиса «Главодежды».

Вторая половина осени в том году была медленная и тёплая. В октябре мужчины ходили в рубашках, а женщины в лёгких платьях.

Дело было вечером под конец рабочего дня.

По Москве-реке плыли белые ресторанные и прогулочные теплоходы. По небу красным колесом катилось закатное солнце.

Надя зашла к нему в кабинет по какому-то делу. Без дела она не заходила.

Каргин размышлял в тот момент над неточностью названия поэмы Маяковского «Облако в штанах». Облако никак в штанах не смотрелось, а если и смотрелось, то не эстетично, как выпирающий (у Хрущёва был такой) живот.

В предложенной Маяковским образной конструкции присутствовала несовместимость материалов – плотных штанов и бесплотного облака.

Вот солнце, думал Каргин, совсем другое дело.

В тот момент оно как раз вставило лучи, как ноги, в штанины двух вертикальных перистых облаков. Одна штанина, правда, оказалась короче другой. Каргин тут же вспомнил, что солнце (не суть важно в перистых перекрученных штанах или в огненном неглиже) приходило к поэту на дачу, после чего тот укрепился в решении «светить и никаких

гвоздей!».

Маяковский был гением.

Каргин был никем, средней руки чиновником с раздвоенным сознанием, однако он тоже вознамерился светить.

– Видишь ли, я... – он осторожно взял за руку, доверительно заглянул Наде в глаза, – работаю над конституцией... личности. Что-то вроде основного закона человека.

– И в чём он? – Надина рука никак не отозвалась на дружеское прикосновение.

Иногда Каргину казалось, что в мире не осталось вещей, способных удивить Надю. Или она верила всему, что слышала, принимала всё за чистую монету. Или же не верила никому и ничему, принимала всё за грязную монету. Но было возможно и третье объяснение: Надя существовала отдельно как от правды, так и ото лжи, так сказать, по ту сторону монетаризма. Происходящее её не интересовало, а потому и не могло удивить.

– Надеюсь, не в том, что человек – это звучит гордо? – спросила Надя.

– В неотъемлемом праве человека предпринимать действия, направленные на изменение окружающей действительности с целью её исправления! – как с листа отчеканил Каргин, хотя ещё мгновение назад понятия не имел об основном законе человека. Он знал, кому и чему собирается светить, но пока не знал, где взять гвозди, чтобы приколотить лампу. Может, не надо их искать, малодушно подумал Каргин, как бы меня самого не приколотили этими гвоздями...

– Зачем человеку предпринимать такие действия? – поинтересовалась Надя.

– Чтобы сделать действительность лучше, чище, честнее, справедливее... – Закон стремительно, как



мумия из фантастического фильма, обрастал словесной плотью. – Мне продолжать, или достаточно этих определений? – недовольно посмотрел на Надю Каргин.

Если опция «удивление» у неё перманентно находилась в положении «выкл», то опция «тупизм» довольно часто пребывала в положении «вкл». Хотя иногда Каргину казалось, что под показным Надиным «тупизмом» маскируется иная – универсальная – опция, претендующая на управление всей программой. Каргину это не нравилось. Он считал, что программой исправления действительности должен управлять он – автор основного закона человека.

– Для кого сделать? – продолжила Надя игру в «тупизм».

– Для всех, – коротко и тупо ответил Каргин. Он решил бить Надю её же оружием.

– Для всех невозможно, – пожала плечами Надя.

– Это почему? – надменно поинтересовался Каргин.

– Один не может решать за всех, – ответила Надя. – Как ты можешь знать, что нужно всем?

– Иисус Христос знал, – возразил Каргин, мысленно прося у Господа прощения за суесловие и гордыню. – И смог.

– У него не получилось, – тихо, но твёрдо, без малейших сомнений в голосе констатировала Надя.

Получилось, подумал Каргин, хоть и с издержками в виде... гвоздей.

– Дело не в том, получилось или нет... – он выдержал долгую паузу, но, похоже, судьба Родины не сильно беспокоила Надю.

Она спокойно, как если бы они говорили о погоде и разговор был завершён, расположилась за при-

ставным столиком. Разложила на нём служебные бумаги на бланках и с печатями. Некоторые имели помятый вид, из чего следовало, что они пришли по почте.

Каргин нахмурился. Он был уверен, что тот, кто прибегает в общении с ним к услугам почты России, не уважает его, или – в его лице – учреждения, которые он представляет, в данном случае министерство и «Главодежду». Письма, отправленные из Дома правительства на Краснопресненской набережной в «Главодежду» на Бережковской набережной, преодолевали расстояние в четыре троллейбусных остановки за две недели.

– Дело не в том, получилось или нет, – недовольно повторил Каргин. – Дело в том, что получилось только так, как могло получиться. Неотменимо! – вбил пафосное слово, как гвоздь (опять!), хотя пока было не очень понятно, куда и зачем. Глядя на невозмутимо перебирающую бумаги Надю, он не мог отделаться от ощущения, что вбил гвоздь в... облако. Ну и ладно, посмотрел на Надю Каргин, зато это облако не в штанах...

– Слишком просто, – пожал плечами Надя. – Так можно сказать о чём угодно. Это называется, если я не ошибаюсь, вульгарным позитивизмом. Всё в мире происходит, потому что происходит. И всё неотменимо, если произошло.

– Тогда ещё проще, – обрадовался продолжению дискуссии, хотя и не без обиды на определение «вульгарный», Каргин. – Я знаю, что я несовершенно и... вульгарный человек, что моя жизнь не может служить примером для подражания, что мне есть в чём каяться. Мне также известно, что на том свете меня встретят... строго... – замолчал.



Ему скоро должно было исполниться шестьдесят. Он не собирался на пенсию, уже была договорённость, что срок службы продлят. Казалось бы, живи и радуйся, но мысль о смерти всё чаще посещала Каргина. Всё чаще он видел во сне уходящий в бесконечность глиняный мамедкулийский дувал с вмазанными в него, поющими на ветру, бутылками. Каргин чувствовал, что смерть даже не исподволь, а открыто тестирует его, как дирижёр оркестр перед исполнением неотменимой пьесы. Инструменты откликаются неясными, но грустными звуками. У него то кружится голова, то тоскливо ноет в правом подреберье, то немеют руки и наливаются свинцом ноги, то сердце выдерживает томительную паузу, подстраиваясь под взмах дирижёрской палочки. Смерть, как голодная птица зёрна, склёвывала с тарелки земли людей. Очень часто до того момента, как человек успевал сделать то, за что был готов отдать жизнь. Смерть сама решала, когда её забрать.

– Я люблю свой народ и свою Родину! – крикнул Каргин, пытаюсь объяснить необъяснимое уже не Наде, а... смерти. – И я не готов передоверить свою любовь никому на свете! Я хочу взаимности со стороны Родины и народа, пусть они пока не понимают своего счастья. Это их проблемы. Других целей у меня не осталось. Пока об этом никто, – покосился на Надю, – кроме нас с тобой, не знает. Моя любовь неотменимо изменит Россию! Я не могу иначе. Это сильнее меня. Ты спросила, зачем мне это нужно? Я ответил? Больше мы на эту тему разговаривать не будем.

– Как скажешь, – пожала плечами Надя. – Тогда ответь на другой вопрос: зачем твоя любовь Родине и народу?

Этого Каргин не знал.

Как не знал и причин, вдруг пробудивших у него всепоглощающую любовь к Родине и народу. Поезд его жизни до сей поры катился по далеко отстоящим от магистрали патриотизма рельсам. Стыдно признаться, но довольно часто он думал о Родине и народе с глубочайшим отвращением. Родина, народ и примкнувшая (присосавшаяся?) к ним власть (себя Каргин властью не считал, слишком мелка и заточена на производство была его должностишка) несли ответственность за неизбывную многомерную и многоуровневую мерзость, победительно сопровождавшую Каргина по жизни, достававшую его, как проштрафившегося пса, из любых укрытий.

Это Родина, народ и власть были виноваты в том, что в его подъезде стояла вонь. В яростно свёрнутом, бессильно повисшем на проводах, боковом зеркале его «мерседеса», оставленного во дворе у дома. В тупом стоянии на Новой Риге и на Кутузовском, когда движение наглухо перекрывалось для беспрепятственного проезда начальственных кортежей. В уподобившихся неотменимому стихийному бедствию пробках, отменявших всякую охоту передвигаться в Москве на машине. В хамагаишниках, останавливающих его и ищущих к чему бы придраться. В том, что на автостоянку в коттеджном посёлке окрестные жители, как баскетболисты, постоянно бросали пакеты с мусором через высокий кирпичный забор. «Такой баскетбол нам не нужен», – качал головой начальник охраны, но поделаться ничего не мог. В многостраничных маразматических декларациях о доходах и расходах, которые Каргин, как государственный служащий,



пусть и невысокого ранга, должен был заполнять каждый год. В необъяснимом, всё усиливающемся страхе, что его могут в любой момент посадить... да за что угодно, точнее неизвестно за что. В поганом телевидении, которое Каргин давно перестал смотреть. В очевидном ничтожестве лиц, чьи лица крупным планом показывало поганое телевидение. В упрямом нежелании народа ни трудиться, ни сражаться за свои права. Только о жратве и лишь бы не было войны и обвала рубля были мысли народа. В не менее упрямом желании власти не платить народу за труд, безнаказанно разворовывать бюджет и безжалостно давить любое переходящее в осмысленное действие недовольство народа.

Каргин почитывал на досуге современных философов и, в принципе, был согласен с утверждением, что в новом мировом экономическом порядке места так называемому «среднему классу» не предусмотрено. Новый жестокий мир не нуждался в «прокладке» между бесконечно богатым меньшинством и неотменимо бедным большинством. Компьютерные технологии стали достаточно умны, чтобы обходиться без людей, нажимающих клавиши на клавиатуре, что-то бубнящих клиентам в телефонные трубки, придумывающих примитивные сюжеты для рекламы товаров и услуг. Одолев СССР, капитализм, как Юлиан-отступник, обратным шагом Майкла Джексона вернулся во времена «железной пяты», вечного кризиса и массового пауперизма. От потребления, как некогда от церкви, отлучались целые государства и сословия.

Но пока ещё деньги отчасти смягчали скорбную повседневность, разгоняли сгустившуюся вонь. Правда, ненадолго, как дорогой освежитель воздуха заматеревшую помойку. Мерзость просачивалась сквозь железные двери и бетонные стены пер-

сональных райских куш, напоминающих в России гетто для богатых. Злое, нищее, уже и не русское, а непонятно какое (евразийское?) море подтапливало гетто.

А сверху нависала угрюмая, неизвестно чего хотящая власть. Она с размаху врезалась в капитализм, как «Титаник» в айсберг, и сейчас, сатанея от бессилия, наблюдала, как в топках идущего ко дну корабля сгорают украденные при разгроме СССР миллиарды. Эти капиталы внесли ненужное беспокойство в перегруженную финансовую систему, оказались в ней лишними и, следовательно, обречёнными. Как раньше Запад прессовал царскую, императорскую, а затем советскую Россию с её неконвертируемым рублём, так теперь он взглядом гоголевского Вия уставился на заведённые под его юрисдикцию активы российских собственников. Западная юридическая машина, как два пальца об асфальт, в любой момент могла поднять Вию веки, доказать преступное происхождение российских денег. А самым смешным было то, что она была права.

Теряющая украденные миллиарды и почву под ногами власть нервничала, шарахалась из стороны в сторону. С недавних пор она взялась колебать священный «треножник» денег, как меры всех вещей. Государство больших воров, по логике долженствующее защищать «малых сих», то есть воров покорных и законопослушных, вдруг недружественно заинтересовалось скромной недвижимостью Каргина на Новой Риге и в Испании, потребовало отчёта о счетах в зарубежных банках. «Как они к нам на Западе, так мы к вам здесь!» – примерно так можно было истолковать message власти своим гражданам. Родина, народ и власть делали всё, чтобы ненависть к ним, по крайней мере, со стороны



сживаемого со свету среднего класса, становилась всеобъемлющей и не остывающей, как лава в пробудившемся вулкане.

Каргин упустил момент, когда его персональная ненависть переродилась в чистое пламя любви к народу и Родине. Неужели, думал он, в момент, когда от триединой формулы ненависти – народ-Родина-власть отпало лишнее звено – власть? Ненависть преобразовалась в любовь, а любовь – в свет, на который летел Каргин, как некогда летели на свет лампы под жестяным колпаком в мамедкулийском саду Порфирия Диевича ночные бабочки и рогатые жуки-носороги.

Он не знал, зачем его любовь Родине и народу.

3

Как много лет назад маленький Дима не знал, зачем приходят по вечерам к Порфирию Диевичу Пал Семёныч, Зиновий Карлович, Жорка и играют до поздней ночи за столом в саду под лампой в карты?

Начинали вечером, когда с гор тянуло прохладой, а на небе появлялись первые звёзды. Они светили неуверенно, как свечи на сквозняке. Солнце к этому времени успевало опуститься в море, и море превращалось в зелёное светящееся зеркало. В атмосфере устанавливались голографическая объёмность. Последний багровый луч отражался от зелёного зеркала вод, летел над крышами Мамедкули, растворяясь в тишине песков, садов и виноградников.

«Самое время сдавать карты», – произнёс, провозжая глазами летящий луч, Зиновий Карлович – директор торговой базы, давний друг Порфирия Диевича.

Он аккуратно повесил пиджак и брюки на предусмотрительно установленную возле стола Патылём рогатую вешалку. За игрой Зиновий Карлович обычно оставался в длинных сатиновых трусах с заправленным под резинку носовым платком и в сетчатой майке, продуваемой вечерним ветерком. Когда окончательно темнело, и над столом включалась лампа под жестяным колпаком, вешалка отбрасывала пугающую тень. Диме казалось, что это чугунный Мефистофель спустился с тумбочки посмотреть, как идёт игра.

Рядом с вешалкой ставился ещё один столик – с закусками. Разрезанные пополам мясного вида мамедкулийские помидоры, огурцы, виноград, обжаренные с чесноком баклажанные полоски, иногда длинные, как полинезийские пироги, куски дыни, обязательные бутерброды с зернистой или паюсной икрой. В Мамедкули, по причине близости Каспийского моря, чёрная икра не считалась деликатесом. На столик, как вспоминалось Каргину, всегда ставились рюмки и две бутылки – армянского коньяка и белого сухого вина. В дни, когда у Порфирия Диевича играли в преферанс, Патыля задерживалась, чтобы накрыть стол и приготовить картёжникам чай.

«Почему самое время?» – поинтересовался Жорка – огромного роста волосатый армянин, лихо подкатывающий в клубах пыли к дому Порфирия Диевича на открытом американском «виллисе».

«Потому что на нас, – благоговеино поднимал вверх неровный, похожий на корнеплод, палец Зиновий Карлович, – смотрит Бог!»

Сколько ни пытался Дима уяснить, чем занимается Жорка, не получалось. «Да так... Работает в артели», – пожимал плечами Порфирий Диевич.



Однажды Жорка опоздал к началу игры, подъехал к их дому не как всегда со стороны улицы, а с дальней стороны дувала, за которым начинались кукурузные поля, и где имелась потайная калитка.

«Что случилось?» – поинтересовался Порфирий Диевич, извлекая из пачки обёрнутую в тонкую шуршащую бумагу, как невеста в белое платье, новенькую колоду.

«Да опять эти... приехали с обыском! – развёл руками Жорка. – Пришлось гнать через поле».

Диме очень нравился «виллис», и он как-то поинтересовался у Жорки, где тот его взял.

«Ленин подарил, – ответил Жорка. – Увидел меня, обрадовался, говорит, бери, Жора, езд».

«Где увидел?» – обиделся на такой ответ Дима. Он перешёл в пятый класс, двадцать второго апреля его приняли в пионеры, он точно знал, что Ленин умер в январе 1924 года.

«Где? Да у нас в Мамедкули на базаре, – сказал Жорка. – Приехал посмотреть, как живёт народ».

«А обратно? – строго поинтересовался Дима. – Как он уехал обратно, если подарил вам «виллис?»»

«На подводной лодке, – удивлённо посмотрел на Диму Жорка. – Ленин всегда уплывает на подводной лодке».

«А если рядом нет моря?» – разозлился Дима.

«Тогда... на воздушном шаре, – не промедлил с ответом Жорка. – Ленин, как воздух, он везде...»

«Неужели Богу есть дело до нашего преферанса?» – удивился Жорка.

«Богу до всего есть дело!» – ответил Зиновий Карлович, наливая в рюмку армянский с горой Арагат в кружочке на жёлтой этикетке коньяк и придирчиво выбирая закуску. В этот раз он остановился на ломте белоснежной с жёлтым скользким верхом

дыне и бутерброде с блестящей, как птичий глаз, паюсной икрой. Зиновий Карлович слыл в карточном коллективе гурманом, отличался, несмотря на скромную комплекцию, отменным аппетитом, чему завидовал и над чем посмеивался Порфирий Диевич. Он любил вспоминать, как однажды на охоте Зиновий Карлович съел зараз четырех зажаренных на костре уток. Одну прямо на лету, уточнил Зиновий Карлович, вместе с селезнем и утятами. Его было трудно вывести из себя. Когда карта долго не шла, он, случалось, свесив нос, засыпал за столом. Его со смехом будили. Во сне игра была интереснее, вздыхал он.

«Бог, как и советская власть, живёт по своему времени, – объяснил Жорке Зиновий Карлович. – Оно не разделяется на прошлое, настоящее и будущее. Я чувствую, – выпил, поставил рюмку на столик, – Его взгляды».

«А я нет», – почесал волосатую грудь Жорка.

«Ты молодой, – сказал Зиновий Карлович, – живёшь, как будто смерти нет».

«Живу, как будто только она и есть», – возразил Жорка.

«Это плохо», – покачал головой Зиновий Карлович.

«Но я ещё жив, – ответил Жорка, – и это хорошо. Хотя, – добавил после паузы, – я понимаю, что это временно».

«Всех унесут вперёд ногами, – успокоил Зиновий Карлович. – Как писал один писатель в двадцатых годах, не помню фамилии, кажется, его потом расстреляли, люди мрут своим чередом: старые от старости и неустройства, молодые – от того, что свинца накопилось много».

Белые мучнистые в синих венах и шишковатых наростах на коленях ноги Зиновия Карловича напо-



минали сплетённые сучья. А сам он – с вытянутым, как падающая капля, лицом, седым хохолком на голове, мясистым кривым носом – большого попугая. Зиновию Карловичу было в ту пору за шестьдесят. Он был старше Порфирия Диевича, но моложе Пал Семёныча – начальника районного строительного управления – воздушного старичка с пуховой одуванчиковой головой, прозрачными, как вода, слезящимися глазами, красно-белым, как порубленная редиска, лицом. Преферансисты постоянно иронизировали над патологической честностью Пал Семёныча, жившего в крохотном, хотя мог бы выстроить себе за казённый счёт дворец, доме на окраине Мамедкули.

С чего это Богу смотреть на... Зиновия Карловича? – помнится, недоумевал Дима.

Он любил следить за перипетиями игры, быстро освоил азы преферанса, только вот не очень разбирался в «вистах», «бомбах» и расчётах после игры – кто выиграл, а кто проиграл. По лицам и репликам игроков этого было не понять. Только когда из их бумажников, как из воздушных шаров, на стол планировали купюры: красные десятки, радужные четвертные, болотно-зелёные полтинники, а иногда и хрустящие коричневые, как крепкий осенний лист, сотенные. И на всех был Ленин, подаривший Жорке «виллис», а потом уплывший на подводной лодке или улетевший на воздушном шаре. Глядя на разноцветные купюры, Дима понимал, что зря обижался на Жорку. Ленин воистину был везде.

Преферансисты относились к деньгам легко. Пожалуй, только Пал Семёныча проигрыши огорчали. Но он играл очень осторожно и почти никогда не проигрывал.

И на Пал Семёныча, размышлял, вслушиваясь в ночной ветер и отслеживая дальнейшие действия только что врезавшегося в жестяной колпак лампы жука-носорога, Дима, Богу нечего смотреть. Чего такого интересного, кроме неестественной старорежимной честности, благодаря которой, как полагали преферансисты, он, глубокий пенсионер, столько лет держится на ответственной начальной должности, не давая пропасть ни одному кирпичу, может Бог увидеть в Пал Семёныче?

Отскочив от лампы, как теннисный шарик от ракетки, рогатый, цвета Ленина на сторублёвке, жук некоторое время неподвижно лежал на спине под столом, слабо перебирая зубчатыми, как крохотные пилки, лапками. Затем он начал предпринимать безуспешные попытки перевернуться. Дима пришёл ему на помощь. Жук немедленно затаился, прижавшись к ножке стола, видимо усомнившись в бескорыстии оказанной помощи. Выждав нужное время, он, отполз в сторону, собрался с силами, потряс рогами и, вспенив твёрдую спину крыльями, бесшумно взлетел, уже в темноте включив глухой рокочущий мотор. Куда он полетел? Неужели, посмотрел в чёрную, густо утыканную сияющими гвоздями звёзд, доску неба Дима, жуки ориентируются по звёздам?

Потом он подумал, что, пожалуй, на Пал Семёныче Богу всё же стоило задержать взгляд.

Много лет спустя Ираида Порфирьевна расскажет Каргину, что Мамедкули после революции стал прибежищем так называемых «бывших» – недобитых белогвардейцев, депутатов контрреволюционных дум, заседавших в гражданскую то в Уфе, то в Самаре, затаившихся священников, ускользнувших с золотишком и бриллиантами в бюстгальтерах и



подштанниках представителей нетрудовых сословий. Они просачивались разными путями в глухой туркестанский городок, чтобы укрыться от карающего ока большевистской власти. Граница с Персией до начала тридцатых не сильно охранялась, объяснила Ираида Порфирьевна, кто хотел, мог уйти. Но без предварительной договорённости с дружественными большевикам персами это было опасно. На границе грабили и убивали. Поэтому те, кто остались, сидели тише воды ниже травы, устраниваясь на невидные должности. Или – вынужденно – на (в масштабах Мамедкули) видные, потому что грамотных людей здесь было мало. Однако от всевидящего ока всё равно было не спрятаться. К началу войны подобрали практически всех.

Постепенно Дима выяснил, что из всех приходивших к Порфирию Диевичу играть в карты людей, не сидел только... Жорка, который нигде не работал, носил на пальце огромный золотой перстень с рубином, разъезжал на ленинском «виллисе» без номеров, держал за поясом под рубашкой (Дима сам видел!) пистолет и совершенно определённо жил громче воды и выше травы. Все остальные, хоть и сидели тише воды ниже травы – сидели. Порфирий Диевич – за незаконную скупку у местного населения облигаций государственного займа. Зиновий Карлович – за вскрывшуюся на базе недостачу. Местный главный энергетик Лалов (игрок на замену, когда кто-то из основных отсутствовал) – за перерасход воды на гидроэлектростанции. Будто бы Лалов продавал воду туркменам на бахчи. Директор сахарного завода трёхпалый Егор (тоже игрок на замену) – за так называемую пересортицу, то есть реализацию сахара второго сорта под видом первого. Егор ловко управлялся с картами искалеченной, похожей на клешню, татуированной рукой,



а распасовку называл «расфасовкой». Его волосатая, украшенная выцветшим трезубцем, рука была как будто с глазами. Он хватал её кружившихся над столом ночных бабочек, а один раз на спор поймал жужжащую в темноте муху. Предъявив её, зажатую в тисках пальцев, отпустил живую на волю. «Тебе и человека задушить раз плюнуть», – с уважением заметил Жорка. «Человека не знаю, – ответил Егор, – а мешок с сахаром могу двумя пальцами поднять».

Воистину второе поколение бывших сумело адаптироваться к жизни под перманентно карающим оком, выплатило ему неизбежную дань пересортицей – не по расстрельной первосортной 58-й, а по лёгким уголовным статьям низших сортов. Много лет спустя, размышляя над причинами мгновенного краха СССР, Каргин придёт к выводу, что при всём желании люди, чьи родители были расстреляны или долго сидели, никак не могли любить СССР, хотя и вынуждены были существовать по его правилам. И, в силу самой человеческой природы, не могли, даже если бы и захотели, воспитывать своих детей как истинно советских граждан. К тому же советская власть деятельно плодила новых бывших, истребляя то военных, то инженеров, то кулаков, то правых или левых уклонистов вкуче с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и далее по бесконечному списку. СССР рухнул (как воздушный шар с Лениным в корзине), когда человеческий груз потомков бывших перебил устремлённые ввысь стальные руки-крылья, загасил сердца пламенный мотор. Слишком много образовалось на социалистическом сердце рубцов. Инфаркт был неизбежен.

А ещё СССР можно было сравнить с шубой, где под красным, застёгнутым на ядерные с серпом и молотом пуговицы верхом, скрывалась труха. Стоило только шубу слегка потрясти, и она осыпалась,



расползлась на клочки. Только ядерные (уже без серпа и молота) пуговицы пока что препятствовали разборке и выносу шкафа, где некогда висела шуба, а сейчас хозяйничали жуки-древоточцы.

Из всех преферансистов только Пал Семёнович честно отмотал свою десятку по правилам ока. За прошлое: в годы Первой мировой он, пехотный прапорщик, служил в составе русского экспедиционного корпуса во Франции, сражался во Фландрии и на Марне, где хватил иприта, пощадившего его глаза, но спалившего лицо. За настоящее: он утаил этот факт, работая в коммунистической бригаде на строительстве Каракумского канала в приграничной зоне. За будущее: Пал Семёныч – шпион Антанты и отъявленный монархист, планировал отравить в канале воду, которая в соответствии с великим сталинским планом преобразования природы должна была хлынуть в канал из сибирских рек в семидесятых годах, то есть ровно через тридцать (Пал Семёныча посадили в сороковом) лет.

На скрывающемся от обысков в кукурузе, треплющего всеу имя Ленина Жорку Бог, по мнению Димы, должен был в лучшем случае посмотреть с отеческой укоризной.

И – с недоумением на Порфирия Диевича, вынужденно взявшегося лечить изнывающего от кожного зуда Посвинтера. Тот поселился в доме на другой стороне улице у бухарских евреев, можно сказать, почти что у себя дома, так что ходить на врачебные процедуры ему было удобно.

Посвинтер, однако, оказался не сильно пунктуальным пациентом. В Мамедкули у него не могло быть дел, из-за которых он мог опаздывать на приём к Порфирию Диевичу, но он постоянно опаздывал. А однажды явился в самый разгар преферанса,

то есть совершил нечто немыслимое. Порфирий Диевич его бы не пустил. Калитку открыл Дима.

«Ну почему, – пробормотал себе под нос, косясь на мнущегося у стола с закусками Посвинтера, Порфирий Диевич, – она всегда выбирает пустые... коробки? Что это... недоразумение, что... муж Ванька... Ты ешь, ешь, Яша, а хочешь – выпей», – откашлявшись, громко предложил он.

«Спасибо, – не стал отказываться, торопливо ухватил с тарелки бутерброд Посвинтер. – Если можно, посмотрите меня сейчас, а то... Мне потом часа два ходить в горах».

«Зачем?» – удивился Порфирий Диевич.

«А... Они не разрешают входить в дом, пока не выветрится. И ещё я хотел...»

«Ты им объяснил, что это лекарство, называется АСД, им лечат псориаз и экзему, – строго спросил Порфирий Диевич. – Объяснил им, что эти болезни не заразные?»

«Говорил, они не верят, что лекарство может так вонять. Говорят, он что, говном тебя мажет?»

«Вот как? Может, они ещё что-то говорят?» – нахмурившись, посмотрел на почёсывающегося, многодневно небритого, отрастившего в сжатые сроки какую-то устрашающую, чёрным огнём взметнувшуюся над головой, шевелюру Посвинтера Зиновий Карлович. У него были свои счёты с бухарскими евреями, особенно с отцом семейства, носящим библейское имя Лазарь и служившим на базе Зиновия Карловича экспедитором. Что-то не так делал этот Лазарь.

Отвечая на вопросы, Посвинтер успел полностью – до круглой сияющей белизны – очистить блюдо с бутербродами и овощами, а в данный момент опустошал вазу с виноградом и абрикосами.



«Где ты питаешься, Яша?» – любопытствовал Зиновий Карлович.

«Ещё говорят, что если бы я не был евреем, они бы меня давно выгнали, – выстрелил в ладонь абрикосовой косточкой Посвинтер. – А питаюсь я в столовой на площади. Ещё в чайхане на верблюжьем базаре. Там плов».

«Прервёмся минут на десять, – положил карты на стол Порфирий Диевич. – Пойдём, Яша», – увёл Посвинтера в кабинет.

«Мы играем обычно четыре часа, – произнёс Зиновий Карлович, – три или четыре здоровых мужика... И всегда, – кивнул на столик с провизией, что-то на тарелках остаётся. Сейчас, – посмотрел на часы, – прошло полтора часа, мы ещё ни к чему не притрагивались. Как же он это всё так быстро съел? Это... больше, чем четыре утки».

«Бухарцы заморили голодом», – предположил ироничный, всегда чисто выбритый, в свежей рубашке, брюках со стрелками и начищенных летних штиблетах энергетик Лалов. Постоянная близость к воде как будто освежала его внешний вид. Дима заметил, что даже после горячего зелёного чая Лалов, в отличие от остальных, никогда не потел.

«А может, лекарство улучшает аппетит?» – предположил Пал Семёныч.

«Этот парень не производит впечатления больного», – пожал плечами Зиновий Карлович.

«Скорее, выздоравливающего. Я бы сказал, дико выздоравливающего», – уточнил энергетик Лалов.

4

Днём, когда Порфирий Диевич был на работе, а Патыля возилась на кухне или ходила с тряпкой по комнатам, Дима подолгу смотрел из окна на другую сторону улицы, где жили бухарцы.

Трёх сестёр звали Рахиль, Роза и Софа. Старшая – Рахиль – была почти что взрослая – носила очки и любила сидеть с толстой книгой на скамейке у дома под огромным одичавшим урюком, в ветвях которого шумно скандалили птицы. Роза была моложе Рахили, но года на три старше Димы. Она всё время что-то ела, даже на скамейке сидела с тарелкой. А если шла по улице, путь её было легко отследить по скатанным в цветные шарики конфетным обёрткам. Роза была толстая и добрая, часто угощала Диму конфетами и семечками, а один раз даже вынесла ему на газете кусок фаршированной щуки. Но Диму куда больше интересовала Софа, которая ни разу ничем его не угостила. Софа, как и он, перешла в пятый класс, училась, как сообщила Диме Роза, на одни пятёрки, а ещё играла на пианино. Софа ходила в белом платье, в белых носочках и с белым бантом в чёрных, мелко вьющихся волосах. У неё было смуглое личико с маленьким, как у мышки, носиком и капризными, часто надувающимися губками. Софа любила прыгать через скакалку, была настоящим виртуозом этого дела, прыгала разными способами. Дима и подумать не мог, что их так много. Когда она прыгала, скрестив руки, белое платье взлетало вверх, открывая точёные и ровные, как у куклы, тёмные ножки и белые трусики. Время как будто останавливалось, точнее исчезало. Дима был готов вечно смотреть, как взлетает вверх парашютиком Софино платье, отскакивают от земли красные сандалии, мелькают белые трусики... Облачные, как у того, ушибленного о жестяную лампу жука-носорога, крылья вспенивались у Димы за спиной, и он летел к звёздам, хотя на улице ещё был вечер и солнце только собиралось утонуть в море.



Порфирий Диевич давно вернулся за стол и мрачно объявил, что будет играть мизер.

Посвинтер как-то странно – в два гигантских летучих шага – выскочил на улицу, выхватив из вазы последний абрикос. Ночной ветер поперхнулся было АСД, но быстро разогнал напоминающий о бренности бытия и саване смердящем запахе по возмущённо зашелестевшими листьями деревьям.

Дима вдруг подумал, что, быть может, это на него, замершего у окна, и на прыгающую через скалку Софу смотрит каждый вечер Бог, когда на Мамедкули опускается тишина, а солнце опускается в море и светит оттуда зелёной лампой?

А потом он почему-то вспомнил про сарай, где в одной половине жили куры с петухом и голуби, а в другой – хранились старые вещи.

Там стояли огромные с раструбами кожаные охотничьи сапоги Порфирия Диевича. Дима не мог представить себе зверя, на которого можно было бы охотиться в таких сапогах. От долгого неиспользования сапоги окостенели, так что надеть их было проблематично. К тому же внутри одного сапога определённо слышалось какое-то шуршание. Патыля предупредила Диму, чтобы он всегда проверял обувь, прежде чем надеть, потому что туда любят забираться скорпионы. Если скорпионы могли забраться в крохотные ботинки Димы, кто же тогда шуршал внутри стоящих как колонны сапог? Дима не сомневался, что это тарантулы, или как их называла Патыля, каракуты. Однажды она показала Диме этого самого тарантула-каракута. Чёрный, с мохнатыми ногами и жирным шевелящимся задом, он сидел на дувале, видимо, высматривая, кого бы смертельно ужалить. Патыля бросила в него комок глины, и паук мгновенно переместился на другую – недоступную – сторону дувала. Патыля

сказала, чтобы Дима не ходил в курятник, потому что пауки часто заползают туда и едят яйца.

Но Дима всё равно ходил. Его, как маленький гвоздик магнит, притягивали к себе старые вещи. Тревожно миновав опасные сапоги, он усаживался на пыльный скрипучий стул и подолгу смотрел на чёрный странной конструкции велосипед с невозвратно спущенными шинами, облепленный помётом радиоприёмник с неожиданно живым и чистым стеклянным глазком над шкалой с нерусскими названиями городов, серую, колом (видимо, взяла пример с сапог) висящую на вешалке драную кожаную тужурку с широкими, как плавники, лацканами и деформированными накладными карманами, определённо хранящими память о некогда находившемся там маузере. Диме очень хотелось проверить их содержимое, но карманы были идеальным жилищем, если не для тарантулов, то для скорпионов точно. Поселиться в карманах им было ещё проще, чем в сапогах.

Он узнал у Порфирия Диевича, что это дамский велосипед, купленный для дочери «на вырост». Дед рассказал Диме, что в тридцать девятом году торговля с Германией сильно оживилась, и даже в Мамедкули – через Иран – стали попадать немецкие товары. Сапоги, как выяснилось, были привезены из Австрии вместе с другими военными трофеями, а кожаная куртка с выдраным на задку клоком принадлежала прадеду Димы Дию Фадеевичу.

В один из летних приездов Дима вытащил велосипед из сарая, отмыл из шланга, он заблестел, как новенький. Но не всё оказалось просто с этим велосипедом. Приглядевшись, Дима с изумлением обнаружил, что протектором на спущенных шинах, которые он безуспешно пытался надуть автомо-



бильным насосом, служила... выпуклая свастика. Собственно, поэтому велосипед так хорошо и сохранился. Его лебединая песня навеки оборвалась 22 июня 1941 года. Впечатывать в пыль или в прибрежный песок свастику даже в Мамедкули, где как-никак, но функционировала советская власть, было опасно, если не сказать самоубийственно. Всё равно, что вставить ногу в кожаный сапог с тарантулами. Заменить же фашистские шины на правильные советские (их, правда, не изготавливали с протектором в виде серпа и молота) возможным не представлялось, поскольку колёса велосипеда были нестандартного размера. Гитлер всё предусмотрел.

Оставив в покое велосипед, Дима занялся приёмником фирмы «Telefunken». Он был одет в неподвластный времени – эбонитовый? – корпус, легко переживший когтистое пребывание на нём многих поколений петухов. Почему-то они предпочитали отдыхать не как положено – с курами на насесте, – а на приёмнике. Ни единой царапины не обнаружил Дима на (эбонитовой?) цвета спелой вишни поверхности, когда соскоблил с неё многолетний слой помёта. Последнего петуха Диме пришлось сгонять палкой. Петух, похоже, относился к приёмнику, как к любимой курице, а потому всячески мешал Диме к нему приблизиться.

Извлечённый на свет белый, «Telefunken» смотрелся, как новенький. Когда Дима входил в сарай и снимал с него дерюгу, ему казалось, что он находится в каком-то тайном фашистском бункере. Все ручки крутились, фосфоресцирующая линейка исправно бегала по шкале, натываясь на фантомные названия городов – Danzig, Konigsberg и даже Stalingrad. Хотя некоторые фантомы обнаруживали склонность к материализации во времени и про-

странстве, как, например, присутствовавший на шкале Sankt-Petersburg, который в те годы именовался Ленинградом. Вот только не было шнура со штепселем, чтобы включить «Telefunken» в сеть. На задней панели Дима обнаружил (опять в виде свастики, как без неё?) отверстие с четырьмя дырочками по периметру древнего арийского знака плодородия. Ни один советский кабель к нему не подходил, а куда делся германский, Порфирий Диевич не помнил.

Он рассказал Диме, что когда наши войска в сорок первом двинулись в северный Иран, у всех жителей Мамедкули конфисковали радиоприёмники.

«Мы перетащили его в курятник. Я его слушал, пока не ушёл в армию, – сказал Порфирий Диевич, – и когда вернулся, слушал – до самой тюрьмы... – вдруг замолчал. – А когда вышел из тюрьмы, – продолжил после долгой паузы, – шнура не было. Да я его и не искал. Сто раз бы выбросил этот гроб, но уж очень тяжёлый».

«То есть, штепсель подходил для нашей розетки?» – не отставал Дима.

«Наверное, был какой-то переходник, – пожал плечами Порфирий Диевич. – Но вход точно был не как у нас, а с четырьмя длинными штырьками».

Неужели, подумал Дима, когда за столом установилась тишина, нарушаемая лишь шлёпаньем карт, скрипом карандашей, сухими щелчками бьющих в жестяной колпак лампы, как в барабан, насекомых, Бог смотрит и на... меня, и... на старые вещи в сарае? Но какой прок от велосипеда, на котором нельзя ездить; от радиоприёмника, который нельзя слушать; от древней кожаной тужурки с выдранной задницей, которую нельзя носить и... от меня?



«Узнаешь!» – вдруг явственно расслышал он.

«Кто это сказал?» – голос Димы в звенящей ночной тишине прозвучал одиноко и глупо.

«Что сказал?» – удивлённо переглянулись игроки.

«Иди-ка ты, дружок, спать. Поздно уже», – посоветовал Порфирий Диевич.

«Наверное, это она, – оттянув на животе сетчатую майку, подмигнул Диме Зиновий Карлович. – Больше никому. Если, конечно, среди нас не завёлся чревоушитель».

Дима в недоумении посмотрел на его майку. Она собралась на животе Зиновия Карловича складками. Одна складка отдалённо напоминала растянутый в безобразной ухмылке рот.

«Услышишь!»

Дима был готов поклясться, что с ним разговаривала она – продувая ночным ветерком, сетчатая майка. Только Зиновий Карлович никак не мог быть богом. А майка никак не могла разговаривать.

Птица детства

В темноте иду на ощупь
 За своей звездой.
 Птица горлышко полощет
 Ключевой водой.
 Ах, как сладко замирает
 Сердце под рукой.
 Уголок земного рая –
 Рядом – за рекой.
 Голубые медуницы
 Источают мёд
 Я не знаю – что за птица
 Так светло поёт.
 В этой песне столько силы,
 В ней и смысл, и суть...
 Я б сама её спросила
 Да боюсь спугнуть.
 Широко открыты глазки,
 Рядом – никого.
 Знаю я – она из сказки
 Детства моего.

О ты, кем жила я

О, если б ты знал,
 Как я мёрзла и как я болела,
 Когда твою лодку
 Прибило к чужим берегам.
 Не знаю сама,
 Как я в этом аду уцелела,
 С ума не сошла,
 Не спилась, не пошла по рукам.
 А ты обрубил
 Все концы, все узлы, все канаты,
 Разрушил мосты



**ВАЛЕНТИНА
 ДМИТРИЧЕНКО**

Поэзия



И поджѣг, и оставил в золе
Всѣ то, что для нас
Испокон – непреложно и свято,
Что было ценней
И дороже всех благ на земле.
О, если б ты ведал,
Насильно в тартар уведѣнный,
Где радость и горе
Уже не со мной пополам –
Как страшно мне было
В большом остывающем доме
Метаться по этим
Пустым и холодным углам.
О, ты – кем жила я,
Кто был мне и светом и тенью,
Кому я ни вдохом,
Ни выдохом не солгала –
Я буду у Бога
Просить для тебя снисхожденья,
За то, что любила...
За то, что любимой была!

Пообещай

Я обещаю, что не буду плакать,
Хоть обещанье смысла лишено...
А март с утра развѣл такую слякоть,
Что не заплакать было бы грешно.
Прости, прости, прости – я виновата,
Что жгу мосты, навеки уходя...
А за окошком лунная соната
Звучит на струнах первого дождя.
В осколках звѣзд дрожащие ресницы,
Но в сердце столько света и огня...
Пообещай мне, что не будешь сниться.
Пообещай, что вымолишь меня

У всех ветров – и северных и южных,
У всех моих сонетов и стихов,
У всех друзей и нужных, и ненужных,
У всех – какие б ни были – грехов.
Колодец счастья вычерпав до донца
Припомню я, уставшая от бед,
Как ты принёс мне на ладонях солнце
И я узнала, что такое свет!

* * *

Ещё насвистывают зяблики
И далеко до холодов.
И сад рассовывает яблоки
В пустые пазухи кустов.
А надо мной лоскутик просини
Хранит неяркий свет звезды.
И чую я дыханье осени
От зацветающей воды.
В глазах темно от света белого
И от признанья твоего...
И кроме ветра оголтелого
Во всей вселенной – никого!

Соловей

Синеглазый рассвет
Приподнял дымовую завесу
И открылось сознанию
Высокое время чудес:
Соловей хулиганил –
Он вторил то речке, то лесу
И смущённо пред ним
Замирали и речка и лес.
Он то плакал, то вдруг
В кураже заходилса от смеха,



То в бреду начинал
Что-то новое звуком творить.
Он сплетал кружева
И уже не могло даже эхо,
Как ни билось, увы,
Эту песню его повторить.
По опушкам цветы
Открывали глаза голубые,
Продираясь сквозь мох,
Сквозь коренья, листву, бурелом.
Онемев от восторга,
Про всё я на свете забыла.
Мне казалось, что ангел
Ко мне прикоснулся крылом...
А когда он смолкал,
Чтоб воды родниковой напиться,
Возвратившись в реальность
Недолгое время спустя,-
Начинали вещать,
До антракта молчавшие птицы,
Прославляя его,
Как любимое Божье дитя!

Прощанье с летом

Берёз последние гроши
Звенят по крыше.
И птицы в рощице души
Поют всё тише.
А я опять своей судьбы
Латаю бреши.
Не унываю, но, увы,
Смеюсь всё реже.
Качаюсь в старом гамаке,
Прощаюсь с летом...
О, Боже мой, в Твоей руке

Судьба поэта.
А ночью вдруг придут слова,
Терзая душу
И сиротливая листва
Озябнет в лужах.
Судьба отметила меня
Копьём и жалом...
Зато от бурь и от огня
Я возмужала.
Я на врага без страха шла,
Подняв забрало,
И больше, всё-таки, нашла,
Чем потеряла!

* * *

Отцвели клематисы и флоксы.
Паутинки льнут к моим губам.
Яблоки, пропитанные солнцем,
Катятся по гулким желобам.

Розы куст – совсем не по сезону -
Разорвав шипом паучью сеть,
Угольком последнего бутона
Хмурый сад пытается согреть.

Вот и мне – щетинистой и колкой –
Только и осталось впереди –
Красотой неброской и недолгой
До мороза первого цвести...

Чайник

В жизни случается всякое:
Сменится стужей жара...
Чайник с цветущими маками



Мне подарили вчера.
Сутки сплошного везения,
Мысли и чувства полёт.
Чайник весь день по-весеннему
Не унимаясь, поёт.
Я уже чувствую запахи,
Свежего ветра поток.
Бабочка крылышком бархатным
Нежно ласкает цветок.
С утренней зорьки до полночи
Радостно сердцу – пока
Свист соловьино-разбойничий
Слышат и лес, и река.
Выцветут чёрные полосы,
Вместе, была ни была,
Будем мы петь на два голоса
До наступленья тепла.

* * *

А над землёй – такая тишина...
Течёт в окно луны созревшей мякоть.
Опять душа над рифмой будет плакать,
Колодец ночи вычерпав до дна.
И будет дух над бездной воспаря,
Перебирать дождей цветные струны,
И праздных слов магические руны
Душой поэта вдруг заговорят.

Встреча с отцом

В светлый день юбилея Победы
 Я к отцу, как обычно, пришёл –
 И стакан с коркой чёрного
 хлеба
 Тихо встал на кладбищенский
 стол.

Видишь, батя, летят наши годы –
 И всё дальше Победа твоя.
 И с какой-то такой непогоды
 Голова всё белее моя.

В этой жизни хлебнул ты
 немало –
 Покуражился рок над тобой,
 И почти тридцать лет
 миновало,
 Как ушёл ты в последний
 свой бой.

А в эпоху вранья и раздора
 Под диктовку чужих запевал
 Растащили страну мародёры,
 За которую ты воевал.

Вылью стопку на холмик
 заветный.
 Видит Бог, ты, отец, не один
 Мать Отчизну любил
 безответно
 В пору самых суровых годин.

Слышишь, батя, как сильные
 всходы
 Рвут собой, как асфальт,
 небосвод.



**АЛЕКСАНДР
 КОМАРОВ**

Поэзия





И предателей время проходит –
Просыпается русский народ.

И недаром же в праздник свой лучший
У колонны большой на верху
Ты сегодня прошёл с твоей внучкой
В легендарном Бессмертном полку.

Русская весна

Играем в русскую рулетку!
Но только – полный барабан!
В тот барабан заправил некто
Подлог, предательство, обман.

Верёвка вьётся, вьётся, вьётся,-
Конца не видно что-то ей.
И дьявол пакостно смеётся
Над Русью праведной моей.

Он много лет своим искусством
БЕСжалостным овладевал
И, выбирая самых русских,
Всех убивает наповал.

А мы, которые остались,
Неужто станем вроде мух?!
Смотри – весна с цепи сорвалась,
Несёт свободный русский дух!

Иконы плачут и берёзы,
Но тают гиблые снега...
Утри, Россия, свои слёзы,
Чтоб лучше высмотреть врага!

Я вам шепчу

Я вам шепчу свои слова
Издалека, оттуда,
Где не растёт уже трава,
И не берёт простуда.

Я тоже прожил здесь свой век,
Весь изошёл словами.
И вот кружу, как белый снег,
Как белый снег над вами.

Остались мысли и дела,
Да молодость былая.
А вся земля белым-бела,
Как матушка седая.

Летит, летит и кружит снег
На всём на свете белом.
И одинокий санный след
Уходит прямо в небо.

Вы не печальтесь обо мне,
Не плачьте, дорогие.
Парю неслышно в вышине
И вижу вас, родные.

Я тоже прожил здесь свой век,
Весь изошёл словами.
И вот кружу, как белый снег,
Над бедными, над вами...

Отзвенело лето

Вновь прохладные рассветы
Остужают жар в крови,



Отзвенело наше лето,
Отсвистели соловьи.

В светлой роще тополиной
Под ногой шуршит листва,
Словно кто неторопливо
Шепчет о любви слова.

На бескрайнем небосводе
Клин усталых журавлей
Вдаль летит – и жизнь проходит,
Но об этом не жалей.

Заискрил на ветках иней,
Холоднее с каждым днём,
Но поверь, твое лишь имя
Греет ласковым огнём.

Сердце бьётся, сердце хочет
Взвиться птицей из груди.
Ах, какие дни и ночи
Ждут ещё нас впереди!

Шумят друзья

Шумят друзья мои, поэты,
За рюмкой чая иногда
О жизни, смерти и бессмертье,
О том, куда летят года.

Блеснёт ли кто удачной строчкой,
Иль свежей мыслью поразит –
Струится дым табачный, точно
Сама Поэзия сквозит.

Что толку мучить воду в ступе,
Как медью, рифмами звеня?

Ты, молча, доберись до сути
Тебе отмеренного дня.

Прорвись, пробейся, докопайся,
До горизонта дотянись.
А на тусовках не толкайся,
Не мельтеши, не суетись.

Найди единственное средство,
Отбросив споры ни о чём:
Мир сиротлив – подставь плечо,
Чтоб смог он в горе опереться..

Сентябрьское лето

Мне жаль немного и не жаль,
Что ветер листья носит, носит,
И чувства, словно под вуаль,
Заботливо скрывает осень.

Она опять. Но в сентябре
Её прозвали бабьим летом
За холод скуки на заре,
За страсти взрыв перед рассветом.

Кружи, кружи, прощальный лист,
Недолго до земли порхая!
Какая даль! Какая высь!
И благодать вокруг какая!

А ты, любимая, поверь,
Что это добрые приметы,
И листья жёлтые примерь,
Пока в природе бабье лето.



Пока не гаснет жар в крови,
Пока душе тепло от света,
Напейся солнца и любви,
Пока в природе бабье лето...

– Дай пять! – я клёну говорю
И, слыша в небе птичью стаю,
Его ладонь в свою ловлю
И жизни линии читаю.

* * *

Мужчина порох создаёт,
А женщина – похлёбку.
Она святую воду пьёт,
Ну а мужчина – водку.

Мужчина в грудь себя стучит –
Вот я какой мужчина!
А женщина, она молчит
И грудью кормит сына.

Мужчина смел в своих речах
И за весь мир хлопчет,
А женщина хранит очаг
И мира миру хочет.

Мужчина может воевать,
Погибнуть в схватке жаркой.
А женщина, она ведь мать –
Ей всех на свете жалко.

Мужчина, чтобы отомстить,
В лепёшку расшибётся.
А женщина скорей простит
И снова улыбнётся.

Но откровенный женский взгляд
И слёзы без причины
Сумеет только Бог понять...
Поскольку Бог – мужчина

Ненаглядная

Мы на жизненной дороге
Дружим крепче, чем семья.
Предназначена мне Богом
Ненаглядная моя.

Сколько раз с тобой встречались
В сельской ласковой глуши,
В гущу трав мы забирались
И старались от души!

С юных лет я это начал.
В общем, знаю все дела,
Чтоб в руках моих горячих,
Как игрушка, ты была.

Под мужским суровым взглядом
Никогда не скажешь: нет.
Когда надо, сколько надо
Я могу тобой владеть.

По селу иду я смело,
Стройный стан сжимая твой,
В день по разу всю неделю
И два раза в выходной.

Видит Бог, как часто гладил
Ручку лёгкую твою!
Я тебя чужому дяде
Никогда не отдаю!



В жизни не было момента,
Чтоб тебе я изменил.
Может быть, лишь президенту
Я тебя бы подарил.

Лучше всех ты на планете.
Без тебя мне не прожить.
Буду я опять всё лето
На руках тебя носить!

Некогда тужить

Опять заплакал мелкий дождь осенний.
Льёт на поля, на речку и луга.
Россия-мать, Расеюшка, Расея
Нам при любой погоде дорога.

Нам дороги родимые просторы.
Мы ни на что их не хотим менять.
Ах, как пусты все споры-разговоры,
Что матушку умом нам не понять!

Её всегда мы сердцем понимали.
И потому она у нас в груди.
И сколько б нас ни гнули, ни ломали –
Мы видим свет, который впереди.

Мы видим свет – пронзительный, не бледный.
Россия только этот свет даёт.
Мы за неё пойдём на бой последний:
Пусть мы умрём – Отчизна не умрёт!

* * *

Проснёшься вдруг, а мир
 вокруг – иной...
 Под рухнувшей Берлинской
 Стеной
 накрылась звонкой медью
 страсть к обману.
 Привыкшим побеждать любой
 ценой
 триумф уже почти не по
 карману.



**ЕКАТЕРИНА
 ПОЛУМИСКОВА**

И бог не выдаст, и свинья
 не съест
 того, на чём почти поставлен
 крест.
 Почти не по нутру глоток
 абсента,
 чтоб с именем вождей бродить
 окрест -
 вождей, почти сошедших
 с постамента.

Поэзия

И всё ж – глотни, и в прошлое
 шагни.
 Троянская ли, скифская эпоха,
 и ариев священные огни –
 всё это в нас теперь. А кто они,
 "проростки" из семян
 чертополоха?



Кому-то и сегодня нипочём
 в пожар войны подбрасывать
 поленья.



И вновь поддержит шар земной плечом
Мать-Родина, взмахнувшая мечом –
без колебаний и без сожаления!

* * *

Сквозь лабиринт чёрно-белых причудливых линий
на мониторе смотрю оцифрованный фотоальбом.
Ведь посчастливилось деду дойти до Берлина,
словно до Марса, пешком!

Сколько их было, ранений, смертей и контузий?
Год Одна Тысяча Девятьсот Сорок Пять,
лентой Георгия прочно завязанный
в узел – не разорвать!

Всё ещё держат над нами их души, бесплотные
птицы,
шитый зениткой, салютом залатанный тот
небосвод
за обещание помнить, молиться, гордиться –
потери не в счёт.

Вот и гордимся, и молимся – чтоб не пешком,
но до Марса,
чтоб "Мономах" с "Долгоруким" вертели свои
"булавы",
чтобы история наша писалась без лишнего фарса,
с новой главы.

* * *

Ноет под сердцем осколок железный,
горькую память о прошлом храня.
Семьдесят лет по канату над бездной
к призрачным далям грядущего дня.

Слышится в этом свободном паренье
эха войны нарастающий гул.
Верит ли нынешнее поколение
тем, кто когда-то канат протянул?

Нет под ногами надёжнее тверди,
тысячи судеб связавшей в одну,
и миллионов, что преданы смерти,
спаяны душами, слиты в струну.

Криком ли, стоном, малиновым звоном
вымощен этот над пропастью путь?
Нам бы, разрозненным да разделённым
не заблудиться и не соскользнуть.

Только б не спутать, что пусто, что свято,
и убедиться – забвения нет,
нет и прочнее на свете каната
семьдесят мирных, неистовых лет

Из цикла «Мастера»

* * *

Музы воспряли.
Всё к празднику было готово.
Арфы настроены, с уст уже снята печать.
Но оборвалось струной не рождённое слово,
будто скомандовал кто-то опять промолчать.

Что ж, так привычно теперь золотое молчанье.
Кесарю кесарев – слесарю слесарев труд.
Жалко, что крымского ветра свободным дыханьем
пепел Донбасса развеют и в прах разотрут.



Жаль, что якутских алмазов на всех не хватило,
что перебрали с глупцами, и мало дорог.
Газовый факел, затмивший дневное светило,
хоть и не вечный, но всё ж не развенчанный бог.

Музы, смиритесь.
Судьба у России такая –
биться за жизнь и не слушать ваш ангельский хор.
Дикая степь и тайга, да пучина морская
снова за вашей спиною ведут разговор.

Может быть, лживые сказки да песни плохие
не разорвали порочную, адскую сеть,
не укротили безумные эти стихии.
Музы, молчите!
Не время, не место вам петь.

Маугли

Когда в тебе проснётся древний Ка,
и на призыв душа твоя ответит,
и волчья стая вззоет на рассвете
при виде искры Красного Цветка,

беги из джунглей каменных своих
туда, где корень тайны – Мандрагора,
где Киплинга поэмы и Тагора,
Владычным Словом наделённый стих.

И первобытный призрачен костёр,
и чужд притворству, и далёк от буден,
и Маугли, что не вернётся к людям,
и коршун Чиль, что крылья распростёр.

Робинзон

Что нужно человеку, чтоб прожить
на острове, как Крузо, в одиночку?
Ружьё, топор, перо, бумага, бочка,
игла и шило, нож, пенька и нить.

И календарь, чтобы с апрелем май
не спутать. Попугай, собака, кошка,
хотя бы деревянная, но ложка,
да горсть зерна, да щедрый урожай.

И всё ж, мечта любого "дикаря" –
увидеть звёзды в полдень из колодца,
да было бы за что и с кем бороться,
и жизнь, считайте, прожита не зря.

И каждую секунду, хоть во сне,
хоть наяву, решительно и просто
понять, что ты покинешь этот остров
вплавь, на плоту, на лодке, на бревне.

И старость рваным парусом мелькнёт
у горизонта, не дождавшись штиля,
хотя тебя на Родине забыли
и возвращенья твоего не ждут. И вот...

Среди своих – легенда и герой,
почтенный муж, кумир. Но неизменно
во сне тебя несёт на край Вселенной
к земле, очеловеченной тобой.



Ода Слову

Начни со Слова...
И когда-нибудь
предстанет мир листом бумаги белым,
и вновь Творец своим пером несмелым
предначертает нам в тумане путь.

И станет Слово светом для людей.
И этим первозданным вдохновеньем
исполнятся летящие мгновенья
от сотворенья и до наших дней.

И вот Язык, великий и простой –
и Лермонтов, и Пушкин, Бунин, Бродский,
Есенин, Маяковский, Заболоцкий,
Блок, Чехов, Достоевский и Толстой.

Поэзии и прозы мастера!
Лишь в вашей власти "альфа и омега".
И снова мир вокруг белее снега,
заждался взмаха вещего пера.

И пусть грядут иные времена,
но речь жива, и Слово – неизменно,
и маяками светят во Вселенной
России золотые имена!

Гроза мира

Фантазия для юношества

Часть третья¹

Последняя борьба

I

Митинг в Калькутте

Ослепительно яркое тропическое солнце еще не достигло зенита. Оно изливало свои лучи на землю, где от нестерпимой жары, казалось, должно было бы попрыгаться в норы все живущее, чтобы не сгореть заживо. Однако разноцветная, многошумная толпа, заполнившая всю площадь от края до края, не думала обращать внимания на губительные солнечные лучи, раскалившие почву и стены бэнглоу так, что они представляли из себя одну огромную пылающую жаром плиту.

Многоголовая гидра, называемая толпой, волновалась, как море. Людские волны были в непрерывном движении. Белые, синие, красные и зеленые тюрбаны на головах издали напоминали цветник, но цветник живой, волнующийся. В толпе,

¹Окончание. Начало в № 2 2014 г. Печатается в сокращении.



**ИВАН
РЯПАСОВ**

Неизвестная классика





по благородной осанке и высокому росту, без труда можно было сейчас же отличить раджутов в сергах и ожерельях, сикхов с умными выражениями лиц, обрамленных белым тюрбаном, смуглых сингалезцев, едва прикрытых одеждой, и парсов с черными уборами, наподобие митр. Огромное количество высоких стройных чалмоносцев часто прорезывалось белыми пятнами темнокожих, крепких баб с непокрытыми головами, не боящимися солнца.

Иногда индусская толпа расступалась, чтобы дать дорогу важно выступающему брамину в белой одежде или надменному англичанину, а затем опять тесно смыкалась.

Вот среди народа произошло движение. Носители тюрбанов поспешили стесниться к середине площади, где над головами всех поднялся человек, видимо намеревающийся говорить. В стороне, там, где площадь кончалась, сиротливо стояла кучка людей в европейских костюмах, беседующих между собою. Среди них были две дамы.

– Так вы думаете, что Англия не поддержит Турцию в ее войне с Италией? – говорила по-французски маленькая брюнетка, смотря на живописную толпу.

– Не только в войне, а даже и в мире, – смеясь, ответил плотный господин с бородкой, в котором без труда можно было узнать доктора Руберга. – С какой стати Англия будет вмешиваться в эту борьбу?

– Но, ведь, вот ее подданные – мусульмане – из сочувствия своим единоверцам требуют окончания войны. Вы видите, они охвачены серьезным негодованием. С мусульманским населением Индии шутить не приходится, с его мнениями надо считаться.

– Взгляните-ка, m-lle, туда, что вы там видите? – сказал молчавший до сего времени высокий, стройный европеец с черными глазами, указывая рукой поверх линии домов, где вдали, ясно вырисовыва-

ясь в безоблачной синеве неба, виднелись высокие, крепкие стены с жерлами пушек.

– Что там? Очевидно, крепость, – заметила француженка, взглянув по указанному направлению.

– Да, форт Вильям, – повторил высокий европеец, в котором читатель, без сомнения, уже узнал инженера Березина. – Форт господствует над всей Калькуттой и в нем англичане имеют такой аргумент против мусульман всей Индии, что им не остается возразить ничего.

– Неужели, мистер Березин, мои соотечественники решатся на это? – заметила с ноткою беспокойства в голосе другая молодая дама, стоявшая рядом с инженером.

– Ваши здешние соотечественники еще и не на это способны, – жестко сказал инженер. – Вспомните-ка восстание индусов в 1860 году? Сколько жителей было расстреляно в Каунпуре, в Дели и других городах. То же будет и с мусульманами, если они в своих желаниях пойдут дальше выражения словесного протеста против турко-итальянской войны.

– Ах, не говорите ужасов, мистер Березин! Взгляните-ка лучше на оратора, который, очевидно, произносит речь в защиту мусульманства, – сказала француженка, указывая на площадь.

В центре толпы человек в зеленой чалме ораторствовал, усиленно жестикулируя. Притихшие людские волны с напряжением слушали речь оратора и по окончании ее стали шумно выражать свое одобрение.

Ни русские, ни их спутники из сказанного не поняли ни слова. Но им было приятно присутствовать при восторженном подъеме духа пестро-цветной восточной толпы, обычно сумрачной и не склонной к шумному выражению своих чувств. С истинным удовольствием они следили за проявлением жиз-



ни в этой незнакомой, сказочно – яркой, красочной стране.

Но как попали наши путешественники в столицу Индии из Бломгоуза, затерянного в суровых горных цепях Гималаев?

Дело было просто. Мистер Блом решил в одну из очередных поездок в Индию, с которой он поддерживал регулярные сношения, взять с собою женщин, трех русских и Гобартона.

Они совершили прекрасное путешествие, редчайшее по открывающимся с высот картинам природы. «Левиафан» плавно поднялся из своего убежища и, работая одним пропеллером, направился к югу. Дикие скалы и снежные вершины сменялись глубочайшими долинами, куда с шумом стремились бурливые потоки. Скоро показались зеленые склоны Гималайских нагорий, спускающиеся к Пенджабу. На тучных пастбищах бродили огромные стада домашнего скота.

Внизу путь аэроплану пересекла широкая серебристая лента реки. Мистер Блом сообщил путешественникам, что это виден Инд, с верховьев которого можно проникнуть в Бломгоуз..

Все были чрезвычайно оживлены, за исключением мрачного Гобартона. Доктор заполнял свободное время рассказами о своих приключениях во время охот на буйволов и слонов в Африке.

Софи и ее нареченный Горнов ежеминутно тормошили добродушного холостяка, не давая ему ни отдыха, ни сна. Мисс Кэт, веселая и как будто еще более похорошевшая, часто обращала свои взоры, полные любви и восторженности, на Николая Андреевича, которого доктор уже успел прозвать на корабле «дамским угодником». По правде, инженер и не заслуживал этого наименования, потому что он угождал лишь мисс Кэт, оставляя в стороне француженку.

Только один человек на аэроплане не хотел или не мог ничего видеть и замечать, это был мистер Блом, всегда одинаково корректный и ровный ко всем. В свободное время он с удовольствием слушал доктора, продолжал беседовать по разным вопросам с Березиным, причем последний не упускал случая ознакомиться со способами управления воздушных кораблей.

Путь направляли на Калькутту через Лагор, Дели, Агру, Каунпур, Бенарес и другие древние города когда-то богатого Индусского царства. Останавливались всего один раз около Агры, для того, чтобы взглянуть на жемчужину восточного творчества – великолепный мавзолей Тадж-Магал, сооруженный одним из великих Моголов – Шах-Джаханом.

Еще издали чудеснейшее произведение индусского искусства, утопающее в зелени сада, поразило взоры путешественников своею воздушностью, красотой стиля и полнотой художественной законченности. Эти купола, минареты, колонны, террасы все из чудного белого мрамора, выступали перед ними на фоне тропической растительности, как величественное и изящное виденье рая.

Но внутренность мавзолея превосходила всякое ожидание. Саркофаг Шах-Джахана и его жены, равно как и стены залов сверкали мозаичными цветами и надписями тонкой артистической работы из яшмы, ляпис-лазури, агата и других ценных камней. Цветы были настолько натуральны, что их легко было принять за живые: словно, лишь вчера сорвали и положили их на этот белый атлас мрамора.

– Какая прелесть! Какое дивное сочетание цветов! Эта мечеть, действительно, чудо искусства! – неслось со всех сторон.

– Этим мавзолеем Шах-Джахан хотел создать памятник своей жене, – говорил мистер Блом. – Я могу



вас ознакомить с легендой о происхождении этого дивного сооружения.

– О, пожалуйста, пожалуйста, мы вас просим, – заговорили все.

– Много лет прошло с тех пор. Великие Моголы владели Агрой и большею частью Индостана, – начал свой рассказ ученый. – Велик и славен был восточный император Шах-Джахан, обладавший несметными сокровищами, чудными дворцами, зелеными садами, стадами слонов и лошадей. Но не столь радовалось сердце Великого Могола обладанию престолом, тысячами подданных, сотнями боевых слонов и всеми доступными человеку сокровищами мира, сколько сладко трепетало при мысли, что оно является властителем дум и обладателем прелестнейшей жемчужины Индии, цветка всего гарема – прекрасной Мумтузы... Повелитель мусульман сам был покорен глазами этой принцессы, названной им «светом мира».

В течение нескольких лет Мумтуза, она же принцесса Нур-Магал, доставляла отраду сердцу повелителя востока. Неожиданно явившаяся смерть вырвала красавицу из рук ее мужа и унесла туда, откуда нет возврата. Горе Шах-Джахана по любимой жене было безутешно. Сильна была любовь его к Мумтузе, и решил он поставить ей такой памятник, который настолько бы превосходил все другие, насколько сама Нур-Магал была выше всех женщин.

Шах-Джахан созвал лучших мастеров Индии, предоставив им тысячи рабочих и драгоценнейшие материалы, какие только мог достать. Белый мрамор добывали в Кандагаре, красный гранит привозили из Мейварских гор, карнолин, агат, яшму, ляпис-лазурь – отовсюду.

Почти пятнадцать лет ушло на постройку Тадж-Магала и израсходовано более 25000000 – громад-

ная сумма по тому времени. Шах-Джахану удалось воплотить в мраморе свою мечту об образе очаровательной Мумтузы. Он имел намерение на противоположном берегу Джумны поставить такой же монумент из черного мрамора и соединить их мостом, но замыслы его были прерваны возмущением его сына, знаменитого впоследствии Ауренгзеба, свергнувшего своего отца с престола Великих Моголов. Ауренгзев заточил Шах-Джахана в крепость Агры, и строитель величайшего по красоте сооружения окончил свою жизнь пленником, оставшись верным памяти Мумтузы даже после смерти: перед ее наступлением он в первый и последний раз обратился к преступному сыну с просьбой: положить тело его рядом с прахом своей любимой, ненаглядной Нур-Магал.

Путешественники, будучи в восхищении, еле могли поверить, что Тадж-Магал – работа простых смертных. Невыразимая красота этого здания, любующегося водами голубой Джумны, превосходила все виденное до сих пор европейцами. Инженер признался, что ни одно произведение искусства, ни итальянские базилики, ни огромные соборы, вроде Кёльнского, Страсбургского или Св. Петра в Риме, ни произведения последних веков не произвели на него такого чарующего впечатления, как неизвестно кем сооруженный Тадж-Магал.

С этой драгоценностью, – сказал после осмотра мистер Блом, – может сравниться, и то отчасти, мечеть Моти-Месжид, выстроенная Великим Акбаром, мусульманским царем – Соломоном.

Осматривать Месжид было уже некогда. Все поспешили по дороге, усеянной остатками циклонических построек, обломками мраморных колонн, гранитных стен, к саду Шахлимара, за которым остановился воздушный корабль.



Через сутки «Левиафан» витал уже над Калькуттой, столицей и опорой Британского владычества в Индии. Дождавшись темноты, корабль опустился в развалины одного загородного храма. Через два часа после спуска путешественники находились в бэнглоу – каменном доме без рам, как и все жилые помещения в Индии. Бэнглоу был окружен тенистыми садами, в которых бананы занимали десятки сажен, а кокосовые пальмы упирались верхушками в самые небеса.

Но возвратимся к нашим героям, присутствующим в качестве зрителей на мусульманском митинге протеста против действий Италии.

– Ну и жара, – говорил доктор, непрерывно отирая пот, крупными каплями выступавший на его красном лице и такой же шее. – Не пора ли нам пойти в свое бэнглоу?

– Нет, нет! – запротестовали дамы. – Мы хотим осмотреть европейский город, тогда и возвратимся все вместе.

– Кстати, и митинг кончается, – проговорил Горнов.

Замечание оказалось верным – митинг кончался, ораторов не было видно, разноцветная толпа зашевелилась и скоро потекла по всем улицам.

– А, мистер Гобартон! – раздался голос доктора. – Чем можете нас порадовать? Нет ли каких свежих новостей? – задал он вопрос подходившему англичанину.

Все обернулись: на лицах большинства было написано недовольство, только доктор и Березин сохранили свое обычное выражение.

– Новостей никаких нет, доктор, – ответил Гобартон. – Но мистер Блом просил меня передать вам, мистер Березин, – обратился он к инженеру, – его желание видеть вас немедленно.

– Я вас провожу, – предложил английский инженер. – Я дорогу знаю, – закончил он, странно блеснув глазами, на что окружающие не обратили внимания.

– Вот и хорошо, – обрадовался Березин. – До скорого свидания, господа, – заключил он, направляясь с Гобартонем в ближайшую улицу.

Оставшиеся европейцы, насмотревшись на разнокалиберную толпу, двинулись к европейской части города в предшестве рослого индуса.

II

У вице-короля Индии

Два инженера, разговаривая, быстро продвигались вперед среди людского потока. Цветные чалмы, одеяния и самые лица мелькали, как в кинематографе, слепя глаза быстрой сменой цветов. Женщины в блестящих сари¹ с кольцами в ушах, а иногда и ноздрях, с обнаженною грудью, сменялись гордыми раджупутами с длинными волосами, или темными, как эбеновое дерево, сингалезами. Простоволосые и едва одетые бенгальские бабы, как стрижи, прорезывали толпу во всех направлениях, вечно торопясь куда-то. И все это разговаривало, кричало, жестикулировало, находясь в беспрестанном движении.

В узком переулке толпа еще более сгустилась. Впереди, очевидно, встретилось какое-то препятствие. Еще минута и оказалось, что там, около высокой каменной стены, происходит борьба. Мелькали десятки полуголых человеческих тел. Поток захватил двух европейцев, неожиданно очутившихся в самом центре схватки.

¹«Сари» подобие юбки.



Николай Андреевич хотел податься назад, взглянул направо и увидел, что Гобартона рядом уже не было. Вместо него около инженера очутились высокие фигуры полуодетых индусов. Один из них смотрел на инженера особенно выразительно. Николай Андреевич сунул руку в карман за револьвером, но его стеснили и вытянуть револьвер он не мог. В тот же момент Березин почувствовал, что его шею что-то обвило и сознание его покидает. Полузадушенный, он упал на руки индусов. На него накинули неизвестно откуда появившийся кусок ткани. Четверо индусов подхватили инженера и с быстротой направилась в проезд ближайшего двора, обнесенного каменными стенами.

Схватка сама собой прекратилась, борющиеся исчезли, движение восстановилось.

Гобартон стоял посреди улицы. Он окинул взором все пространство, и удовлетворенная улыбка растянула его рот. Березина нигде не было видно.

Англичанин обратился с вопросом о русском путешественнике к полисмену на ближайшей улице. Ответ получился отрицательный: «не видали».

Со спокойной совестью явился Гобартон к мистеру Блomu, который в наиболее прохладной комнате занимаемого ими бэнглоу писал записки.

– Разве мистер Березин отказался идти с вами? – спросил ученый, не отрываясь от своей работы.

– Нет, он отправился со мной, но по дороге с ним случилось несчастье, – ответил инженер.

– Несчастье!.. Опять несчастье? И с вами?.. – Мистер Блом вскочил с сиденья, сверкнув глазами на Гобартона.

– Расскажите, что случилось?..

Гобартон спокойно выдержал этот взгляд. Потом изложил все по порядку, утаив только свое промедление в погоне за индусами.



– Вы думаете, его похитили?

– Полагаю, что так, или случайно ранили в свалке и, испугавшись ответственности, решили взять его с собою, чтобы покончить с ним в укромном месте.

– Какая же цель может быть у похитителей и кто они?

– Может быть, надеются получить большой выкуп, если это простые разбойники. А может быть и служители Шивы.

– Поклонники богини Кали, секта туговдушителей?

– Да, они. Это всего вероятнее.

– Хорошо, – отвечал мистер Блом, – идите. Я позабочусь о розысках моего гостя. Надеюсь, еще успею.

Гобартон поклонился и вышел.

Спустя десять минут мистер Блом, одетый во все черное, поднимался по высокой, богато украшенной лестнице внутрь дворца наместников Индии.

Вице-королю, лорду Гардингу, доложили, что некий англичанин, доктор Блом, настойчиво просит назначить ему немедленную аудиенцию.

Лорд Гардинг, мужчина на вид лет шестидесяти, со строгим выражением лица, с минуту подумал, затем принял официальный вид и велел просить.

Ученый вошел в кабинет, вежливо, но с достоинством поклонился. Вице-король ответил тем же, но сесть не пригласил.

– Вы желаете что-то сообщить? – высокомерно обратился лорд Гардинг к вошедшему. – Если вы хотите оказать услугу правительству, будьте уверены, что оно вас не забудет.

– Я это знаю, – начал холодным тоном мистер Блом. – И явился просить об одной услуге: сегодня, менее часа тому назад, пропал, или, может быть, похищен с улицы Калькутты, мой гость, русский инже-



нер Березин. Прошу вас, сэра, примите все меры к его отысканию.

Сэр Гардинг поднял на мистера Блома свои холодные глаза, и во взоре его ясно читался вопрос: «Не с ума ли вы сошли, что являетесь ко мне с таким пустяком?»

Вслух же он сказал:

– С этой просьбой вы должны были явиться к начальнику калькуттской полиции.

– Я бы так и сделал, – нисколько не смутившись, заявил мистер Блом, – если бы речь шла об обыкновенном лице, но в данном случае задеты весьма важные интересы. Если бы пришлось в поисках моего гостя перевернуть не только Калькутту, а даже и всю Индию – прошу вас, сэра, не останавливайтесь перед этим.

Вице-король предложил мистеру Блому кресло и позвонил.

Вошел слуга и, точно статуя, застыл у двери.

– Попросите сюда лорда Кармикаэля, – приказал вице-король.

Слуга скрылся. Через несколько минут явился лорд Кармикаэль, губернатор Бенгалии. Он поздоровался с Гардингом и, как старому знакомому, пожал руку мистеру Блому.

Сэр Гардинг в двух словах передал просьбу мистера Блома, дав при этом письменный приказ начать немедленно самые тщательные поиски.

Между тем, компания с доктором Рубергом во главе весело возвращалась домой, предвкушая отдых в прохладном бэнглоу. Молодые девушки, щебеча, как птички, первые вбежали на высокую каменную лестницу. Кэт прошла к деду, но его не оказалось, равно как и обоих инженеров.

Все решили, что они с мистером Бломом удалились по какому-либо делу, и потому в ожидании их вся компания расположилась в одной из высоких,

недоступных солнцу комнат, где воздух, приводимый в движение огромной пушкой, навевал благодатную прохладу.

Ученый прибыл только через час. Мы не будем описывать здесь ни горя студента, ни ярости доктора, ни молчаливого отчаяния мисс Кэт, охвативших всех этих честных людей при известии об исчезновении Березина. Француженка, не желая выдавать тайны своей подруги, постаралась увести ее во внутренние комнаты. Мистер Блом, передав все случившееся в нескольких словах, старался успокоить Руберга и Горнова, взволнованных до последней степени.

– Я убью его, этого Гобартона! – кричал доктор, хватаясь за револьвер. – Он нарочно погубил Николая Андреевича!..

– Успокойтесь, доктор, – говорил ученый, беря врача за руку. – Поверьте, ваш друг мне так же дорог, как и вам. Приняты все меры к его отысканию, вся полиция поставлена на ноги, он не может пропасть. Мы его отыщем. Где вы его найдете, Калькутта – не уездный город; среди здешних храмов и развалин спокойно можно затерять целую сотню людей.

– Но я требую, я прошу возмездия Гобартону, здесь не обошлось без его участия!..

– Вы ошибаетесь, доктор, Гобартону незачем губить вашего друга. Ну, подумайте, что вы говорите, – не соглашался мистер Блом, а в глубине души и у него шевелилось сильное сомнение относительно чистоты намерений Гобартона.

– Нет, я уверен, – настаивал Руберг, – что он завидует успехам Березина. Недаром он является его злым гением.

– Я проверю ваши догадки, – серьезно заявил ученый. – Виновный, кто бы он ни был, со временем поплатится.



– Вот речь честного человека! – воскликнул доктор. – Но как же с поисками? – Не надеюсь я на работу полиции. Мистер Блом, вы великий человек, вы могущественны, возвратите мне единственного друга!

– Доктор, – торжественно сказал мистер Блом, – даю вам слово, что я приму все меры к отысканию дорогого вам человека. Не пройдет и трех дней, как мы будем иметь или его самого, или его труп...

– Что вы хотите сделать, мистер Блом?

– Если завтра к полудню полиция не отыщет мистера Березина, я сам примусь за поиски. И горе тому, кто вздумает не подчиниться моей воле! Я, помимо властей, объявлю город в осадном положении и потребую у населения Калькутты выдачи инженера...

– У миллионного населения?! – изумился доктор.

– И если через три часа мое требование не будет исполнено, я разрушу до основания все храмы, все пещеры и тайные убежища! – с жаром dokonчил старый ученый, даже не заметив реплики доктора.

– Но этим вы откроете свое инкогнито? Европа узнает...

– Теперь мне не страшно мнение Европы. Почему – вы видели в Бломгоузе. Ваш друг мне дороже всего остального мира, и теперь не время сентиментальничать.

III

В руках тугов-душителей

Березин почти потерял сознание. Он смутно чувствовал, что его подняли и несут. Босые ноги индусов мягко и бодро шлепали по земле. В рот Бере-



зину всунули кляп. Через некоторое время жаркая улица сменилась прохладой. Во влажном воздухе стали чувствоваться сырость и запах земли. Тело инженера приняло наклонное положение, индусы спускались вниз. Наконец они положили его на землю и удалились.

Николай Андреевич с трудом приходил в себя, мало-помалу сознание к нему возвратилось, и в первые минуты он старался постичь, где находится и что с ним. Кое-как он припомнил все происходившее на улице: Гобартона, схватку, полуголые тела, свое похищение. Зачем и для чего?

С присущей ему ясностью мысли инженер сразу увидел в этом козни Гобартона. Недаром предостерегали его друзья против коварного англичанина. Он мстил ему за влияние на Блома, за любовь его внучки к чужестранцу, за все. Бедная Кэт! Что-то она теперь делает, знает ли, что случилось с ее возлюбленным? А его друзья? Известно ли им, что его схватили? Если знают, то уже подняли тревогу, наверное, его ищут. Найдут ли?..

Эта простая мысль доставила Березину много горечи. Он понял, что он в настоящее время не более, как пленник. Инженер попробовал пошевелить руками. Они оказались свободными. Но весь он был закутан в кусок ткани и представлял из себя род тюка. Освободиться от материи было делом одной минуты. Приятно было размять уставшие члены. Где он находился, инженер понять не мог. Царила полная темнота, и жуткая тишина не прерывалась ничем. Где он? Березин сунул руку в карман: револьвера там не было. Или он выпал, или его вытащили похитители. Защищаться нечем. Тогда Березин вспомнил, что у него есть спички и он может осмотреться. Встав с каменного пола, пленник осторожно направился в одну сторону. Скоро он наткнулся на



гладкую стену. Чиркнул спичку. Синеватый огонек осветил огромные, потемневшие от времени камни, из которых была сложена стена. Камера, где был заключен Березин, оказалась большая: шагов пятнадцать в длину и столько же в ширину.

Идя вдоль стены, он скоро наткнулся на нишу, оказавшуюся входом. Вход был наглухо закрыт толстой железной дверью. При свете спички инженер успел разглядеть частую клепку посередине двери и определил по размерам листов их толщину – около дюйма. Он толкнул дверь, она не поддавалась.

Не удовлетворившись поверхностным осмотром, пленник еще несколько раз обошел свою тюрьму. Не было видно ни входа, ни окна. Стены, ровные и гладкие, шли ввышину, а где они кончались, того при свете спички не разглядеть.

«Где я? – опять задал себе вопрос инженер. – С кем вошел в сделку Гобартон? С ловкими ли браминами, готовыми за деньги на все, или с служащими кровожадной богини Кали, удушающими свои жертвы с помощью священного румяля?¹ Но, ведь, говорят, тугов уже давно не существует. Английское правительство уничтожило эту секту в шестидесятих годах прошлого столетия. Так ли это? А если секта последователей богини Кали только скрылась от взоров англичан, а на самом деле продолжает существовать?»

Звуки шагов за железной дверью и грохот отодвигаемых засовов привели его в себя. С шумом железная дверь распахнулась и, освещенные факелом, показались четыре полуголых служителя. Их лица оставались в тени, а бронзовые мускулы от колеблющегося пламени факелов отчетливо выступали вперед и указывали на силу их обладателей.

¹Шнур, употребляемый тугами для удушения.

Они подали знак, что надо следовать за ними. Инженер безмолвно поднялся со своего места, готовый ко всему. Двое служителей пошли впереди, освещая дорогу, двое шли сейчас же за европейцем, готовые ринуться на него при малейшей попытке к бегству. Узкий коридор делал частые повороты. Два раза поднимались по лестницам и спускались по уклонам. Наконец остановились перед глухой стеной.

Один из индусов отошел в сторону и что-то искал в стене. Огромный кусок камня, повернувшись, ушел вглубь стены. Оттуда показался красноватый свет. Факельщики понудили Березина пройти вперед. Он миновал толстые двери и остановился, пораженный мрачным величием открывшейся картины.

Он стоял в большом зале, футов двадцати в высоту. Два ряда массивных колонн поддерживали потолок. В глубине из полумрака выступало каменное изображение богини Кали, украшенное ожерельем из человеческих черепов. Перед идолом на возвышении стоял стол, за которым неподвижно сидели три фигуры, закутанные в белое. Ряд факелов, воткнутых в железные кольца колонн, зловеще освещал всю обстановку.

Инженер решил не показывать своего страха и, бодро направившись к столу, остановился в трех шагах от него.

– Остановись, чужеземец, – по-английски заговорил средний из сидевших, – и склонись перед священным судилищем величайшей из богинь.

– Кто вы такие, – с негодованием заговорил инженер, – что осмелились похитить меня, русского подданного?! На каком основании, кто вам дал на это право?!

– Служители супруги великого Шивы не нуждаются в разрешениях на свои действия. Ты друг «беллати» (англичан) и помогаешь им угнетать поклон-



ников Браммы. Ты явился в этом город с коварными целями!

– Ваши сведения неверны. Я не столько друг, сколько пленник тех, кого вы называете беллати. Против индусского народа я никогда не шел и не пойду.

– Ты говоришь неправду. Ты служишь презренным беллати, стараясь им помочь властвовать над детьми священной страны. Чем ты хотел достичь этой власти?

– Вам лучше следовало бы тогда схватить того, кто шел со мною – Гобартонна. Почему вы не схватили его: ведь он принадлежит к расе ваших угнетателей? Я вижу, священный трибунал богини Кали не на высоте призвания, – саркастически закончил Березин.

– Ты умрешь, чужеземец, за то, что посмел насмеяться над великой богиней! – вскричал старший из трех. – Гобартон наш друг и не может сочувствовать вашим замыслам обратить в рабов всех индусов. Ты продался англичанам и указываешь им способы, как лучше поработить нашу страну!

Инженер стоял, слушая эту речь, с приложенной к груди правой рукой. Вдруг лицо его на мгновение просияло, чего в тени не заметили поклонники богини Кали. Рукой он нащупал на груди, во внутреннем кармане, какой-то твердый предмет. Почувствовав необычайный прилив бодрости, инженер решил не уступать трибуналу.

– Не я продался, – заявил он, – а вы – поклонники Кали – продались Гобартону! Он купил вас, теперь я это знаю!..

Судьи вскочили со своих мест с громкими криками на гортанном языке, сильно жестикулируя руками. Удар инженера был верен. Он попал в самую слабую струну шиваитов.

Движением руки старший из трех их успокоил. Все сели. Готовилось что-то страшное.

– За то, что ты не сознался в своих деяниях, оскорбил богиню Кали и ее трибунал, мы приговариваем тебя к смерти. Завтра в полдень тебя удавят священным платком. А до тех пор иди к себе и приготовься переступить порог вечности в чистоте, чтобы не сделаться бхутом¹.

Дверь с шумом распахнулась. Потому ли, что пленнику предстояла последняя ночь, или потому, что он тронул их сердца своей покорностью, индусы оставили ему факел, воткнув его в железное стеновое кольцо.

Как только инженер остался один, невыразимая радость озарила его бледное, измученное лицо. Он подпрыгнул кверху на целый аршин, а потом, подойдя к факелу, вынул из своего внутреннего кармана блестящий предмет и стал его рассматривать.

Он вертел блестящую игрушку в руках и приговаривал: «Ах, доктор, милый доктор, спасибо тебе за догадку. Я мог бы без тебя погибнуть, а теперь мы еще посмотрим!»

Предстояло решить важный вопрос: когда и где применить его, чтобы иметь полнейший успех? Дождаться ли той минуты, когда войдут тюремщики и напасть на них? Одного выстрела достаточно, чтобы всех их уничтожить. Но куда идти? Тюрьма находится глубоко под землей и выходы, по-видимому, нарочно запутаны. В этом лабиринте без путеводной нити легко остаться навеки.

Инженер решил на отчаянное средство – разрушить противоположную коридору стену громо-

¹Душа умершего, делавшаяся злым духом (Прим. авт.).



вым выстрелом. Встав в нишу двери, он направил пистолет в противоположную стену и нажал спуск... В тот же момент факел потух, раздался треск распадывающегося камня. Инженера с силой бросило на дверь, отчего он чуть не потерял сознание.

Собрав всю силу своей воли, он постарался поскорей дать себе отчет в окружающем. Пистолет был в его руке. Дверь не открывалась. Кругом царил абсолютная темнота. Каменная пыль затрудняла дыхание. Он нашел факел, зажег его, и крик радости и удивления вырвался из его груди. Выстрел произвел сильное разрушение: в стене зиял пролом сажени в полторы в диаметре. Большие камни были с силой разворочены в стороны, мелкие осколки покрывали землю.

Инженер с трудом перебирался через зияющее отверстие. Уничтожение двухаршинной толщи стены, пробитой им, не принесло желанного освобождения. Он увидел, что опять находится в маленькой квадратной комнатке, футов десяти в стороне. Весь пол был завален обломками камней. Инженер искал отверстие. Такое оказалось под самым потолком, на высоте пяти футов от пола, в стене, противоположной пролому.

Инженер, предполагая, что он находится глубоко под землей, счел за лучшее не останавливаться на полпути, а подниматься к поверхности таким оригинальным путем. Влезши в новое отверстие, он нашел третью келью, во всем подобную первым двум. Пройдя таким образом десять или двенадцать комнат, – он уже не помнил их числа, – Березин заметил, что в одном окне как будто мерещится слабый свет. Он поспешил влезть туда и, потушив факел, увидел, что луч света падает из единственного окна под потолком. Радость узника была неопишима. Он с нетерпением кинулся вперед. Перед ним явилась

новая келья, вся залитая дневным светом, проникающим в узкое окно, заделанное толстой решеткой. Освобождение было близко. Но погоня за ним могла быть еще ближе. Ослепленный сиянием дня, инженер подошел к окну и с истинным наслаждением человека, избавившегося от неопишуемой опасности, полной грудью вдыхал чистый воздух. Затем, напрыгнув всю свою силу, попробовал выдернуть один из прутьев решетки. Она не поддавалась.

Инженер в досаде обернулся, желая найти какое-либо орудие для взлома. Келья была пуста. Оставалось прибегнуть к револьверу, что было очень рискованно ввиду малых размеров помещения, могущего во время взрыва похоронить его под своими развалинами.

Инженер посмотрел на револьвер, потом на отверстие в полу. Он страшился прибегнуть к пистолету и решил использовать это средство лишь в случае крайней необходимости.

В этот момент где-то крикнул перепел.

Инженер прислушался.

IV

Освобождение

Все обитатели бэнглоу провели вечер и ночь в страшнейшем волнении. Доктор вместе с Горновым много раз выходил из дома, бесцельно бродя по улицам города, около храмов и пагод.

После томительной ночи наступило утро. Солнце выкатилось из-за горизонта, рассыпая всюду свои живительные лучи.

Доктор обратился к мистеру Блону, напоминая ему о его слове, данном вчера. Ученый в ответ смеялся ему взглядом:



– Я не забыл, – сказал он и сейчас же вышел.

Он направился во дворец вице-короля Индии. Там его приняли беспрепятственно.

Сэр Гардинг выразил свое сожаление по поводу бесплодных поисков. Мистер Блом взглянул на него холодно.

– Будьте любезны немедленно объявить жителям Калькутты, что через пять часов я атакую город и разрушу его до основания, если они не выдадут мне инженера живого или мертвого.

Вице-король привскочил на месте, словно увидел рядом с собой ядовитую кобру.

– Вы!!! Вы разрушите столицу Индии!!! Н-но, это возмущение против власти!.. Я вас арестую!..

– Попробуйте, – с легкой иронией в голосе ответил мистер Блом. – Арестовать меня не так легко, если бы вы даже и имели на это право. А вы его не имеете.

– Чего же вы хотите?

– Расклейте немедленно объявления на разных языках о том, что если в течение трех часов, считая с полудня, мне не выдадут инженера, живого или мертвого, я, Блом, разрушу город до основания, снесу все дворцы, пагоды, взорву подземелья и не остановлюсь перед уничтожением всего населения.

– Даже и англичан?!!

– Даже и их, если они окажутся причастными к похищению.

– Но как же быть властям? Что нам делать?

– Повиноваться мне. Через два часа, – сказал старый ученый, вставая с места, – когда я поднимусь на своем «Левиафане», будет уже поздно.

Вице-король при всех этих словах взглянул на уходящего с нескрываемым ужасом.

– Что делать? Что делать?! – повторял он, когда мистер Блом покинул его.

А мистер Блом, явившись домой, приказал всем через полтора часа приготовиться в путь.

– Куда мы едем? – спросила француженка.

– На поиски инженера, – ответил старик.

Доктора и студента не нашли в бэнглоу. За ними послали слуг. Руберг со своим молодым другом решили обойти все окраины, где были пагоды. Студент отделился от доктора и пошел осматривать одиноко стоящую пагоду. Руберг остался у старой развалины, приращенной к самой скале, крикнул перепелом и ему послышалось, что где-то близко раздался ответный крик.

Доктор снова крикнул, и вновь ему ответил перепел... Руберг стал осматриваться. Невдалеке зияло оконце шириной фута в три и вышиной в два, заделанное толстой решеткой. Казалось, перепел кричал там. Руберг бегом направился к окошку и чуть не умер от счастья, когда в решетку чем-то постучали и оттуда раздался крик перепела.

– Ты ли это, мой дорогой друг! – вскричал доктор, наклоняясь к окну и всматриваясь в бледное лицо инженера, подтянувшегося на руках до решетки.

– Я, мой славный Федор Григорьевич! Постарайтесь поскорей вырвать решетку и освободить меня. За мной может быть погоня, – отвечал радостно инженер.

– А оружие?

– Пистолетом Блома нельзя стрелять, помещение мало, а револьвера у меня нет.

– Вот тебе мой, стреляй в первую появившуюся рожу, – ответил сообразительный доктор, передавая ему оружие через решетку, – а я бегу за помощью. Наверное, близко есть патруль, тебя ищут по всему городу.

Доктор оказался прав. Менее чем через пять минут он заметил конный патруль и криками привлек



его внимание. Англичане, узнав, в чем дело, поскакали за мастером, а часть их направилась к окну.

– Сейчас будет все кончено, – говорил доктор, – уже поскакали за мастером. Никто не появлялся в вашей двери?

– У меня не дверь, а лазейка, в которую можно проникнуть лишь одному человеку. Таких лазеек я сам миновал штук пятнадцать.

– Да разве вы не здесь были заключены? – с понятным изумлением спросил Руберг.

– Футов на шестьдесят ниже, по моему расчету.

– На шестьдесят футов! Ниже?.. Где же вы были?

– Потом расскажу, дорогой друг. Сейчас я прямо не в состоянии...

– Виноват, трижды виноват, – спохватился Руберг, – я и забыл, что ты пережил. А вот и слесарь.

Через десять минут инженер, весь выпачканный в пыли, был на свободе и обнимал Руберга и Горнова. Англичане, узнав, кто перед ними находится, с чувством пожимали ему руки. Инженера, истощенного волнениями и суточным голоданием, посадили на коня, и все с торжеством направились в город.

Гобартон, первым увидевший процессию, побледнел от злости и чуть не упал в обморок. Но, сделав над собой огромное усилие, преодолел слабость и поздравил Березина со счастливым избавлением от опасности. Инженер не ответил, зато Руберг так сверкнул глазами на англичанина, что тот счел за лучшее немедленно ступешаться.

Мистер Блом отсутствовал: он был опять у вице-короля. Экспансивная Софи, увидев Березина, бросилась к нему на шею, а затем схватила за руку и потащила к своей подруге.

Доктор и Горнов остались одни в комнате, глядя друг на друга, как авгуры. Они понимали поступки Софи.

V

Предательство Гобартона

Наступила полная очарований индийская ночь. Со стороны Калькутты к развалинам быстро двигался человек среднего роста, закутанный в белый балахон. Он часто оглядывался по сторонам, как будто ожидая засады или погони. Приблизившись к купе манговых деревьев около самого храма, он еще раз оглянулся и, удовлетворившись осмотром, раздвинул зелень и скрылся в ней. Через несколько мгновений он показался в самом центре обширного, когда-то великолепного двора, остановился и свистнул.

От одной из разрушенных колонн отделилась высокая белая фигура и двинулась к пришедшему. Смуглое лицо и темные, горевшие фанатическим блеском глаза изобличали в обладателе их чистокровного индуса.

Прибывший обрушился на него с упреками:

– Что вы наделали, Гиндвар? Как вы могли выпустить его из своих рук? Где же ваше слово, слово начальника тугов?

– Поклонники богини Кали ни в чем не могут себя обвинить. Священный трибунал приговорил пленника к смерти. Если он избежал ее, то потому, что тут вмешался сам Вишну, который спас пленника.

– Что вы, Гиндвар, вспомнили Вишну. Наверное, плохо стерегли, вот он и бежал.

– Из рук тугов не выходил еще никто. Он разрушил толстую каменную стену, выходящую в потайную комнату...

– Разрушил стену! Вы уверены в том, Гиндвар?



– Можешь видеть сам, если пожелаешь.

– Не стоит. Я верю слову начальника тугов. Ну, и что же?..

– Через эту комнату шел старый тайный ход, теперь уже заброшенный. Он выходит около пагоды Панду в виде небольшого окна с решеткой. Пленник прошел через все комнаты, составляющие ход, и вышел наружу.

– А как же решетка в окне?

– Тут ему помогли друзья и англичане, высланные лордом Кармикаэлем для отыскания чужеземца.

Гобартон крепко выругался.

Он возвращался домой, полный самых радужных мыслей. «Ага, – думал злоумышленник, – ты отнял у меня благоволение старика Блома – плод моих многолетних усилий, за два месяца сумел сделать его другом. Но тебе этого показалось мало, ты решил отнять еще и невесту. О, злодей, если бы не ты, Кэт теперь была бы моей женой! Ах, Кэт! И зачем я раньше не настоял на этом браке?! Тогда свободно мог бы уничтожить этого русского проходимца вместе с его друзьями. Ну, не все еще потеряно».

Угроза английского инженера была серьезной. Секта тугов-душителей, приносящих бескровные жертвы своей богине, во временаладычества Ост-Индской компании была бичом всей Индии. Туги грабили по дорогам, убивая своих жертв с помощью священного платка. Главарем одной из таких тайных организаций и состоял Гиндвар, друг Гобартона, сумевшего какими-то путями войти в доверие к начальнику душителей.

VI

Крушение поезда

Огромный, нескончаемой длины змеей вился между бенгальскими перистыми пальмами и манговыми деревьями железнодорожный путь, блестя на солнце парой стальных рельсов.

Издали послышался глухой шум, рельсы дрогнули, и из-за поворота вынесся, как сказочное чудовище, паровоз с полудюжиной вагонов.

В этом поезде ехал в Дарджилинг губернатор Бенгалии, лорд Кармикаэль.

В салон-вагоне, чуть-чуть покачивающемся на пульмановских рессорах, находились четверо мужчин, ведущих между собою оживленный разговор. Это были: сам лорд Кармикаэль, инженер Березин, доктор Руберг и студент Горнов.

Всесильный случай, в виде приключения с Николаем Андреевичем, свел наших героев с английским лордом, сильно заинтересовавшимся незаурядной личностью инженера. Лорд, желая поближе узнать русского искателя приключений, доставившего столько хлопот английским властям, выпросил у мистера Блома позволение довести всех русских, не желавших расставаться между собою, до Дарджилинга, куда через два дня обещался прибыть со всеми путешественниками и ученый, которого дела задерживали на этот срок в Калькутте.

Русские с удовольствием приняли приглашение губернатора, желая поближе взглянуть на жизнь и природу Декана.

– Простите, мистер Березин, что я навожу вас на невеселые воспоминания, – говорил сэр Кармикаэль, – но вы сами понимаете, что мне необходимо выяснить все мельчайшие подробности вашего похищения. Это может навести нас на какой-нибудь след.



– Как я уже говорил, то были туги. Допрос происходил в огромной комнате, где все: и обстановка, и идол их кровожадной богини, и черепа на нем, – все говорило за то, что я находился среди поклонников страшной супруги Шивы...

– Судей было трое, их лиц вы не видали?

– Лица были закрыты. Но по голосу я легко отличу председателя тугов от сотни людей. Я его хорошо запомнил.

– Как жаль, что мистер Блом не хочет подольше оставить вас в Калькутте и сам спешит. В противном случае мы могли бы проделать несколько опытов с подозрительными индусами.

– Ну, что опыты, – презрительно сказал доктор, – опыты не помогут узнать главного преступника...

– Почему вы так думаете, мистер Руберг? – живо спросил лорд Кармикаэль, впиваясь в доктора проницательным взглядом.

– А мы его и так знаем, – откровенно заявил доктор, не обращая внимания на инженера, делавшего ему знаки рукой.

– Знаете! – вскричал английский администратор, – знаете и молчите об этом?..

– Что же делать, – комически вздохнул доктор, – словами горю не поможешь, а хуже натворишь...

– Но кто он?.. Главный преступник?..

– Мистер Гобартон, больше некому быть.

– Этот толстый господин с неприятными глазами?

– Он самый, помощник мистера Блома.

– Да, вы, пожалуй, правы, – задумчиво сказал сэр Кармикаэль. – Он запретил нам трогать его инженеров.

– А-а... – проговорил Руберг, глядя на губернатора, – так он может запрещать даже и британской администрации.

– Мне перед вами, господа, нечего скрывать, – ответил губернатор. – Мистер Блом – личность загадочная даже для меня, хотя я как раз заведую постоянными сношениями с Бломгоузом, я же и заготавливаю припасы. Однако до сих пор я не знаю ни того, где стоит город, в котором вы живете, ни того, что там делается и что может сделать мистер Блом. Мне только известно, что он вообще – человек очень сильный, которому, может быть, нет равных в мире ни по влиянию, ни по способностям.

– Я с вами совершенно согласен, – проговорил Березин. – Мистер Блом гораздо сильнее, чем вы могли бы предположить, сэр. Я не имею права разоблачать его тайны, но скажу, что если бы не он, то я погиб бы в подземельях Калькутты.

– Вы вышли оттуда сами, чем вы ему обязаны?

– Тем, что изобретенным им средством я разрушил стену моей тюрьмы, это и дало мне возможность выйти оттуда целым и невредимым; если бы не это, я бы погиб.

– Нет, не погибли бы, – возразил губернатор Бенгалии. – Мистер Блом вас ценит больше, чем всю столицу Индостана.

– То есть, как это? – не понял Березин.

– Вы знаете, чем мы занимались в тот момент, когда получили известие о вашем освобождении? Никогда не угадаете! Мы с вице-королем трудились над составлением воззвания, в котором объявлялось, что если через три часа население не выдаст вас или вашего трупа, столица будет обращена в развалины...

Страшный толчок вагона разбросал всех в стороны.

Шум от хода поезда и лязганье железа слились в один общий звук. Получилось что-то хаотическое. «Крушение», – мелькнуло в сознании каждого.



Первым опомнился инженер. Он вскочил на ноги, с быстротой мысли бросился в коридор к рукоятке тормоза. Но поезд уже остановился, толчки прекратились. Из вагонов высыпали полисмены и отряд сипаев – телохранителей лорда Кармикаэля.

– Что случилось? – строго спрашивал губернатор, выйдя из вагона.

Паровоз, покосившись набок, въелся в песок насыпи.

Вагоны сгрудились, но были целы. Рельсы, на большом расстоянии вывороченные из своих гнезд, корчились в воздухе, как змеи.

– Подготовлялось крушение, – отвечал машинист. – Рельсы развинчены, а частью даже убраны. Я это заметил, хотя и поздно, дал контрпар и тормоз. Несмотря на все, паровоз успел врезаться в землю.

– Покушение на мою жизнь! – произнес лорд Кармикаэль.

– Не на нашу ли, сэр? – сказал доктор.

– Почему на вашу? Вы не местные жители, да и кто знает, что вы едете со мною?

– вспомните, сэр, тугов.

– Похоже на правду. Эй, обыскать лес и всю ближайшую местность! – приказал он капитану сипаев.

Отряд сипаев немедленно двинулся в сторону и исчез за густой стеной леса.

– Что же нам теперь делать? – спросил студент, окинув взглядом группу собеседников.

– Воспользуемся случаем и ознакомимся ближе с тропической природой, – предложил Руберг.

– Пожалуй, – согласился Николай Андреевич.

– Только не ходите далеко и не наткнитесь на тигра, – предупредил русских лорд Кармикаэль.

– Не беспокойтесь, сэр, у нас есть оружие, – откликнулся за всех инженер, спускаясь с насыпи, чтобы следовать за своими товарищами.

Между тем, около паровоза кипела работа. Откуда-то появился телеграфный аппарат, который соединили с телеграфным проводом. Через четверть часа было получено известие, что из Дарджилинга вышел вспомогательный поезд.

Между тем, трое друзей углубились в огромный тенистый лес, где от чрезвычайно густо разросшихся крон тропических деревьев сразу стало темно. Путники шли с большой осторожностью. Смоковницы, бананы, пипаль, сотни лиственных и других деревьев преграждали им путь. В просветах они любовались роскошными белыми туберозами, золотистыми чампами, редчайшими по красоте бальзаминами. Аромат тропических цветов был столь силен, что у путников кружилась голова.

Все трое начали совещаться, в которую сторону им следует двинуться. Руберг, стоя против инженера, случайно взглянул вбок и увидел, как опять что-то мелькнуло: не то зверь, не то человек. Через минуту из-за обломка мрамора показалась голова с горящими глазами. Полуголый индус, как тигр, прыгнул вперед, взмахнув рукой с находившимся в ней румалем. Инженера можно было бы считать погибшим. Но доктор быстро выхватил револьвер и, подавшись всем корпусом вперед, всадил пулю в дерзкого туга.

Это движение спасло не только инженера, а и самого доктора: за ним тоже стоял бесшумно подкравшийся поклонник богини Кали, но он промахнулся из-за быстрого, неожиданного движения Руберга. Березин в одну секунду оценил всю опасность положения, выхватил оружие и сделал несколько выстрелов по направлению к тугу, бывшему за доктором. Тот уже исчезал из виду за каменными обломками, делая огромные прыжки.

Горнову, стоявшему у колонны, тоже грозила опасность.



Над его головой свистнула петля, пущенная рукой полуголого туземца, лежавшего на верху гранитного обломка. Пуля инженера пронизала эту руку, и туг, издав крик боли, исчез, спрыгнув со своего постаamenta.

Все описанное произошло так быстро и непостижимо, что в первые минуты избавления от опасности русские думали: не являлась ли вся битва плодом их разгоряченного воображения? Нет. Тело упавшего за инженером туга убеждало их в противном.

Послышался звон оружия. Русские нервно приподняли свои револьверы, готовясь стрелять в могущих явиться врагов. Но то были друзья: подходил отряд сипаев под командой капитана, ушедшего на поиски злоумышленников, устроивших крушение поезда.

– Господа, это вы стреляли? – спросил друзей подходивший капитан, – что случилось?

– Произошло нападение тугов, – ответил инженер.

– Тугов!!! Вы шутите, сэр, какие же здесь могут быть туги?

– Взгляните сами, – указал Березин офицеру на убитого поклонника кровожадной богини.

– И петля в руке! Ах, мерзавцы, – выругался капитан, наклоняясь над трупом. – Где остальные? Вот я их!..

– Остальные скрылись, капитан, – сказал Березин, – и преследовать их сейчас едва ли благо-разумно. Они в своих местах и их трудно будет найти... – А вот и свисток, это нас зовут.

Рев паровозного свистка раздавался где-то недалеко и гулко разносился по лесу.

Отряд сипаев, захватив труп туга, двинулся по направлению к шуму свистка. Русские шагали рядом с капитаном.

VII

Новое открытие мистера Блома

– Так вы, друзья, подвергались смертельной опасности? – спрашивала русских маленькая французенка.

– Да, m-elle Софи, на этот раз смерть была к нам ближе, чем во всякое другое время, – отвечал Руберг.

– Расскажите мне, доктор, как все случилось? Я хочу знать подробности, которые на корабле совершенно ускользнули от меня.

Этот разговор происходил в саду мистера Блома, где мы видим трех русских, благополучно возвратившихся в неведомый город из Дарджилинга.

– Что же тут рассказывать, – говорил доктор. – Вы знаете, что мы рассматривали развалины древнего храма. Вдруг как раз за Николаем Андреевичем я вижу преотвратительную рожу. Я еще не успел подумать, что это значит, а рука уж сама потянулась к револьверу. Туг взмахнул петлей, а я выстрелил – вот и все.

– А как же другие?

– Остальные убежали. Да, я и забыл. В то время, как я сделал шаг вперед для выстрела, за мной тоже стоял мошенник, но – он промахнулся, а в следующее мгновение его спугнул инженер, он же подстрелил и третьего туга.

– Как вы, доктор, так спокойно можете говорить о таких ужасах? – недоумевала Софи.

– Где же вы видите ужасы? Ведь их уж нет. Мы здесь, сравнительно, в безопасности.

– Я бы не сказал об этом столь уверенно, – вмешался инженер. – Гобартон едва ли удовлетворится этими попытками. Насколько я проник в его замыслы, он не остановится и перед новым по-



кушением. Теперь нам всем необходимо его остерегаться.

– Я об этом давно уже говорила, – прервала француженка. – Удивительно препротивный он человек. Я и раньше питала к нему неприязненное чувство, а теперь он возбуждает во мне гадливое отвращение.

– Что же, господа, – вставил в разговор свое слово студент, – намерены вы что-нибудь предпринять? Надо же как-нибудь парализовать его деятельность или хотя бы избежать ее последствий.

– Верно, юноша, – одобрил Руберг, – вы подошли к самому корню вопроса. Но это уже компетенция Николая Андреевича, – взглянул он на инженера.

– Не следует торопиться, – ответил тот. – Необходимо все обдумать и сообразить. Чем больше осторожности мы проявим в этом деле, тем больше шансов на благополучное его окончание. Не надо подавать и тени неудовольствия, иначе нас заподозрят.

– Но все-таки, есть ли надежда? Как идут ваши успехи?

– Я уже ознакомился с аппаратами и думаю, что скоро вполне постигну управление аэропланом. Надежда есть, но... сюда идет мистер Блом.

Все оглянулись. По дорожке, усыпанной гравием, медленно приближался старый ученый, сопровождаемый своей внучкой. Лицо его сияло, как ясный солнечный день.

– Вы, господа, по-видимому, не чувствуете усталости после воздушной прогулки? – спросил он, весело пожимая всем руки.

– Полеты на ваших кораблях одно удовольствие, – ответил Березин. – Я думаю, что все летающие на них никогда не будут испытывать других чувств, кроме чувства глубокого удивления и восхищения перед гением их творца.

– Вы преувеличиваете мои заслуги, мистер Березин, – скромно отозвался ученый. – Я думаю, что скоро-скоро большинство людей получат возможность совершать полеты в такой же или подобной обстановке, какая есть на моих кораблях. Сейчас я вам покажу кое-что, что со временем послужит к новой пользе и славе Великобритании.

Слушатели стояли, недоумевая по поводу того, что им хочет показать великий изобретатель, а мистер Блом вынул из кармана серебряный свисток, приложил его к губам и издал пронзительный свист.

В ответ все услышали звуки английского марша, исполняемого духовым инструментом. Музыка неслась откуда-то сверху. Молодые люди подняли головы кверху, думая, что там находится аэроплан. Небо было совершенно ясно. На нем безмятежно сияло июльское солнце. Все были в полном недоумении. А звуки лились и лились, как будто бы в синеве безоблачного неба был скрыт музыкальный оркестр.

– Арфа Орфея, – сказал доктор. – Я не думал, что вы еще и до этого дойдете! – обратился он к мистеру Блому.

Тот улыбнулся своей обычной тонкой улыбкой.

– Вы видите, господа, что-нибудь в небесах?

– Ровнешенько ничего, – заявили все хором.

– Так сейчас увидите нечто интересное, – сказал ученый.

В тот же момент над группой разразился... целый дождь разноцветных бумажек. Бумажки, величиной в рублевую монету, сыпались сверху, как из рога изобилия. Звук трубы прекратился, а конфетти продолжали сыпаться.

– Это не дождь, а уже настоящее чудо, – заявил Руберг, – в котором я окончательно ничего не смыс-



лю. А еще в России меня знакомые считали умным человеком! А, как вам это нравится? – обратился он в самом обиженном тоне ко всем присутствующим.

Все рассмеялись выходке добродушного доктора.

– Успокойтесь, доктор, – сказала ему мисс Кэт, – мы понимаем не больше вашего.

Дождь прекратился. Любопытство всех было возбуждено до крайнего предела. Все просили мистера Блома объяснить, как ему удалось устроить это феноменальное явление, на что он сейчас же согласился.

– Вы чувствовали, господа, – сказал он, – мое новое изобретение – дирижабль-невидимку..

– Невидимый дирижабль!!! – вскричали все хором. – Да этого не может быть!..

– Почему же? Ведь все вы слышали трубу и видели конфетти...

– Видеть-то видели, но уж очень все это несуразно. В моей голове никак не уместается мысль, что человек может лишь чувствовать тело, а не видеть его, да еще при свете дня! – экзальтированно говорил студент.

– А между тем все, что я сказал, верно, – ответил ученый. – Есть много предметов, которые чувствуются, а незримы, здесь большую роль играет расстояние. Вблизи вы увидели бы этот снаряд, а вдали он делается незримым.

– А как же мы не слышим шума моторов? – спросил инженер.

– Шум не слышен потому, что аппарат снабжен специальными глушителями.

– Это я понимаю, так как это возможная вещь. Но все же не могу постигнуть незримости аэроплана.

– Не аэроплана, а дирижабля, мистер Березин. Новое изобретение скорее подходит к типу дири-

жаблей, чем к воздушным птицам. Суть же его невидимости в том, что поверхность аппарата сделана зеркальной.

– Как же я до сих пор еще не видал ни самого аппарата, ни мастерских, где он сооружен? – спросил инженер.

– Все делалось под покровом большой тайны, – отвечал мистер Блом. – Я лично придаю огромное значение новым дирижаблям с военной точки зрения. Они будут служить великолепными разведчиками, для которых недействительно никакое оружие.

– Да, нельзя бороться с врагом, которого не видишь, – подтвердил Руберг.

– Совершенно верно. И поэтому-то новым дирижаблям предстоит большая будущность.

– Так вы, мистер Блом, ознакомите нас с новым аппаратом? – спросил инженер.

– С удовольствием. В вас я найду истинного ценителя достоинств нового снаряда.

VIII

Дирижабли-невидимки

Теплое дыхание ясного летнего дня шло навстречу автомобилю, уносившему четверых пассажиров вверх по горной дороге. Скоро автомобиль остановился на каменистой площадке, где находились уже знакомые читателю гигантские аэропланы мистера Блома.

Здесь ничто не изменилось. Недвижно стояли механические птицы, всегда готовые взлететь ввысь, к самым небесам. Огромные двери ангаров, словно исполинские щиты, по-прежнему безмятежно сияли на солнце зеркалом металла, как и тогда, когда их впервые увидели русские.



Мистер Блом – это был он со своими спутниками – прошел к дальнему щиту. Около колоссального входа, загражденного стальной дверью, оказалась незамеченная прежде маленькая дверца, ведущая в толщу скалы. Ученый, отомкнув ее ключом, вошел внутрь.

Небольшая комната, похожая на келью, была вся загромождена разнообразными приборами: ключами, цепями, блоками, рычагами, досками с хитрым набором кнопок и т. п. предметами. Мистер Блом переставил несколько кнопок и нажал один из рычагов.

Огромная половинчатая створка входа начала открываться, как будто переворачивалась страница в гигантской книге. Тысячепудовое бронированное полотно двери, катясь вниз на роликах, медленно отходило к стене, открывая черную пасть внутренности горы. Русские с тайным трепетом смотрели на двухаршинную толщу дверного полотна, могущего, в своем слепом стремлении открыться, раздавить человека, как жалкого муравья!..

«Только циклопы могли выковать эту дьявольскую дверь», – бормотал про себя доктор, вступая вместе со всеми под темные своды.

Помещение, которое мистер Блом называл ангаром, внезапно озарилось. Сотни лампочек заливали его морем почти дневного света. Своды обширнейшей пещеры терялись вверху на недостижимой высоте.

– Вы, господа, желали видеть невидимое, – сказал мистер Блом, – смотрите и отдайте должное моим рабочим, создающим такие чуда искусства.

Центральное место в пещере занимало до дюжины странных сооружений, похожих на огромные яйца удлинённой формы. Яйцевидные предметы блестели, как полированное серебро, и отражали в

себе тысячи огней, играющих на поверхности всеми цветами радуги. Русские и без объяснений мистера Блома поняли, что перед ними находится эскадра невидимых дирижаблей. Действительно, это были чудеса строительной техники.

На зеркальных стенках дирижаблей-невидимок нельзя было найти шва склепки, не было ни выступов, ни острых углов. Только у кормы виднелись две стабилизирующих поверхности, небольших и не портящих общего вида. Аппараты казались выкованными из цельного куска металла.

– Батюшки, это что за рожи такие! – вскричал Руберг, подходя к ближайшему дирижаблю и видя в нем отражение себя и своих друзей.

На самом деле, выгнутая поверхность зеркала давала необычайно уродливые изображения. Фигура доктора в отражении походила на вазу: ноги казались очень тонки, туловище было несомерно широко, а голова уподобилась пивному котлу, в котором лишь толстый расплзшийся нос и узкие, но длинные прорезы глаз выдавали голову.

Изображение было настолько карикатурно, что сам доктор и его друзья покатались со смеха.

– Какие красавцы писаные, – вымолвил Горнов.

Даже старый ученый и тот улыбнулся, глядя на веселость друзей.

– А все-таки бесподобные сооружения, – сказал инженер, когда прошел пароксизм смеха.

– Надеюсь, что с ними старая Англия не погибнет, – серьезно проговорил мистер Блом.

– Вы так опасаетесь за судьбу своего отечества? – спросил, оживившись, доктор. – Почему же? Разве у него нет ваших изумительных аэропланов, вашего радиотита и, наконец, ваших других гениальных открытий?!..



– Все есть, любезный доктор, – сказал ученый, впервые применив к доктору это прилагательное. – И Британия сильна сейчас, как никогда. Но надо считаться с реальной действительностью, которая наступит скоро, даже, может быть, скорее, чем мы ожидаем.

– В чем же вы, профессор, видите угрозу для Англии? – предложил вопрос Николай Андреевич.

– В увеличении народонаселения земного шара.

– В росте населения? Объяснитесь же, мистер Блом!..

– Надеюсь, вы не станете отрицать значения роста населения для политической жизни. Особенно ярко оно выступает в тех странах, которые уже подошли или начинают подходить к пределу своей населенности.

– Исходя из данных о рождаемости и смертности населения, а также о движении эмиграции, можно приблизительно определить вероятную численность населения важнейших государств через тридцать лет. В 1942 году Россия должна иметь до 250 миллионов жителей, Соединенные Штаты – 150 миллионов, Германия – 100 миллионов, Япония – 75 миллионов, Австро-Венгрия – 67 миллионов, Англия – 60 миллионов, Италия – 43 миллиона и Франция – 40 миллионов. Очевидно, что Франция уже не в состоянии в близком будущем удержать свое место одной из могущественнейших держав Европы и должна довольствоваться приблизительно тем значением, какое ныне принадлежит в совете народов Италии. Зато тевтонскому могуществу суждено непрерывно расти. И Англия, великая Англия должна отойти на второй план по сравнению со своей немецкой соперницей.

– Но нет! Этого не случится, – с энергичным жестом перебил свои мысли мистер Блом, сверкая гла-

зами. – Страна, давшая миру таких мыслителей, как Бокль и Дарвин, таких ученых, как Фарадей и Дэви, таких гуманных политиков, как Гладстон и Асквит, не может и не должна погибнуть! Я в этом поручаюсь!

Русские поражались чувству глубокой любви к родине, сквозившей в речах старого ученого.

– Вы, сыны России, счастливее меня, – обратился он к трем друзьям. – Вам, а не кому другому, принадлежит будущее. Через тридцать лет ваша страна будет иметь население в четверть миллиарда и вам суждено властвовать над миром. Счастливы будут те страны, которые сохранят вашу дружбу. И несчастны, обречены на окончательную гибель те, что поднимутся против вас!..

В словах мистера Блома слышалось столько горечи, столько затаенной скорби, что было видно невыносимое страдание этого патриота от сознания, что не его родина, а другая, чуждая ему страна займет в будущем первенствующее положение среди мировых держав.

А в среде русских чувство удивления сменилось чувством глубокого уважения к этому старцу, страдающему за будущность своего отечества.

IX

Отказ в руке мисс Кэт

Николай Андреевич много раз поднимался на дирижаблях английского ученого и под его руководством настолько освоился с их управлением, что чувствовал себя в воздушной стихии, как дома. Но со времени посещения гигантских мастерских мистер Блом не упоминал о невидимых дирижаблях, и полет на одном из них все откладывался и откладывался.



Вполне была понятна радость и нетерпение инженера, когда ученый объявил, что они совершат поездку на дирижабле, причем отсутствие их продолжится несколько дней.

Рано утром один из невидимых кораблей, сияя, как серебро в лучах горячего солнца, был выведен из ангара и вскоре исчез в глубине голубого эфира, унося в беспредельную высь мистера Блома и Березина. Кроме них, на судне находился лишь механик.

Полет направляли на восток. Миновали ребристый Куэнь-Лунь, песчаные степи Туркестана и вступили в необозримые пустынные дали Гоби. На другой день перед наблюдавшими путешественниками стали появляться бедные монгольские поселки, обширные стада скота казались с высоты роєм пчел. Люди на земле являлись отсюда точками.

– Мистер Блом, – сказал Березин, набравшись храбрости, – хотя здесь не место и не время для этого разговора, я все же скажу то, о чем я давно думаю.

– Говорите, говорите, мой друг, – ласково ответил старец. – Я слушаю.

– Я давно люблю мисс Кэт, мистер Блом, и, кажется, она платит мне взаимностью, – проговорил ободренный инженер. – Я прошу у вас, как ее единственного опекуна, ее руки...

С первых же слов Березина лицо мистера Блома начало изменяться. Словно темная, грозовая туча тенью легла на него. Инженер, увидев эту перемену, испугался, но не за себя, а за судьбу мисс Кэт.

Прошла томительная минута молчания и тишины, нарушаемой лишь шумом моторов.

– Мистер Березин, – твердым, почти резким тоном заявил ученый. – Кэт отдана другому. Я не могу исполнить вашей просьбы. Если бы я на нее согласился, я изменил бы своему слову, чего никогда не бывало. Я отказываю вам в руке Кэт.

– Но ведь этот другой – Гобартон! – в отчаянии воскликнул Николай Андреевич. – Подумайте, кому вы вручаете судьбу вашего ребенка?!.. Он недостойн целовать ее ноги, этот Гобартон...

– Довольно, – перебил мистер Блом, делая энергичный жест правой рукой, чтобы остановить инженера. – Я знаю, как мне поступать с моими подчиненными и своими друзьями.

– Но я хотел бы...

– Ни слова больше. Я не хочу продолжать этого тяжелого для нас обоих разговора. Что невозможно, то невозможно, мистер Березин. Я понимаю ваше волнение, но я советую вам излечиться от вашей страсти.

Сказав это, мистер Блом поднялся и вышел в другое отделение. Удрученный горем инженер как пришибленный сидел на своем месте, опустив голову на руки.

День кончался. Золотистые сумерки уже начинали охватывать горизонт, когда Березин вышел из своего угнетенного состояния и взглянул в окно. Зеленовато-свинцовые волны океана поднимались под воздушным кораблем. Куда шел этот неведомый человек?

– Взгляните в иллюминатор, – говорил поздно ночью мистер Блом. – На это интересно посмотреть.

Инженер машинально бросил взгляд вниз. Под ним был город. Огромная толпа народа в цветных платьях окружала большое здание. Дирижабль висел столь низко, что при свете многочисленных бумажных фонариков внизу свободно различались отдельные фигуры. Березин узнал в них японцев.

– Что это? – невольно спросил он.

– Император Муцу-Хито при смерти. Вся Япония сошлась сюда, чтобы молить богов о продлении его жизни.



Инженер смотрел и видел, как религиозно была настроена эта толпа, как дряхлые старушки с криками падали в обморок от переживаемого чувства, как перед временными алтарями шинтоистские жрецы совершали горячие моления. «Почему умираю не я, никому не нужный, ничтожный человек, а этот великий император, любимый народом? Судьба несправедлива к людям», – думал инженер. – Впрочем, я знаю, что мне предпринять», – заключил он свою мысль.

А дирижабль, как огромное ночное насекомое, уже снялся с места и быстро несся на запад, рассекая воздух своей металлической грудью.

Х

Бегство

Стояла темная ночь.

Над вершинами вековых деревьев, покрывающих сбегавшие вниз отвесные крутики и горные скаты, с шумом и грохотом пассажирского поезда неслось бурное дыхание борея. Зеленые сосны и седые ели, глухо ропща на судьбу, склоняли под ним свои ветви. По дорожке, ведущей к высокой горной площадке, мелькнуло несколько теней, с большим трудом продвигавшихся вперед. Ветер яростно трепал их платья, стараясь оторвать путников от твердой почвы и бросить на каменистую грудь горы.

Вот тени остановились. Их было четверо. Скоро снизу к ним приблизился темный силуэт.

– Ну, что? – спросил один из путников, широкий, плотный человек с ружьем за плечом.

– По-видимому, все благополучно, – отвечал ему прибывший, – они ни о чем не догадываются.

– Скорей вперед, – вскричал предводитель отряда, выделявшийся среди других высоким ростом. – Буря сейчас утихнет.

Они напрягли усилия и скоро были на площадке перед скалистыми ангарами мистера Блома. Как мрачные чудовища, чернели воздушные драконы, распростершие далеко-далеко свои крылья. Здесь было сравнительно тихо.

Несмотря на это, корабли, как живые существа, трепетали всеми своими частями, грозя ежеминутно порвать свои цепи и нырнуть в мгlistую бездну.

Пятеро заговорщиков, среди которых, как это ни странно на первый взгляд, находились и две женщины, бесшумно подобралась к хвостовой части «Левиафана». Через минуту часовой-механик был связан, вынесен из каюты и заговорщики, в которых читатели, вероятно, узнали своих старых знакомых, явились полными хозяевами аэроплана.

– Скорей, скорей! – торопил инженер своих спутников. – Вы, доктор, и вы, Иван Михайлович, спустите цепи с боков – вот ключи, я же проверю аппарат.

– Вы не думаете, что пускаться сегодняшней ночью в такое предприятие безумно? Мы не разобьемся о скалы? – спрашивал Руберг.

– Мы рискуем, но иначе нельзя, половина дела уже сделана.

– Нельзя так нельзя, – философски заключил доктор. – Идемте, – обратился он к своему молодому другу.

«Я уверен, – рассуждал инженер сам с собой, – что аппарат выдержит шквал... Через каждую сотню сажен нужен поворот по кривой в 45°, иначе налетим на горную стену. Черт бы ее побрал, эту тесную долину!.. А больше ничего не придумаешь. – Вот только Кэт...»



– Готово, – сказал Руберг, появляясь в капитанской будке.

– Где наши дамы? – произнес Березин, наклоняясь над рычагами.

– В общей каюте хвостовой части.

– Начинаем, сейчас пойдем вперед. Вы их успокойте, доктор. – Что это?.. Что?..

Жужжание пропеллеров резко нарушилось страшным лязганьем и звоном цепей: казалось, неведомый гигант мощно ударил по исполинской струне, которая издала протяжный металлический звук. Аэроплан дрогнул, но оставался на месте. Струна гудела, завывала.

Доктор как будто окаменел от неиспытанного ужаса.

– Там цепь!.. Цепь должна быть на корме, – вскричал инженер, с быстротой молнии вылетая из рубки.

«Вот оно, – мелькнуло в голове Руберга, – то страшное, неведомое, чего я боялся. Оно пришло и разразилось в последний час!»

А инженер, как сказочный богатырь, с мрачной решимостью в лице, сильными взмахами неизвестно откуда взявшегося топора уже разбивал на корме последние оковы, прикреплявшие птицу к земной поверхности. Вместе с частью борта цепь с шумом свалилась в темную пасть ночи.

– Слава Богу, – облегченно вздохнул Березин, быстро направляясь на свое место.

Пропеллер опять издал свой характерный звук. Аэроплан дрогнул и, повинувшись руке управителя, ринулся в расстилающуюся перед ним бездну.

Доктор наблюдал за безмолвным инженером, в руках которого находилась судьба пяти человек, в том числе двух женщин. Березин спокойно и уверенно вел аэроплан в страшной темноте. Не дрогнув,

чуть не каждую секунду он перебрасывал рычаги, то увеличивая, то уменьшая поступательное движение. Когда корабль накренился в сторону особенно сильно, доктор знал, что это означает крутой поворот, а каждый поворот был новым шагом на пути к свободе.

– Доктор, взгляните в бинокль направо, вниз, – говорил инженер, – что вы видите?

– Вижу как будто огни, – отвечал Руберг, исполнив то, что было ему сказано.

– Это Бломгоуз. Мы вышли из горных стремнин! – радостно сказал Березин, обращая к Федору Григорьевичу свое сияющее лицо.

.....

– Боже мой!.. Мы падаем, мы перевернемся! – раздавались женские крики на «Левиафане» два часа спустя после описанных выше событий. Аэроплан сильно накренился влево, падая вниз. Стремление к земле было так сильно, что чувствовалось, как пол уходил из-под ног.

Что же случилось? Усталый инженер передал управление Рубергу, указав ему, как нужно руководить кораблем.

Руберг с точностью автомата исполнял свои обязанности в течение получаса. Вдруг аэроплан получил сильный толчок в левый борт, сделав уклон чуть не в 30°. Доктор едва устоял на ногах. Желая выровнять аппарат, он дал струю сжатого газа под правую плоскость. Бедный доктор! Он нанес слишком сильный удар и тем ухудшил положение: аэроплан перевернуло налево. В таком виде он начал падать в бездну.

Явившийся инженер хотел исправить ошибку, но не мог.

Рули его не слушались, с ними что-то случилось. Аэроплан падал.



Инженер решился на героическое средство. Он поставил плоскости в поступательное положение и пустил в ход все три винта.

Корабль, вздрагивая, как горячий конь под седоком, понесся вперед с неопикуемой быстротой. Все части его дрожали, стенки, казалось, гнулись под стихийным напором воздуха.

А барометр, хотя медленно, все повышался. Аэроплан падал.

– Готовьтесь к спуску! – скомандовал инженер: – все в кормовую часть. Там толчок будет не так силен.

Луч прожектора прорезал темноту. Березин при этом свете выбирал место для спуска. Под ногами была равнина.

«Счастье не покидает нас», – думал Николай Андреевич, уменьшая быстроту хода.

Раздался страшный треск, толчком инженера отбросило к медным резервуарам.

Аэроплан стоял на земле.

«Должно быть, крыло сломалось», – подумал инженер, оправляясь от удара.

Наступивший после томительной ночи рассвет застал потерпевших крушение путешественников в превосходном состоянии духа. Доктор был в ударе и своими шуточками смешил мисс Кэт и m-elle Софи. Горнов казался веселым, лишь инженер был задумчив. Кругом расстилалась песчаная степь. Вдали виднелись горы.

Левое крыло аэроплана превратилось в груды обломков. Починить его нечего было и думать.

– Нам придется его покинуть, – с грустью объявил инженер, – и пешком добраться до ближайшего селения.

– Значит, по образу апостольскому? – спросил Руберг.

– Надеюсь, это не будет далеко. Ведь мы в пустыне Кара-Кум, где-нибудь около Каспия?..

– В том-то и дело, что нет, милый доктор. Вместо запада, во избежание преследования, я летел на восток, предполагая спуститься около Великого Сибирского пути, где-нибудь вблизи Томска или Иркутска. Судьба судила иное...

– Где же мы? – воскликнули все хором.

– В пустынях Восточного Туркестана.

Это известие привело всех в смущение. Молодые девушки не понимали всей величины опасности, но смутно чувствовали что-то угрожающее.

– Мы направимся к горам, – сказал Березин, – и там найдем случай переправиться в Россию.

Сборы в путь были недолги. Мужчины взяли оружие и провизию, женщины самое необходимое из туалета и драгоценности.

– Как же останется это? – говорил доктор, указывая на аэроплан.

– Мы его уничтожим, – ответил инженер, стреляя из револьвера в механическую птицу. Через две минуты чудеснейшее из творений мистера Блома превратилось в прах.

– Мне жаль его, – проговорил инженер, отвертываясь, чтобы скрыть непрошенную слезу.

Ему никто не ответил. Все молча двинулись в путь.

Два дня шли путники по безводной пустыне без всяких приключений. На третий с запада показалось облако пыли.

– Хищные кочевники, – сказал Березин. – Приготовимся к бою.

Но то были не кочевники, а отряд русских солдат, направлявшихся в Яркенд.

Березин и его спутники были спасены.



Спустя два месяца в одном из предместий Петербурга мирно и счастливо проживали две семьи: одна – Николая Андреевича Березина, нашедшего в лице мисс Кэт тот женский идеал, к которому он стремился, другая – Ивана Михайловича Горнова, соединившегося неразрывными узами брака с веселой m-elle Софи. Доктор Руберг, так тесно связанный с обеими семьями, поселился вблизи друзей и являлся для них всегда желанным гостем.

Что же еще сказать? Читателя, вероятно, интересует вопрос об остальных действующих лицах нашего правдивого рассказа. Как отнесся к похищению внучки мистер Блом?

Как живет Гобартон? Продолжает ли существовать неведомый город и грозит ли он из далеких азиатских дебрей нарушить спокойствие всего мира? – Все это такие вопросы, которые в настоящий момент неразрешимы. Но, может быть, когда-нибудь ответы на них читатели и получат.

Корифеи ставропольской адвокатуры

На суд читателей мы представляем статьи о лучших ставропольских адвокатах, когда-то широко известных, ныне почти забытых наших сограждан. Их имена неизвестны не только для рядовых читателей, но и квалифицированных исследователей, юристов-правоведов.

Среди них были присяжные поверенные Дмитрий Иванович Евсеев, Григорий Николаевич Прозрителев, Владимир Паулинович Зданович, Флориан Антонович Пеньковский, Горгоний Андреевич Перловский, Евгений Григорьевич Маслов, Рудольф Рудольфович Глиндзич, Иван Карпович Дульветов, Самуил Данилович Островский, Иван Петрович Селаври и многие другие. Весомый вклад в развитие ставропольской присяжной адвокатуры внесла династия Манжос-Белых. Во многом благодаря их трудам росло и крепло сословие присяжных поверенных на Юге России. Их опыт мог бы послужить образцом для нашей современной адвокатуры.

Герои провинциальных процессов, они логикой своего мышления порой превосходили прокуроров.



**АЛЕКСЕЙ
КРУГОВ
АНТОН
ПАСТЕЛЬНЯК
ЮРИЙ
БЕРЕЗИН**

Краеведение





Среди них были тонкие аналитики, умело раскрывающие противоречия в документах, ораторы, блестяще ведущие дебаты. Они по-разному готовили свои судебные речи, их выступления были хорошо выстроенными и восхищали современников безукоризненной логикой. Как они участвовали в судебных процессах, как помогали молодым коллегам? Какой была обстановка в провинциальных судах и вокруг судов дореволюционного Ставрополя? Многое, к сожалению, безвозвратно утеряно, отчасти традиции провинциальной адвокатуры забыты. Но крупницы некоторых бесценных фактов их жизни и деятельности, сохранившиеся в местных архивах, все же остались.

Присяжный поверенный – адвокат в Российской империи при окружном суде или судебной палате. Звание существовало в период с 1864 и по 1917 год. Каждый присяжный поверенный, вступая в корпорацию, давал «Клятвенное обещание» – «хранить верность» государю, «исполнять в точности» законы и «охранять интересы» своих доверителей. При этом адвокат обещал помнить, что во всем он должен будет «дать ответ перед законом и перед Богом на страшном суде его». Присяжным поверенным тогда по закону могло быть лицо не моложе 25 лет и с юридическим стажем не менее 5 лет.

Блестяще эрудированный юрист

Дмитрий Иванович Евсеев...Блестяще эрудированный юрист. Его называли «вождем местной адвокатуры», «бескорыстным защитником обездоленных», «общественной совестью», «пионером провинциальной печати». Присяжный поверенный «первого призыва» отдал адвокатской работе 39 лет своей жизни.

Типичный семидесятник-интеллигент, он, по воспоминаниям современников, «верил в творческие силы общества, и проявления «темных сил» не привели его к разочарованиям и оппортунизму». Д.И. Евсеев имел высшее юридическое образование, окончил Московский университет со степенью кандидата прав. Его учителями были выдающиеся по тем временам ученые правоведы. Говорили, что он имел счастье слушать лекции знаменитого историка С.М. Соловьева...

В его облике не было ничего необычного: «Среднего роста, плотного телосложения, темно-русый с умеренными усами и маленькой с большой проседью бородой, глаза серые, нос умеренный, лицо бледное». В губернии имел безупречную деловую репутацию. Из характеристики ставропольского губернатора: «Присяжный поверенный округа Тифлисской судебной палаты Дмитрий Евсеев ни в чем предосудительном в нравственном и политическом отношении не замечен». Не будем идеализировать. Ничто человеческое ему было не чуждо: «Дядя Митя любил отдохнуть за пулькой в преферанс». Что ж, было и такое!

Его юридическая помощь выражалась в «бесплатных подачах советов по судебным, административным и другим делам, составлении прошений и принятии дел к внедрению в судебных и других учреждениях». Евсеев оказывал существенную поддержку молодой адвокатуре не только ценными советами, но и материально «путем уступки значительного количества дел» начинающим коллегам.

Дмитрия Ивановича, как адвоката, хорошо знали на Юге России. Он был широко известен среди юристов Екатеринодара, Таганрога, Ростова-на-Дону. В Новочеркасске входил в совет присяжных поверенных. Именно при нем, взамен «юридических знаха-



рей», так называемых «аблакатов», пришли профессиональные юристы. Для населения были открыты юридические консультации. Благодаря таким людям, как Евсеев, провинциальная адвокатура сделала немало: противостояла беззаконию, отстаивала нормы права. В 1903 г. на страницах газеты «Северный Кавказ» были напечатаны его статьи «Житейские недоразумения (из заметок адвоката)».

Что, прежде всего, беспокоило адвоката?

Юридическая безграмотность населения! Эта тема остается актуальной до сей поры. Именно он на страницах своей газеты впервые занимался элементарным юридическим ликбезом населения, подробно рассказывал о самых актуальных юридических проблемах и путях их решения. В частности, о проблемах наследования и семейного права. По свидетельству исследователя Натальи Дорошенко «авторский метод Д.И. Евсеева – повествование «от противного», когда в статье сначала приводились примеры неверных действий клиентов и их последствия: обращение к адвокату после истечения срока давности, нарушения процессуальных формальностей. Затем автор давал подробные разъяснения о правильном ведении дел (оформлении материальных компенсаций по производственным травмам, опекунов над малолетними, бракоразводных процессов и т.д.)».

Редактор газеты «Северный Кавказ»

Сегодня мало кто знает, что ровно сто лет тому назад, в декабре 1884 года в Ставрополе вышел первый номер частной газеты «Северный Кавказ». И именно Евсеев в течение двух десятилетий был редактором этого издания. А создавалась газета не просто, ой-как непросто!

Сохранились воспоминания его ученика, адвоката Г.Н. Прозрителева: «Вот мы с ним в 1884 году «ломаем» голову над созданием местной газеты. Среди всего состава местной интеллигенции один Дмитрий Иванович не отшатнулся, когда я пришел к нему с предложением издавать газету и быть ее редактором. Сколько было хлопот и волнений, сколько слышалось упреков и насмешек... Кто поверит всему этому теперь, когда газеты растут как грибы? Но сколько было радости, когда первый номер «Северного Кавказа», свеженький, взглянул на нас своим крупным заголовком».

Вот еще одно откровение писателя Ильи Дмитриевича Сургучева: «Лет 35 тому назад Евсеев создавал первую печатную газету на всем Северном Кавказе и создавал ее где? В Ставрополе. С чем, с каким подвигом сравнить теперь эту заслугу? Я думаю, – скажу и мало ошибусь, что по тем временам это было также трудно, как теперь создать, например, университет в нашем городе. И чего это стоило? Я был мальчишкой, но помню, как на косяках домов, на фонарных столбах дядя Митя расклеивал объявления и взывал к обывателю:

– Помогите! Поддержите газету!»

В общем, поддержали, помогли... Газета вышла.

И швец, и жнец, ... и предводитель дворянства!

Дмитрий Иванович имел широчайшие связи во всех сферах культурной и образовательной жизни Ставропольской губернии, принимал деятельное участие в многочисленных губернских общественных организациях. Он был действительным членом губернского статистического комитета, уездным предводителем дворянства, состоял старшиной общественного собрания, необязательным дирек-



тором губернского попечительства о тюрьмах. Искренний поборник народного просвещения, Евсеев стал учредителем общества грамотности.

«Необыкновенная отзывчивость, редкая мягкость характера делали Дмитрия Ивановича центром, объединявшим людей в той или иной работе, – отмечал Г.Н. Прозрителев, – нужен благотворительный сбор, и он участвует в спектакле, поет в благотворительном концерте, необыкновенно симпатичный, мягкий и выразительный тенор его электризует публику и зал дрожит от рукоплесканий, ...создавался ли в Ставрополе «драматический кружок, учреждались ли «музыкальные классы», неизменно все группировались около Дмитрия Ивановича».

*Артист-любитель и присяжный адвокат,
Иль адвокат-любитель и артист присяжный,
Держал и так и сяк, талантами богат, –
И выходил, как победитель, авантажно.*

Что подкупало современников в жизни этого человека? Высокое нравственное начало во всей его адвокатской деятельности. Из воспоминаний писателя Ильи Дмитриевича Сургучева: «И большим, умным джентльменом прошел он мимо наживы, мимо домостроительства, мимо провинциального благополучия, мимо всей этой засасывающей пошлости. Он зарабатывал десятки тысяч, но где его торт-паллацо? Не знал старик сладости дверных замков и бриллиантов, сверкающих на безымянном пальце! Беден его кабинет и цена столу его письменному – двадцать рублей...»

Как личность, он выделялся среди своих коллег, знакомых, друзей. Вот еще одно свидетельство тех лет: «Вспомните «время преддумья» и время Государственной Думы первого созыва. Он был посто-

янным председательствующим на многолюдных собраниях тех времен. Он вносил своими речами в страсти и бури тех времен бодрящее примиряющее начало и веру в светлое будущее, которое видел через волны этих страстей. В самой его натуре много примиряющего, гражданской деликатности и терпимости, которые и нес он с собою всюду, где брал на себя тот или иной труд».

Дмитрий Иванович Евсеев прожил в Ставрополе порядка 40 лет, умер 10 июня 1915 года. Ставропольская присяжная адвокатура «в знак особой признательности и глубокого уважения к умершему» решила похоронить его за свой счет. Пресса откликнулась на смерть дяди Мити прочувствованными некрологами. В день похорон один из его современников написал: «Пошлите ему сегодня роз из ваших садов; пошлите ему цветов, побольше цветов из рощи, и пусть, как белый виноград, ляжет к ногам его венок из белых акаций... И пронесите его мимо «Северного Кавказа».

Дело купца Меснянкина

Это было, пожалуй, одно из самых резонансных дел в нашей губернии начала XX в. В центре скандального судебного процесса оказался глава известного торгового дома, ставропольский миллионер Прокофий Меснянкин. Он обладал значительным торговым капиталом и играл видную роль в экономической жизни губернии. Его ежегодный товарооборот составлял сотни тысяч рублей. В Ставрополе и Ростове-на-Дону имел несколько домов, значительные земельные наделы, до 3 тысяч голов крупного рогатого скота и порядка 40 тысяч овец.

В деловом мире пользовался репутацией «вполне порядочного человека», слову которого можно



было доверять. Меснянкины были щедрыми меценатами, жертвовавшими значительные суммы денег на строительство храмов и развитие местной культуры. Словом, это была известная на Юге России купеческая династия.

И вот миллионер на скамье подсудимых! Его обвиняли в мошенничестве при расчете с работником. Дело-то плевое, «о двадцати недоплаченных рублях», а сколько шуму! Репутация известного торгового дома оказалась серьезно подмоченной.

...Патриархальный южный город гудел, как растревоженный улей: обыватели судачили на кухнях, репортеры обсуждали на страницах газет. «Миллионер-мошенник под судом», «Чья возьмет: купца или крестьянина»? Народ волновал вопрос: «А может ли простой крестьян судиться с купцом»? Ведь, как гласит народная мудрость: **«Богатому идти в суд: трын-трава, бедному: долой голова»**. Будет ли человек с деньгами и влиянием отвечать за содеянное по закону?

Говорят, что сам Прокофий Меснянкин был чрезвычайно угнетен сложившейся ситуацией, платил немалые гонорары, чтобы «выйти сухим из воды». Дело Меснянкина вел опытный местный адвокат Иван Петрович Селаври. По приглашению миллионера и за очень приличный гонорар купца также вызвался защищать один из лучших адвокатов России Федор Никифорович Плевако. Несколько месяцев назад он успешно защитил промышленного магната Савву Ивановича Мамонтова. Суд тогда признал факт растраты, но все подсудимые были оправданы. И вот «московский златоуст», корифей отечественной адвокатуры Плевако осенью 1900 г. прибыл в Ставрополь.

Адвокат экстра класса, «гений слова», «великий оратор» – так величали его современники. Именно

ему на судебных процессах гремели «рукоплескания взволнованных, потрясенных слушателей». Из массы судебных дел, в которых принял участие Плевако, особо выделялось дело игуменьи Митрофании. Этот процесс вызвал широкий интерес не только в России, но и в Европе.

Дело игуменьи Митрофании

Игуменья Митрофания, в миру баронесса Праксавья Григорьевна Розен, принадлежала к высшему аристократическому обществу. Она была дочерью героя Отечественной войны 1812 г. и командующего Кавказским корпусом Г.В. Розена. Фрейлина царского двора, танцевала на балах в Зимнем дворце с императором Николаем I. Баронесса увлекалась живописью, была любимой ученицей знаменитого художника-мариниста И.К. Айвазовского. Позднее оставила учебу у художника, забросила светские развлечения, занялась иконописью. Жертвовала в монастыри иконы и деньги, постриглась в монахини, возглавляла Введенский Владычный монастырь в Серпухове. Именно она была одной из руководительниц русского движения сестер милосердия.

Потом разразился всероссийский скандал. Игуменью обвинили в мошенничестве и подлогах на сумму по тому времени колоссальную: более 700 тыс. рублей. Были у нее и верные помощники. Как сказали бы теперь: она действовала в составе ОПГ.

Плевако выступал в качестве поверенного потерпевших. На процессе стал главным обвинителем игуменьи и ее монастырских подручных. Дословно Плевако сказал присяжным: «Овечья шкура на волке не должна ослеплять вас. Я не верю, чтоб люди серьезно думали о Боге и добре, совершая грабительства и подлоги».



Федор Никифорович умело воздействовал на присяжных заседателей. Свой секрет он объяснял знаменитому художнику В.И. Сурикову так: «Ты, Василий Иванович, когда пишешь свои портреты, стремишься заглянуть в душу того человека, который тебе позирует. Так вот и я стараюсь проникнуть в души присяжных и произношу речь так, чтобы она дошла до их сознания».

Суд присяжных (1874 г.) признал Митрофанию виновной по основным эпизодам дела и приговорил к четырнадцатилетней ссылке в Енисейскую губернию. Её лишили духовного звания, велели снова именоваться баронессой Розен. В Сибирь Митрофания не поехала, её заступники добились смягчения приговора. Игуменью выслали в женский Иоанно-Мариинский монастырь в Ставрополе. Здесь она много трудилась, украсила монастырские храмы и крестовую архиерейскую церковь иконами своей работы. К сожалению, до нашей поры мало что сохранилось. В 1880 году её ссылка была досрочно прекращена.

«Убедить, растрогать, умиловать».

Слушания по делу Меснянкина проходили в здании Ставропольского уездного съезда. У входа не протолкнуться. Послушать «звезду адвокатуры» собрался весь «цвет» города. В зале «неслыханная ажиатация», все места заняты, в проходах множество людей, на первых местах все адвокатское сословие, чиновники, репортеры.

Потерпевший – простой крестьянин Самарской губернии Тимофей Суббота. Зимой 1899 г. стал работником в одном из имений купца Меснянкина с оплатой в 60 руб. По болезни был уволен со службы. За расчетом ему предложили явиться в Ставро-

поль, где проживал хозяин. В конторе подсудимого Меснянкина Суббота написал расписку в получении полного расчета. Позднее в прошении на имя городского судьи он требовал присудить ему 20 руб. с бывшего хозяина, «так как последний вместе со своим приказчиком Павликовым, взяв расписку в получении расчета, на самом деле ни копейки не дал». В ответ на это прошение купец письменно заявил судье, что им «уплочено работнику все, что следует». Меснянкин предъявил судье расписку истца и просил возбудить против последнего уголовное преследование за вторичное требование денег. Однако, впоследствии, когда дело приняло уголовный характер, купец сознался, что при получении расписки «денег работнику не платил». На суде выяснилось, что Субботе «следовало за службу всего 20 руб.». По свидетельству приказчика, работник оказался нерадивым: потерял брезенты, стоящие 20 руб., «кроме того один день был пьян и причинил убытку на 5 руб.»

Таким образом «при расчете Тимофею не следовало ни копейки, а, напротив, еще он был в долгу». На следствии очевидец происшествия, приказчик Павликов утверждал, что Суббота «был предупрежден о возможности вычета». Впоследствии приказчик несколько раз менял свои показания...Работник, со своей стороны уверял, что он «не только не был предупрежден, а, напротив, не сомневался в том, что ему отдадут все следуемое, тем более, что предлагая ему расписаться, хозяин отсчитывал деньги и, только после выдачи расписки, ему было предложено уйти без расчета».

Городской судья, принимая во внимание все эти обстоятельства, назвал в своем приговоре «издевательством над горьким положением работника



утверждение приказчика Павликова, будто человек, не получивши ни копейки за службу, ушел совершенно довольным и даже не возражал против таких жестоких вычетов, как пять рублей за один день пьянства».

Судья особо подчеркнул два обстоятельства: во-первых, работник, заранее предупрежденный, что ему не дадут ни копейки, не стал бы подписывать расписку. Во-вторых, Меснянкин ходатайствовал о преследовании работника в уголовном порядке за вторичное требование денег, когда «он и одного раза этих денег не платил». Купцу за явное мошенничество грозил тюремный срок.

И вот слово предоставляется Плевако. Ему около 60, за плечами более 30 лет адвокатской практики. Каким он запомнился современникам? «Скуластое угловатое лицо калмыцкого типа с широко расставленными глазами, с непослушными прядями длинных черных волос могло бы назваться безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевленном выражении, то в доброй, львиной улыбке, то в огне и блеске говорящих глаз... Нескладно сидел на нем адвокатский фрак, а пришептывающий голос шел, казалось, вразрез с его призванием оратора. Но в этом голосе звучали ноты такой силы и страсти, что он захватывал слушателя и покорял его себе». Оратором он был, действительно, уникальным. ...К сожалению, мы не располагаем текстом этой его речи. Плевако практически никогда их не писал. Если и делал записи, то нечасто, по просьбе близких друзей или газетных репортеров. Идеально владел трояким призванием защиты: «Убедить, растрогать, умиловить».

В суде стенограмму вел Н.И. Корецкий. Вот что он писал: «В публике водворяется напряженное молчание, слышен нервный кашель... Федор Никифоро-

вич начинает свою речь негромко и, прежде всего, замечает, что два защитника не обязаны непременно мыслить одинаково. По некоторым вопросам они могут высказывать совершенно различные мнения, как это бывает с врачами, приглашенными к постели больного для консультации». Несколько комплиментов в адрес судьи ... «отдаю должное благородным побуждениям городского судьи, но в то же время в приговоре замечается какая-то односторонность, судья не обращает внимания на факт зачета. Потеря брезентов и пьянство работника, когда у него масса скота... Под словами расписки «расчет полностью получил» не нужно понимать непременно получку денег». По мнению Плевако в деле отсутствовало «похищение чужой собственности посредством обмана и, следовательно, нет преступления, наше законодательство на стороне хозяина, симпатии же в пользу работника...» Местный адвокат Селаври, также защищавший купца, просил оправдать подсудимого. В своем последнем слове Прокофий Меснянкин был предельно краток: «Ничего не знаю... Я этого человека не нанимал и в глаза никогда не видел».

Ему не раз аплодировала публика

Защищал Субботу адвокат Кулябко-Корецкий, секретарь редакции газеты «Северный Кавказ». К процессу подготовился основательно, на суде был убедителен и красноречив. Именно ему, а не Плевако, не раз аплодировала публика. Николай Иванович Кулябко-Корецкий... Личность, безусловно, незаурядная, по политическим взглядам был близок к народникам. В 1882 его лишили права заниматься адвокатской деятельностью за использование суда для политических обличений. Неоднократно подвергался арестам, в Ставрополе состоял под не-



гласным надзором полиции, как «один из злостных неблагонадежных». Позже уехал в Женеву, был корреспондентом газеты «Русские ведомости». Оказывал финансовую поддержку группе «Освобождения труда» В.Г. Плеханова.

Из выступления Кулябко-Корецкого на процессе: «Господа судьи, две защитительные речи создают положение странное, почти беспримерное. Защитники вошли в полемику: один из них начал оспаривать мнение другого... Сравнение, сделанное г-ном Плевако, не подходит к данному случаю: врачи у постели больного могут высказывать разные мнения, но каково же будет положение аптекаря, когда один требует хинин, а другой стрихнин (в публике смех)... Идет уже второй год с той поры, как работник предъявил иск о заслуженных им 20 рублях. Пролито много чернил, попорчено много бумаги на прошения, произнесены адвокатские речи, но все это сделано в интересах Меснянкина... Впервые мне предстоит произнести речь в защиту потерпевшего». Речь была выстроена блестяще, зал неоднократно аплодировал Кулябко-Корецкому, симпатии публики были на стороне крестьянина.

Под впечатлением и по мотивам процесса писатель Илья Сургучев написал пьесу «Торговый дом» (1913 г.). Меснянкины в пьесе были представлены семьей Костяниных. Один из героев пьесы в сердцах воскликнул: «Вас ведь, торговый дом-то, во как проверять нужно! Из папаши родного сало вытопите». Другой персонаж с грустью добавил: «Так для кого ж вы наживали это? Для себя? Так вы ж ничем не воспользовались. Вы нажили хлеба, которого не поесть за 500 лет; вы настроили домов, в которых можно прожить 500 лет. Для кого?»

Эпизоды из жизни «Ставропольской правды»

После окончания войны редко кто из редакционных работников «Ставрополки» был одет в гражданское – все в кителях и брюках галифе. Только что знаков различия уже ни на ком не было. Только орденские планки. Больше всех их было у Леонида Махровского, вернувшегося с полей сражений в самом высоком для редакции звании – полковника. По тельняшкам можно было определить, что Георгий Калмыков, Леонид Булатов и Евгений Михалев – вчерашние моряки. В праздники солдатский орден Славы надевал заведующий отделом публицистики, информации и фельетонов Александр Маяцкий. Когда первый раз на планерку явился только что принятый заместителем ответсекретаря Арнольд Гурфинкель, то редактор тут же вызвал в кабинет директора издательства Владимира Мокротоварова (оно тогда входило в систему редакции) и попросил выдать новому сотруднику де-



**ВАЛЕРИЙ
ПОПОВ**

Краеведение





нег «под отчет», чтобы тот мог купить себе брюки без дыр на коленках.

* * *

О предстоящей денежной реформе, проведенной в СССР с 1 января 1961 года, население было проинформировано заранее. Новогодний номер газеты плавно катился к подписи в печать и все причастные к его производству, были, как говорят, на низком старте, готовые по первой отмашке рвануть домой, чтобы успеть под бой Курантов со всеми поднять бокал шампанского. После трехчасового молчания вдруг заработал телетайп. Ничего доброго это не сулило: обычно после этого передавался материал под грифом «Литерная», что означало обязательное опубликование. А тут еще вдруг такая устрашающая строчка: «Просим подойти к аппарату ответственного работника редакции». Всех, кроме ведущего номер заместителя ответсекретаря, давно уже, как ветром сдуло. И телетайп снова затарахтел: «Сейчас будет передано обязательное для опубликования важное правительственное сообщение. Просим не разглашать его содержание до выхода газеты, предупредить об ответственности за это всех причастных к выпуску газеты». Часы отстучали 23 часа, 23-30, 23-45... Мысли лезли разные... И наконец техника ожила, все прильнули к бегущей строке: «Старая разменная монета достоинством 1, 2 и 3 копейки сохраняется в обороте». Конечно, Новый год все встречали по дороге домой, надеясь лишь на штрафную за опоздание. Но выгоду они все-таки получили. Почти все, придя домой прошлись по рядам гостей и поменяли все свое «серебро» на их «медь». Выгода от невстреченного Нового года равнялась 1 к 10-ти.

Кому неизвестен снимок времен Великой Отечественной Ивана Шагина «Политрук продолжает бой» – с почти полностью забинтованным лицом, с автоматом в руке, офицер поднимает в атаку на врага своих солдат. В один из дней к сотруднику редакции Юрию Христинину зашла незнакомка и, протянув фотографию, сказала: «Это мой брат Миша Калинин». Сам Шагин вспомнил немного: «Снимал я это где-то в 44-м под Ригой. Фамилию офицера, конечно, ни у кого не спросил». На запрос Христинина столичные эксперты ответили лаконично: «Изучаем». Что-то начало проясняться, когда снимок попал к столичному криминалисту Н. Маркову. «Изучаю, делаю негативы различной плотности, снова переснимаю, увеличиваю. Скоро все будет ясно», – писал он. И вот долгожданный и категоричный ответ: «Это – политрук М. И. Калинин из Георгиевска!» Это была не только победа Юры Христинина, это стало праздником для всей редакции. Жаль, что И. Шагин до этого дня не дожил.

Редактор краевой газеты в советские времена обязательно должен был быть депутатом крайсовета. Письма из избирательного округа, где баллотировался один из первых послевоенных редакторов «СП» Иван Иосифович Юдин, всегда были на контроле редакции. Читатели понимали, что от газеты можно ждать реальной помощи и писали, писали... Пришло как-то такое письмо и с одной из утопающих в грязи окраинных улиц Ставрополя. Юдин пригласил к себе первого секретаря райкома, председателя райисполкома и предложил им прокатиться с ним. Облачившись в охотничьи сапоги, редактор повез



гостей в их район, остановил машину в центре миргородской лужи, смело вышел из кабины и пошел к стоящим недалеко домам жильцов – авторов письма. Надо было видеть, как скакали в туфельках по грязи местные начальники, едва поспевая за редактором краевой газеты. Дня через три в «Ставрополке» уже была опубликована заметка под рубрикой «Меры приняты». После такой экскурсии в районе готовы были все вокруг заасфальтировать, не то, что лужи ликвидировать.

* * *

Одним из памятейших событий для всего края стал приезд в Ставрополь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева. Митинг, на котором он должен был выступить с речью, запланировали на стадионе «Динамо». Надо ли говорить, какие меры предосторожности приняли его организаторы. На главную трибуну муха не пролетела бы. Но что делать фотокорреспонденту «Ставрополки» Сурену Петросяну? Снизу снимать – получится очень мелко, а ближе не подберешься...И вдруг к входу на трибуну подходит делегация пионеров с букетами и красным галстуком, который они должны повязать Хрущеву. Сурен Мартиросович позаимствовал пионерский галстук у одного из пришедших приветствовать высокого гостя мальчугана, быстро повязал его себе на шею, схватил двух пацанов за руки и на трибуну. Милиционеры у входа приняли его за пионервожатого. С причитаниями «Быстрее, ребята, быстрее» прошмыгнул Сурен Мартиросович мимо охраны. Прежде чем его выдворили с трибуны, ему хватило 1/250 доли секунды, чтобы сделать один кадр, который на другой день украсил первую полосу «Ставрополки».

* * *

Фотокорреспонденту газеты по Кавминводам Николаю Резниченко повезло меньше. Заметив на Пятигорском ипподроме Семена Михайловича Буденного, он стремглав кинулся запечатлеть народного комдива. Тот как раз вскочил в седло подведенного к нему красавца-коня. Только Коля снял крышку с объектива, как услышал: «Где ты, дурак, видел Буденного в чесучовом костюме на лошади?». Николай потом с улыбкой всем рассказывал, что его сам Буденный дураком назвал.

* * *

Жизнь в «полосочку» присуща, вероятно, всем. Не успеешь остыть от неожиданно нагрянувшей удачи, как на тебя вдруг наваливается куча неприятностей. Ставший первым секретарем крайкома КПСС Иван Болдырев находил недостатки во всем. Как-то газета вышла с очередной передовой статьей и ее заголовок возмутил первого секретаря: «Почему написано «повышать партийное влияние»? Не партийное влияние надо повышать, а роль руководства». Редактор «Ставрополки» Иван Зубенко начал объяснять, что под руководством понимается весьма узкое направление, а влияние – это шире, гуманнее, авторитетнее. На что Болдырев возразил: «Ленин назвал бы тебя оппортунистом!» Ответ редактора его ошеломил: «Надо быть Лениным, чтобы так утверждать».

* * *

Главными событиями в советские времена 1 мая и 7 ноября были военные парады и демонстрации трудящихся. Проводились они по всей стране. В один



из таких ноябрьских праздников в Ставрополе на площадь Ленина «выехал» громадный макет крейсера «Аврора», выстрел которого по Зимнему дворцу стал символом победы Октябрьской революции. Аплодисментами встретили «корабль» и оккупировавшие трибуну краевые вожди. «Аврора» медленно «проплыла» к центру площади, остановилась, развернула пушки в сторону трибуны и громыхнула из всех стволов по собравшимся, засыпав все вокруг новогодним конфетти. С тех пор еще на подступах к площади стали проверять все подобные макеты. Говорят, директора средней школы, в колонне которой двигался этот символ победы Октября, с работы уволили. Эту историю я вспомнил, потому что семь лет подряд освещал в газете демонстрации на главной площади края и был свидетелем многих казусов на этих праздниках. То юные пожарные из огнетушителей залили всю площадь мыльной пеной, после чего она превратилась в каток, то, не обращая ни на кого внимания, – ни на гром оркестра, ни на многочисленное скопление людей, по плацу в гордом одиночестве во главе очередной колонны прошествовала... собака. 14 раз писать об одном и том же – это трагедия для журналиста. Как только получал такое задание в памяти всплывали строки из предыдущего подобного репортажа: «Словно волны морского прибоя, несется над площадью трехкратное солдатское «Ура!»

* * *

Ошибки и накладки случаются в любой сфере деятельности человека. Но в газете это «ЧП». Главное, что, чем крупнее шрифт, тем большая вероятность, что казус никто не заметит. Помню «Советская Калмыкия» громадным шрифтом через всю первую по-

лосу возвестила – «Собран рекордный урожай кукурузы!» Редактора «Ставрополки» Андрея Попутько звонок первого секретаря крайкома КПСС разбудил в начале седьмого утра. Информационное сообщение об очередном заседании Политбюро ЦК КПСС, как всегда поступившее в редакцию где-то ближе к полуночи, открывало первую полосу под заголовком «В Политборо ЦК КПСС». Корректоры это называют «глазной» ошибкой, но досталось всем кто был причастен к выпуску номера по первое число: список тех, кто получил строгий выговор едва уместился на страницу. Ляпы они сродни с ошибками. Нина Островская в репортаже об экзамене в школе написала: «Правило левой руки четко формулирует подпасок правой руки В. Нечтайло». А как вам нравится текстовка под снимком с демонстрации: «Вприпрыжку прошел перед трибуной коллектив местного Дома культуры». В гости к пятигорской футбольной команде «Машук» приехал финский клуб «Палосеура», который в своем отчете о матче А. Зыбин обозвал «Палоусерой». Вообще-то ни один номер газеты не обходится без ошибок. Как писал Марк Твен, «ты хоть семь корректур поставь, а она (ошибка) найдет лазейку на полосу».

* * *

«Газету надо делать весело», – любил повторять многолетний ответсекретарь «Ставропольской правды» Александр Маяцкий. Первого апреля всегда был разгул такого веселья. Каждому новичку редакции обязательно подсунут для обработки «письмо» – подлинный отрывок из Н. Гоголя, а потом хохочут над тем, как тот некорректно с классиком обошелся. Как-то заведующий отделом Юрий Христинин отправил своего подчиненного Владимира Кудинова



срочно сделать снимок и написать отчет об открытии в юго-западном районе краевого центра стелы «45-я параллель». Строительство этого, теперь крупнейшего микрорайона Ставрополя, тогда только начиналось и грязь там была непролазная. Через два часа Кудинов звонит: «Не могу ничего найти. Что делать?». «Возвращайся в редакцию. С 1-м апреля, Володя!». Кстати, такой стелы нет на Юго-Западе краевого центра до сих пор.

* * *

После появления в Ставропольском государственном университете факультета журналистики, первой экскурсией будущих мастеров пера являлся поход в «Ставропольскую правду». Там было на что посмотреть – за витринами редакционного музея хранились и допотопная пишущая машинка, и легендарная «Лейка», и погоны бывших журналистов-фронтовиков, касса с литерами букв для ручного набора, вытесненный интернетом телетайп, редакционные кубки и призы, добытые газетчиками в различных смотрах-конкурсах журналистского мастерства и даже обычное шило – неприменный атрибут работы метронпажа, проще говоря, верстальщика газеты. Оживление среди студентов наступало, когда они попадали к наборщикам, где стояли принтеры, и можно было сделать «копию» любой денежной купюры. Поскольку кухню производства газеты я прошел от «а» до «я», редактор, как правило, без раздумий экскурсоводом к начинающей пишущей братье отправлял меня. Через все громадную стену редакционного коридора были вывешены портреты всех работников редакции, удостоенных премии имени Германа Лопатина. «А скажите, пожалуйста, – раздался из толпы «молодняка» тонкий девичий

чий голосок. – А кто такой этот Герман Лопатин?». Пришлось ответить некорректно: «Если я Вам скажу, что он первый переводчик на русский язык «Капитала» Карла Маркса, я не уверен, что Вы не спросите «Кто такой Карл Маркс?»»

* * *

Творческие «четверги» были в свое время неотъемлемой частью жизни многих редакционных коллективов. «Ставрополка» – не исключение. В «Клубе творческих встреч» «СП» выступали неподражаемый Владимир Высоцкий, первый советский покоритель Эвереста Владимир Балыбердин, певица Валентина Толкунова, диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан, классик юмористического жанра Аркадий Райкин, гроссмейстер Михаил Таль, футболист Игорь Нетто, актеры Любовь Соколова и Георгий Тараторкин. Однажды в гости к журналистам нагрянул целый «табор» столичного цыганского театра под руководством Николая Сличенко. Разволнованный ведущий вечера заместитель главного редактора Георгий Терентьевич Калмыков объявил собравшимся: «Прошу любить и жаловать – у нас гостях – цыганский театр «Ромэн Ролан».

* * *

В 70 – 80-е годы минувшего столетия югославского певца Джордже Марьяновича в бывшем Советском Союзе знали и любили не меньше, чем таких исполнителей, как М. Магомаев, Э. Пьеха, Н. Брегвадзе, Н. Сличенко и многих других. Его концерты с успехом проходили по всей стране. Среди поклонников творчества этого певца было немало членов правительства. Его часто приглашали на приемы, в



том числе и сам Леонид Брежнев. Джордже Марьянович часто приезжал в Советский Союз и однажды он дал концерт в Ставрополе. Ему просто захотелось посмотреть город, откуда была родом его супруга. Было это в канун 8-го марта и мужчины «Ставропольской правды», решив сделать необыкновенный подарок своим сослуживицам, рискнули пригласить певца в Клуб творческих встреч редакции. Неожиданно идея обросла вполне резонным обоснованием. Участник Олимпийских игр в Риме ставропольский легкоатлет Борис Криунов рассказал газетчикам, что он вместе с Марьяновичем пел там на приеме «Подмосковные вечера». Югославского певца долго уговаривать придти в редакцию не пришлось. Сделали все, как в популярной тогда телевизионной программе Валентины Леонтьевой «От всей души». Смуглый, как цыган, Джордже, смеясь, рассказывал нам, что жену-ставрольчанку от выбрал потому, что она была «белая-белая». А на вопрос ведущего, помнит ли он, как пел в Риме «Подмосковные вечера», ответил утвердительно. «А с кем?» – допытывался ведущий. Этого Марьянович вспомнить не смог. Тогда, как рояль из кустов, в зал вошел Борис Криунов. Джордже всплеснул руками и обнял Бориса. Совсем не собиравшемся петь на встрече в редакции югославу пришлось пойти на попятную и по всем этажам редакции понеслась мелодия всеми любимой песни Василия Соловьева-Седого и Михаила Матусовского. Женщины редакции от такого подарка были в восторге. Сейчас Джордже Марьяновичу 83 года.

* * *

Каждый год, начиная с 1975-го, Ставропольский крайком ВЛКСМ в канун новогодних праздников

отправлял на БАМ делегацию, которая везла строителям железнодорожной магистрали подарки – теплые вещи, связанные школьниками Карачаево-Черкессии, которая тогда входила в состав нашего края, мед, орехи, другие подарки. «Ставропольская правда» учредила два кубка – Трудовой и Спортивной славы, которые автор этих строк вручал соответственно передовикам производства и лучшим спортсменам треста «СтавропольБАМстрой». В Иркутске всегда была пересадка на самолет, летящий в Усть-Кут, где и обосновалось это строительное подразделение. Прождав четыре дня погоды в Минеральных Водах, наконец, посланцы края добрались до Иркутска. В местном аэропорту аж руками всплеснули: «Так как же можно на Ан-24 перегрузить весь ваш багаж?». Это на самом деле было не просто: десять громадных мешков с вещами, три тюка орехов и две совершенно не подъемные фляги с медом. Уговоры и объяснения на иркутскую таможню не произвели никакого впечатления. И вдруг, как озаренный, к мешкам с теплыми вещами бросился секретарь Карачаевского райкома комсомола Борис Эркенов и начал развязывать один из тюков. Никто и опомниться не успел, как он с кипой шерстяных свитеров, шапочек, носков и варежек, скрылся за дверями пропускного пункта. Все поняли в чем дело, когда с улыбкой до ушей Борис оттуда вышел, а следом за ним выехал кар, на который работники наземных служб Иркутского аэропорта начали грузить весь багаж ставропольцев. На другой день новогодний праздник в Усть-Куте вылился в настоящее торжество и посланцы края, возводящие белокаменные дома посреди тайги, от души благодарили делегацию края за доставленную радость.



* * *

И еще два забавных случая, связанные с посещением наших журналистов БАМа. Из Тынды корреспондентов «СП» Николая Мищенко и автора этих строк провожал весь отряд имени П. Корчагина, сформированный на Ставрополье. 180 пассажиров набилось в накопителе аэропорта – не толкнешься. А журналисты везли для экспозиции в краеведческий музей им. Прозрителева и Праве тяжеленный тщательно забинтованный молот, которым был забит золотой костыль на стыке восточной и центральной веток магистрали и на ручке которого расписались все члены отряда. Как не повернешься – обязательно кого-то из будущих попутчиков заденешь. Наверное, это было чувствительно. И тут окрик: «Вы что с БАМа ничего кроме швабры взять в сувениры не могли?» После нескольких часов полета Ту-154 пошел на долгожданную посадку. В иллюминаторы видно, что за бортом идет дождь и что это не Минводы. А ведь из Иркутска вылетали при минус 35-ти и на Ставрополье по прогнозам должно быть где-то в районе 10-градусного мороза. Так что большинство пассажиров были в валенках. А вот и все объясняющее объявление стюардессы: «По погодным условиям наш самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сухуми». Не успели спуститься с трапа, как валенки, будь-то губка, набрались воды. Утешением было лишь то, что в Минводы все прилетели с громадными 10-килограммовыми авоськами мандаринов, которые в неограниченном количестве предлагали сухумские торговцы. «Это из Тынды такие подарки?», – встречали нас домочадцы.

* * *

За 50 лет работы в редакции у меня сменилось 10 редакторов. Должность эта особая, требующая не только таланта руководить творческим коллективом, но и умения вести непростой диалог с учредителями. Быть «хорошим, добреньким в редакции» и одновременно «послушным» в «Белом доме» – невозможно. Особенно это касается тех редакторов, которым выпала участь руководить газетой во времена партийной диктатуры. Один из них – Андрей Лаврентьевич Попутько. Он и предположить не мог, что когда-нибудь его пригласят в крайком, чтобы предложить пост главного редактора «Ставрополки». Надо сразу сказать, что с коллективом ему повезло. Цементирующим ядром была гвардия бывших фронтовиков – Г. Калмыков, И. Кравцов, А. Куликов, Е. Лукашевич, А. Маяцкий, П. Федоровский, Н. Циркель. Рядом с ними взрослела и мужала молодая поросль. Никогда не было проблем с финансированием, с оснащением полиграфическим оборудованием, транспортом, бумагой, почтой. На любое критическое выступление газеты прежде всего остро реагировали райкомы и райисполкомы, прокуратура, милиция... Высокие требования предъявлял к газете первый секретарь крайкома КПСС, но и поддержку его газета ощущала постоянно. Поэтому рубрика «Меры приняты» была регулярной в газете. Помню, как возмущался нашим выступлением секретарь Труновского райкома партии: «Я сейчас позвоню Горбачеву и расскажу, как газета издевается над районом», – кричал он в трубку. На другой день уже в 9-00 в приемной Андрея Лаврентьевича ждал секретарь Труновского райкома с официальным ответом на публикацию и слезно просил позвонить М. С. Горбачеву и доложить, что бюро Труновского райкома КПСС признало критику в га-



зете правильной и справедливой. Войну Попутько вспоминал редко, хотя начинал ее командиром отделения 997-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии Южного фронта.

Потом были Миус-фронт, южные области Украины, Крымские высоты, Сталинград, пески Калмыкии, форсирование Вислы и овладение Сандомирским плацдармом, взятие Дрездена.

Через многие годы назад его повернула находка на перевалах Кавказа ста трупов советских воинов. Много лет вместе с В. Гнеушевым он вел поиски различных материалов о боях в районе Марухского перевала. В 1963 году их книга «Тайна Марухского ледника» впервые увидела свет. «Никогда не думал, – писал Андрей Лаврентьевич, – что книга будет многократно издана и переиздана большими тиражами многими издательствами страны, найдет такой отклик в сердцах не только участников Великой Отечественной войны, но и в душах молодого поколения».

* * *

Чемпионат страны по пожарно-прикладным видам спорта – событие для Ставрополя неординарное. Со всех уголков СССР съехались в краевой центр лучшие пожарные команды. Стадион «Динамо», где проходили соревнования, как говорят, был забит под завязку. Завершали турнир эстафеты, на последнем этапе которых участникам приходилось тушить настоящий пожар. И когда уже началось награждение победителей, загремела медь оркестров, пришло сообщение, что рядом со стадионом – в парке культуры и отдыха, который теперь называется «Центральный», горит Зеленый театр. Трудно сказать участвовали ли в его ликвидации участники

чемпионата, но несколько расчетов ставропольских пожарных тут же оказались на месте «ЧП». И тут выяснилось, что приехали они без запасов воды, а шланги не доставали до ближайших источников водоснабжения. Деревянное сооружение театра полыхало во всю, а победители чемпионата страны – ставропольцы лишь созерцали это буйство огня пока театр не сгорел до тла. Уже утром в «Ставропольской правде» появился фельетон Александра Маяцкого «Снимите каски», в котором он от души «порезвился» над «чемпионами» СССР.

* * *

Тамара Воинова была как дочь полка. Сначала в «Молодом ленинце», потом – в «Ставрополке». Ее отец – собкорр «Комсомольской правды» по Северному Кавказу Владимир Войнов – погиб в автокатастрофе. Коллеги всяческой заботой окружили его дочь Тамару. Как губка впитывала она уроки мастерства ведущих журналистов краевых газет. И не только за красоту и обаятельность, а чисто по деловым качествам вскоре оказалась в штате «Ставропольской правды». А став редактором подмосковной районной газеты «Богородское», повторила то, что делала в «Ставрополке», – разыскала в районе всех сынов полков в период Великой Отечественной войны, собрала их вместе и добилась, чтобы руководство района отдало им самые высокие почести. Тамара часто посещала школы, беседовала с детьми, предложила педагогам много интересных мероприятий по патриотическому воспитанию школьников. Рассказывают один необычный случай, как Тамара помогла бомжу, бывшему солдату, воевавшему в Афганистане, который провел несколько лет в плену в качестве раба. С помощью Тамары он смог вернуться



домой, где давно его считали погибшим. И вот случился парадокс: оказав такую неоценимую помощь бывшему пленнику, Тамара неожиданно сама попала в плен и приняла не менее страшные муки, чем тот солдат в Афганистане. Как заядлая театралка, не пропускавшая ни одной премьеры ни в Ставрополе, ни в Москве, она, конечно же, не могла не побывать на мюзикле «Норд-Ост». И хотя спектакль должен был показываться еще два года, она выбрала для похода в театр 23 октября 2002 года. Полным шоком для всего коллектива нашей газеты стало ее имя в числе жертв террористического акта. Все, кто знал Тамару Войнову, в полном оцепенении встретили весть о ее гибели. Московская трагедия, ставшая общероссийской бедой, теперь своим черным крылом коснулась каждого журналиста «Ставрополки».

* * *

Будущий редактор «Ставропольской правды» Иван Юдин родился в 1907 году под Донецком в семье горного инженера, работавшего на шахте. Влившись в среду рабочей молодежи, вступил в комсомол, где очень скоро стал вожаком. Тогда-то и познакомился со своей первой и единственной на всю жизнь любовью. Девушка зашла в церковь, чтобы забрать ключи от квартиры у своей верующей бабушки. А уже на другой день ее вызвали на комсомольское бюро. Войдя в помещение, увидела долговязого парня под два метра ростом, с какой-то искоркой добра в глазах, который сказал ей: «Так, Катерина, в церковь ходила? Ну-ка клади билет на стол!». А она в ответ скрутила ему фигу и сказала: «Не получишь!». Повернулась и ушла. На обратном пути обливалась слезами, понимая, что ее ждет незавидная судьба. А

через несколько дней была очень удивлена, увидев, как тот самый долговязый парень, требовавший ее комсомольский билет, залез на дерево и заглядывал к ним во двор, за что ему и досталось от будущего тестя! Вот так Иван Иосифович познакомился с будущей женой. После редакторства в краснодарском «Большевике», а затем и «Советской Кубани», в 1946 году, опять же по решению партии, Иван Юдин был переведен в газету «Ставропольская правда», сменив на посту главного Олега Здравенина, отправленного поднять уровень «Советской Белоруссии». В Ставрополе он работал редактором до 1962 года, пока медики не настояли: пора на покой... После его смерти рукописи и награды журналиста, в числе которых ордена «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почета», были переданы в Ставропольский литературный музей. Но черный чемоданчик с парой теплого белья, сухарями и курительной трубкой, который со времен сталинских репрессий, всегда находившийся наготове, так и остался реликвией в его семье. Внучка Юдина Елена Полтавская в течение десяти лет работала на Ставропольском краевом телевидении, писала и в газеты. По роду службы пересекалась с некоторыми журналистами, работавшими в свое время под началом ее деда. Например, с Леонидом Поповым, который писал об Иване Иосифовиче: «Газетные полосы Юдин читал по ночам. И родные знали, что водитель привезет их после полуночи, а глава семьи спокойно, когда все спят, будет их вычитывать». «Посмотришь на газетную страницу после его правок, которые он делал громадным синим карандашом, – вспоминал тот же Попов, – белого света не видно, только синий карандаш». Но тогда это было в порядке вещей, потому что в редакцию вернулись с фронтов вчерашние военные, подзабывшие журналистские навыки...



* * *

Известный ставропольский детский поэт Леонид Епанешников, после того, как перебрался из краевого центра работать в «Кавказскую здравницу», не появлялся в Ставрополе несколько лет. За это время он достаточно погрузнел, обзавелся «животи́ком». Трудно сказать, по каким делам он приехал в командировку в Ставрополь. Ну как же было не зайти к друзьям по журналистскому цеху в «Ставрополку». Уже в коридоре первым ему встретился Михаил Абрамович Гельфанд. «Можно Вас на пару слов?», – обратился гость к своему давнишнему знакомому, который явно не узнал «посетителя». Поправляя сползшиеся на нос очки, Михаил Абрамович был весь внимание. «У вас случайно в газете вакансий не найдется?» – спросил Епанешников. «Ну я-то эти вопросы не решаю. Есть отдел кадров, есть, в конце концов, главный редактор», – так и не узнавая собеседника, вступил в диалог Гельфанд. «Вот-вот, то что мне надо, – оживился «посетитель», – Я бы главным редактором пошел». Надо было видеть лицо Михаила Абрамовича! Он аж подпрыгнул на стуле: «Вы соображаете, что говорите? Главного редактора бюро крайкома партии назначает!» Епанешников, едва сдерживая невозмутимым лицом, продолжил: «Ну нет – так нет. Если что, я могу у Вас и шахматный кружок вести...». Больше Леонид не мог сдерживать смех, а оторопевший Гельфанд вдруг протрезвел: «Ты, что ли, Ленька?»

Фронтовые рубежи Ставропольской литературы

Часть 2

Лицо ставропольской литературы, со своим взглядом, со своей совестью, со своими убеждениями и требованиями, со своей, наконец, формой слова, смотрит на сегодняшний день глазами тех, кто жил впереди нас, глазами фронтовиков.

Михаил Васильевич Усов тоже принадлежит к тем писателям Ставрополя, которых называют старшим поколением. Он родился в 1905 году, 21 ноября, в г. Георгиевске, в семье рабочего-каменщика, где было четырнадцать детей. Детство проходило трудно, семья держалась на каторжном труде отца. «Работа у него проклятая, с самого раненького утречка до черной ночи, да все с кирпичом, все с кирпичом. Уже у самого-то отца руки стали как кирпичи – твердые, обмозоленные, тресканные», – так говорит об отце мать в книге «Судьбы». Учился М. Усов в реальном училище Георгиевска, остальному – научила жизнь. Еще в училище вступил в комсомол. «Прием в ряды комсомо-



**ТАТЬЯНА
ЧЕРНАЯ**

*Литературо-
ведение*





ла был для меня праздником», – говорил писатель. К комсомольцам уже не относились, как к детям. Одновременно Михаил Васильевич работал – учеником осмотрщика вагонов на железнодорожной станции, переписчиком 10-й дистанции пути, затем старшим политруком милиции, преподавателем обществоведения и истории в средней школе.

У многих в ту пору были свои университеты, и учиться в них было не легче, чем в академических учебных заведениях. Все постигалось на опыте, на ошибках, на эмоциях, на собственных размышлениях.

Усов считал своим долгом написать о друзьях юности. Этот «зов внутреннего голоса» продиктовал ему книги «Жили ребята в Георгиевске» и «Судьбы». Главная мысль этих книг – связь времен, понимание истории как пути из прошлого в будущее. «Без истории нельзя понять настоящего», – пишет Усов во введении «От автора» к книге «Судьбы».

В книгах М. Усова открывается мировоззрение тех людей, которые искренне были убеждены, что можно «наш, новый мир построить», что есть общее дело мировой борьбы за свободу, умереть за это дело – славная участь. Романтика этой веры, о которой нынешнее молодое поколение говорит порой с насмешливым пренебрежением, формировала психологический и нравственный облик целых поколений, – не из тех, кто был у власти, и не из тех, кто, попав под колеса страшной машины властителей «нового мира», был сломлен или уничтожен. Это было «еще одно» поколение, – честных и смелых, наивных и преданных идее, целеустремленных и трудолюбивых, бескорыстных и терпеливых, готовых на любые трудности и испытания ради светлого будущего. Так они думали. И искренность их была равна их бескорыстию. Может быть, исто-

рия не оправдала ни наивности, ни бескорыстия, но люди с ними жили, растили детей и старались им передать свое понимание жизни. Из песни слова не выкинешь, из времени не вычеркнешь ни часа, ни дня из эпохи. Понять это поколение можно лучше всего через их собственное слово.

Таким был и Михаил Васильевич Усов.

Особенностью книг М. Усова является прямо выраженный подчеркнутый биографизм. Писатель создает особый тип художественного очерка, который выстраивается как рассказ о жизни не придуманных людей. Здесь подлинные имена, подлинные места действия. Описанные события действительно происходили, и характеры героев просто списаны с натуры. Однако авторское присутствие в рассказах писателя не формально. Это не свидетель и не собиратель интересного материала. Он – участник и активное переживающее лицо.

О писателе, отдавшем свой талант людям, будем помнить то хорошее, что оставило после себя его слово. Оно не было агрессивным и не было лицемерным. Этим словом создан музыкант-пастушок, ставший необычайно талантливым звонарем, сумевшим вместе со своими товарищами сыграть на колоколах «Камаринского» (что, естественно, вызвало гнев церковнослужителей), и красавец Павка Титенко, погибший в боях с Врангелем, похороненный в бурьянной степной земле; и молодой армянин Мкртыч, первым из своих земляков вступивший в комсомол и не согласившийся венчаться в армянской церкви – за что и был жестоко убит на дороге, ведущей к лесной чащобе, где «обсыпанный бело-розовыми цветами, источал тонкий аромат шиповник», пели птицы и «грациозно перепархивали нарядные бабочки», и многие другие.



М. Усов в молодости был юнкором. Писал заметки в южные газеты «Терек», «Комсомолец», «Советский пахарь», «Юг» и др., издававшиеся в Пятигорске и Ростове-на-Дону. Потом – война, которую писатель измерил до самого конца, пройдя Украину, Молдавию, Болгарию и Югославию, участвовал во взятии Будапешта и Вены. Награжден был орденом Красной звезды и медалями. А после войны – журналистская работа – был главным редактором Ставропольского краевого комитета радиовещания, корреспондентом газеты «Сельское хозяйство». То, что написал Михаил Усов о Великой Отечественной войне, нельзя назвать просто художественной прозой. Сюжет не выстраивается как развивающееся событие, трудно найти кульминацию и развязку. Мы не найдем в его повествовании стремления сделать какие-то крупные обобщения о фактах, оставшихся в памяти солдата. Автор просто рассказывает о том, что происходило с ним и с его земляками, окрашивая этот рассказ чувствами, уже пережитыми когда-то, но оставшимися в неизменном виде и сейчас. Это калейдоскопическая смена энтузиазма, патриотизма, боли, страха, отваги, любви к родным местам, взаимоподдержки, горя от потерь – всего того, что ощущает человек в бою и на армейском отдыхе, в моменты встреч с близкими людьми, в минуты горьких отступлений и одержанных побед. Впечатление не специально подготовленного выступления с воспоминаниями, а захватывающей беседы, которую трудно остановить в каком-либо месте, потому что все пережитое – на пределе возможного для человека. И одновременно все очень конкретно, все о себе, о земляках, о родных местах, т.е. все очеловечено понятием «малой родины», любовь к которой знаменует любовь к родине большой. Повествование оживляется об-

ращением к людям, которые стали персонажами, были рядом с автором, погибли или попали в разные географические места, и полностью создано впечатление, что они живы. М. Усовым создан свой стиль фронтовой прозы, далекой от классического литературного стиля, от психологической прозы, от документальной прозы шестидесятников, от поэтической прозы, от всего, что уже существовало в «военной» литературе. Но это тот материал, который трогает душу и остается в памяти надолго. Таковы рассказы «Земляк», «Железный вал», вся книга «Длинные ружья». Вот пример из рассказа «Земляк»:

«Едва ночи дождался, отпросился у командира. Орудие Петра стояло в укрытии. Присели мы. Только зорькой ушел от него по туманнику. В свой окоп забрался, а все меня тянет на Петра глянуть, вернее на то место, где его расчет в землю-песок зарылся. От беседы ночной тревожно на душе До Сталинграда, правда, далеко, да там теперь без нас полно. Солдаты оттуда сказывали, по окопам идет говорок. Теперь бы одним глазком на город свой глянуть. Живы ли семьи? Успели эвакуироваться? Где теперь?.. Тесно в окопе. Давит сыпучая земля. Томят буруны. Сыро и холодно от ноябрьских туманов, дождей-осенчуков...» Сам Усов называл это «документальным повествованием». Панорама персонажей в его книгах очень богатая. Несмотря на идейную заданность, его герои – не схемы, они не смотрят портретами с ходячих лозунгов. Они живые, противоречивые, ищущие свое место в жизни, со своими достоинствами и недостатками.

Но особенность писателя Усова – в другом. Уже в художественных очерках событийные сюжетные ряды прерываются возвышенными описаниями природы. Она была соучастницей событий. Треску-



чий мороз, ковыльная степь, звуки колокола, охватывающие бескрайние пространства, дрожащие от ветра листы и жизнестойкие подорожники, – все это всегда было фоном, без которого не происходило ничего. Постепенно в творчестве Усова жизнь природы приобрела смысл повседневного, мудрого идеального начала. Древний параллелизм человека и природы стал открывать для творческого человека негромкие, но глубокие истины. Большинство книг, созданных Усовым – это сборники лирических миниатюр, иногда напоминающих стихотворения в прозе, иногда – наблюдения фенолога, иногда – философские размышления. Часто они метафоричны, олицетворены. Порой просто красивы, живописны. В отклике на жизнь природы содержится для писателя один из главных критериев духовной отзывчивости. В природе он видит начала всего доброго и прекрасного.

Первая книга М. Усова «Рассказы о птицах» вышла в 1952 в Ставрополе. С тех пор маленькие книжки о природе стали выходить довольно часто. Всего им издано около двух десятков книг. Среди них очерки «На дальних и ближних землях», «Горячие степи», «Длинные ружья», «Сто дней, сто ночей», «Уж вы, горы мои Кавказские», множество очерков и сборников лирических миниатюр. Коротенькие миниатюры Усова показывают в малом большое, в обыкновенном – значительное. Обостренное чувство человека, прошедшего войну, переплавляется в тонкий лиризм романтика.

Читать хорошую книгу о природе – значит открывать радужную неведомую страну, в которой глаз становится зорче, слух тоньше, солнце добрее. Ту страну, которая живет одухотворенной жизнью и всегда готова поделиться своими богатствами с теми, кто придет в нее с открытой душой и лю-

бовью. «Та неведомая страна без имени и есть моя Родина» (М. Пришвин). А дорога к ней проходит только через душу человека, его внутренний мир. Усовские мини-рассказы пробуждают интерес к простым и все-таки замечательным будням родной природы. И там, где в основе миниатюрного рассказа отсутствует указующий перст, происходит то самое возвращение в детство и взрослых и детей, которое становится богатством будущего.

Полный военный путь от начала до конца войны прошел Вениамин Абрамович Ащеулов. Его стихи – это биография человека, прошедшего вместе с другими, такими же, как он, через все исторические события, потрясшие нашу родину. Родился он «в насквозь простреленной деревне» Алтая, детство выпало на сложные 20-е годы. Сахалин, Хабаровск... Потом – начало Великой Отечественной войны: «И Родина, назвав меня солдатом, отправила в теплушке на войну». В июле 1941 года участвовал в сражении под Москвой. А после победы над Германией японский фронт. В.А. Ащеулов был командиром пулеметного расчета, разведчиком, броневым десантником. Был трижды ранен и награжден двумя орденами Отечественной войны и медалями. Его человеческая зрелость – фронтовая дорога, осмысленная им самим не столько как суровый факт собственной жизни, сколько с общенародной позиции, когда «вослед глядит Россия и ждет победы от тебя». Стихов, посвященных родине, у Ащеулова очень много. Все они разные. Есть просто пейзажные, но каждый раз с новым видением. Есть и такие, в которых общие для всей русской поэзии образы вносят еще одну каплю в трогательный, берущий за душу мотив:



Я прошу – не пугайте седых журавлей...

Родина для него – это русская поэзия (стихи о Пушкине, Лермонтове, Есенине), это сказы о русских подвижниках – протопопе Аввакуме, собирателе фольклора Павле Якушкине, сибирском путнике Дерсу Узала. Он ведет читателя на берега Амура с его колоритной историей, от становищ Пояркова, беглых людей и первых предпринимателей до света первых городов. Он испытывает характер человека на таежных тропах, где «что ни сук – то чертов рог». Он слушает «загадочную силу» шаманского бубна, в звуках которого «таинственно и глухо» отражается «голос старины», дикие и тяжкие стоны больного и неистовая обрядовая пляска. Он переселяется в судьбу актера с ее взлетами и падениями, с ее обреченностью вечно-го переселения в «другого» и вечно живого рождения искусства. Он переживает «историю лошади», не в толстовском смысле, конечно, а скорее, в традиции Есенина, грустившего о том, что «живых коней обогнала стальная конница». «Слово о лошадях» – замечательное стихотворение, в нем много ностальгии по красоте, преданности и самоотверженности прекрасного животного. Завершается оно почти скульптурным образом-памятником, возникшим в воображении поэта.

*Когда ракету гулкий взрыв
Бросает в космос,
В дыму я вижу конских грив
Седые космы!*

В жизни В. Ащеулова был момент, когда он почувствовал в себе поэта. Задумываясь о своем предназначении, он определил два истока своего творчества. Первый – связь с «судьбой народной». Второй – внутренний свет, огонь слова, живущего

независимо от отдельно взятого человека и отмечающего печатью отнюдь не всех.

*А может, я начну с того мгновенья,
Когда мне слово сердце обожгло,
И первое мое стихотворенье
Передо мной на цыпочках прошло.*

И тогда стало проситься в стихи все: поющий в степи жаворонок, пробившийся из-под земли родник, голубой туман в низине поля, поседевшая голова солдатской вдовы, таежные костры и дороги, сибирские пельмени, горе и счастье женщины, тепло родного дома, отцовские задумки, пляска на деревенской улице, – вся повседневная жизнь. А военная тема стала главной. Это события, о которых нельзя забыть, и образы здесь подсказываются чувством, которое никогда не ослабевает. Времена соединяются в поэзии Ащеулова внутренне неумиряющими ценностями.

*Когда уходят в жизнь ученики,
Учителя, оставшись на пороге,
Зачем-то долго трут свои очки
И после
 долго
 смотрят вдоль дороги.
Я думаю об этом без конца,
И тайный смысл становится понятен:
Все, что прошло сквозь их сердца,
Должно в дорогу уходить без пятен.*

Эпизод-картинка в этом стихотворении – явное наблюдение того, что было однажды. Но общий пафос отмечен постоянным временем. Другой пример соединения времен в общей моральной идее: воспоминания о детских годах в деревне связаны у поэта, прошедшего много жизненных путей, с «чашушкой»,



*..... что в дороге
Часто слышал от отца:
«Побывал бы я в деревне,
Поглядел бы на котят.
Уезжал – слепыми были,
А теперь поди глядят!»*

Что-то такое доброе и теплое в этой отцовской «частушке»! И в то же время – глубокая мысль о вечном изменении, о неизбежном наступлении зрелости, которая начинает «глядеть», о желании отцов увидеть эту зрелость, понять, что же рассмотрят в нелегких жизненных перипетиях его любимые «котята»...

Есть в художественном мире В. Ащеулова, конечно, и он сам, тот самый лирический герой, которого мы обычно идентифицируем с автором. Этому человеку знакомо состояние одиночества, чувство грусти, беспричинный восторг перед небом с облаками и серьезные раздумья о смерти. Мироощущение, которое мы наблюдаем в стихах Ащеулова, не отменяет философских поисков, но существует рядом, чаще всего в сердце простого человека, много повидавшего и испытавшего в жизни. Человек, о котором пишет Ащеулов, прожил обычную трудовую жизнь, но ему выпала на долю война, а она не долго думает, предлагая ответы на вопрос о смысле жизни. Смысл этот – в самой жизни, в том, что от беды, печали и трагедии надо двигаться к новой жизни и по возможности находить в ней счастье.

*И все же есть хорошее поверье:
Коль на вопрос: «Как быть?» ответа нет,
Иди вперед с решимостью уверенной
Туда, где начинается рассвет.*

Однако тема войны и солдатской жизни, будучи общей для всех, все же волнует этого поэта больше

всего. Когда началась война, Ащеулову был 21 год. Его жизненные привязанности уже сложились. Обостренное чувство родины, мотивы героизма, понимаемого как суровый военный труд и необходимость, стали основой всего его поэтического творчества. В любом сборнике стихов Ащеулова звучат стихи о войне, о фронтовых буднях, о солдатском подвиге, о результатах войны. Он признается в одном из стихотворений:

*Каким бы ни предался я мечтам,
Мне не уйти от памяти суровой.
Былое неотступно по пятам
За мной шагает в зареве багровом.*

А понятие прифронтовой полосы становится метафорой трудного выбора, перед которым рано или поздно оказывается каждый человек, будь то суровые годы войны, или будь то вполне мирная жизнь.

*Есть фронт и тыл.
Есть гибель и бессмертье.
Есть в жизни и другие полюса.
И есть еще на этом белом свете
Прифронтовая полоса.*

Образная система лирики Ащеулова: фронтовая дорога, сгоревшее село, блиндаж, разведка, затишье, которого на самом деле не бывает, огненный шквал, музыкальный взвод, переход через зыбучие болота, все это пространство, наполненное тревогой, страхом, болью и – преодолением.

*Скорбно сникшие березы
В час рассветной полутьмы
Без конца роняют слезы
На могильные холмы.*



Первая его книжка стихов «Привал» вышла в 1964 году в Хабаровске. В 1965 году он переезжает в Ставрополь, где, начиная с 1968 года публикуются его книги: «Землепроходцы», «Минуты передышки», «Корень жизни», «Жаворонок», «Исходный рубеж», «О, Русь моя!». Сборник «Прифронтовая полоса» вышел в Москве. Творчество Ащеулова тесно связано с альманахом «Ставрополье».

Та война была временем самого серьезного, самого глубокого проявления национального патриотического чувства, неистребимого в русском человеке независимо ни от какой идеологии – своего, внутреннего, личного. Война одновременно стала и мерилom самоопределения человека. Стихи Ащеулова, может быть, и не самые выдающиеся в русской поэзии. Но это хорошие стихи, они не только искренни, но и близки по своему смыслу многим людям его времени. Да и не только его, несколько последующих поколений сформированы теми чувствами, которые мы в них находим. И это дорогое для нас наследство.

* * *

Невозможно рассказать обо всех, чьи жизни были опалены войной. Кто-то увлекся после войны другими впечатлениями, выбрал себе иные темы для творчества. Через белофинскую войну, а затем фронты Великой Отечественной прошел Сергей Дроздов, написавший повесть о морях Северного флота «Тайна острова Ноурсена». Затем этот писатель перешел на создание произведений о В.И. Ленине, что поглотило его целиком. Очерками о людях послевоенных лет стал известен Борис Речин (псевдоним Степана Дмитриевича Борисова), создававший свои очерковые повествова-

ния исключительно по материалам собственных встреч.

Совсем юными попали на фронт рожденные в середине и в конце 1920-х годов. Но и на их долю досталось немало, они хлебнули этого опыта сполна. В страшной мясорубке под Моздоком воевал Владимир Дятлов, пришлось ему участвовать в Сталинградской битве. Его размышления о людях войны нашли отражение в повести «Если ты человек». Главное, что видит писатель в этих людях – готовность помочь другим, неисчерпаемая доброта.

Все в творчестве прошедших войну нацелено на будущее, поэтому и о людях они старались сказать самое лучшее, что хотелось видеть в жизни.

Жизнь Иоакима Вячеславовича Кузнецова может быть названа жизнью романтика. В самом деле, по происхождению забайкальский казак, по образованию одновременно историк и военный летчик, прослуживший на Дальнем Востоке, в Киргизии, в Туркменистане, охранявший во время Великой Отечественной войны дальневосточные границы по реке Амур, славный орденноносец (орден Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, два ордена Отечественной войны, медали), человек, по влечению души, по велению детской мечты потянувшийся на Кавказ и начавший его серьезное изучение, – наверное, только одной из сторон такой биографии хватило бы на целую человеческую жизнь. Сначала – публикации очерков и рассказов в армейской газете «На страже» во время службы в войсках ПВО Бакинского военного округа. Затем – труды о корнях и истоках сложившихся регионов нашей страны. И книги: «Крепость в степи», «Узелки на память: Кавказские сказания», «На восходе солнца, историческое повествование о Георгиевском тракте», сказание о ставропольских казаках и одновременно о



городе Михайловске «Тихая линия», повести «Весна в Долинном», «На ближнем рубеже», «Непреклонные», исторические повествования «На холмах горячих» (о Пятигорске), «У истоков живой воды» (о Кисловодске) и др.

К этому времени изменилось и понятие патриотизма. Вместо лозунгового пафоса зазвучали мотивы красоты и душевности родной природы, любовь и преданность к своим истокам и корням. «Родного неба милый свет», как и в годы, когда была написана эта строчка Жуковского, заставляет «дрожать сердце» русского человека. И это совсем не то, что сейчас пытаются опровергнуть как ложное чувство превосходства над другими странами и народами. Эта любовь дана каждому человеку от природы, святое чувство родства, дающее радость и тепло, даже если хорошо осознаются недостатки жизни на родине. В творчестве И. Кузнецова прочно укореняется это чувство – через любовь к малой родине пробуждается понимание собственной причастности к корням и истокам.

После смерти К.Г. Черного писательскую организацию возглавил Иван Васильевич Кашпуров. Ему пришлось возвращать новую смену. Но он сам был одаренным поэтом и не отказывался от сочинительства никогда. Его стихи можно назвать литературным явлением. Он – поэт Ставрополья в полном смысле этого слова. Природа края, его история, годы войны, люди-труженики, любовь и ненависть, дружба и творчество – все становится темой его стихов. Он отличается светлым мироощущением, оптимизмом, веселым нравом. Биография Кашпунова характерна для обыкновенного человека советской эпохи. Сын буденновца, перебравшегося с Украины на Ставрополье еще в 1908 году из-за тяжелой нужды и безземелья, он хорошо знал сель-

ский труд и одновременно был пропитан духом тревоги, вызванной гражданской войной и всей последующей жизнью страны. В 1943 году попал на войну и прослужил в Советской Армии до 1949 года. В том же 1949 году в дивизионной газете Закавказского военного округа и были опубликованы его первые стихи. После демобилизации Кашпуров приехал в Ставрополь. Он прошел серьезный путь формирования профессионального поэта, путь постижения не только сложностей человеческой души в ее переживаниях, но и глубины и точности самого поэтического слова. Сначала в стихах поэта много наивности и пафоса громкого патриотизма, но постепенно эта шелуха спадает и начинает звучать красивая поэзия. Автор обращен к историческим этапам жизни страны, к фактам биографии людей, включенных в исторический процесс. Война гражданская обозначена, например, стихотворением «Мать» – материнство здесь осмыслено и как древняя забота огромной земли о ребенке, и как самоотверженность женщины, воюющей ради того, чтобы земля могла остаться матерью для ее ребенка. Времени гражданской войны, становления власти большевиков посвящены также стихи «Земля», «Стихи об отце», «Село в степи» и другие, где проблемы прошлого и будущего соединяются, подчинившись энтузиазму авторской позиции – все лучшее осуществится, но надо помнить о своих простых героях.

О Великой Отечественной войне поэт пишет, чаще всего используя форму легенды: «Бессмертье», «Ленинцы», «Страшный день», особенно «Тополя». Это позволяет автору держаться той высокой, хотя одновременно и скорбной эмоциональной ноты, которая достойна народной тра-



гедии и народного подвига. И здесь, как и во всем остальном творчестве, Кашпуров отражает великое в малом, в поступках близких людей, в памяти родного села, в переживаниях матери. Говорят, женщина выполняет свое предназначение на земле, если родила сына и посадила дерево. Пять тополей посажены были матерью в память о пятерых убитых сыновьях. И оттого, что дети умерли раньше матери, ее жизнь кажется невыносимо древней, вечной, а корни и вершины тополей соединяют землю и небо, став знаком спасенной сыновьями жизни.

*Хутор Светлый... Прямо над дорогой,
Возле хаты, что других белей,
Каждый день верхами небо трогают
Пять пирамидальных тополей.*

Если бы поэтом было написано только это стихотворение, было бы уже достаточно, чтобы создать художественный памятник народному горю и святой народной памяти.

Жизнь Игоря Степановича Романова тоже характерна для советского времени. По происхождению, как говорится, «из низов» (родился в семье батрака), он прошел две войны. В годы оккупации Кабардино-Балкарии партизанил, по его словам, «по-пацанячьи», а с 1944 года в рядах Советской армии в горах Армении. В 1945 году попал в Манчжурию на японский фронт, после чего еще семь лет служил в Монголии и Забайкалье. Впечатления от войны как катастрофы создали мощный образ страшного пути:

*Сотрясали шар земной моторы.
Гарь пороховую ветер нес.
Мир подлунный,*

Точно поезд скорый,
В грохоте
срывался
под откос...

Учился в школе рабочей молодежи, работал лепщиком-строителем. После окончания в 1957 году филологического факультета Ставропольского педагогического института был сотрудником газеты «Советская Калмыкия», заведовал отделом пропаганды газеты «Молодой ленинец». С 1962 года долго работал ответственным секретарем альманаха «Ставрополье» и много лет – редактором Ставропольского книжного издательства. И все это время в быстротекущей, хлопотной жизни писал стихи. Опыт журналистской работы, очевидно, сказался на выборе тематики и формы творчества, да и склонность ума к быстрому подмечанию недостатков в окружающих людях, насмешливость и остроумие толкали на создание сатирических стихов. В целом наследие И. Романова многогранно: лирика, басни, пародии, лирические и сатирические миниатюры, то, что он назвал «пилюли». Все это отмечено точностью выражения, остроумием, хлесткостью сатирических характеристик. В его раздумчивой лирике эти качества художественного слова помогали создавать прекрасные, глубокие стихи.

Уходят все-таки поэты,
Не разглядев удел во мгле,
Оставив песню недопетой,
Восславив разум на земле.
Их приручали, и – травили,
Грозь владыческим перстом.
Они всегда опасны были
В своем прозрении святом.
И, если жизнь планету кружит,



*Пускай – щедро и высока
Поэту памятником служит
Людская память
На века.*

Личность И.С. Романова всегда привлекала особой мягкостью характера, казалось бы, не характерной для сатирика. Но в том-то и дело, что эта мягкость отражала его истинное человеческое лицо, глубокую позицию скрытого страдания от того, что вокруг слишком много глупости и мелочности, карьеризма и приспособленчества. Вообще такая черта, какая-то грустная нота, сопровождающая не одноминутное настроение, а всю жизнь, заметна была во всем поколении людей, побывавших на войне молодыми. Конечно, причиной тому не одна война, но, видимо, переживания войны, соединяясь с невоплощенными надеждами новых трудных времен, порождали внутренний психологический конфликт в душе этих людей. Творческие замыслы приходилось корректировать самим временем, а память военных лет прочно хранила один критерий человеческого достоинства – жертва жизнью ради высокой цели.

И еще одно имя невозможно оставить в стороне, говоря о фронтовиках-поэтах. Это Владимир Григорьевич Гнеушев. Из тех, кто попал на войну в сорок четвертом, кто вынес на плечах последний год войны. Как и И. Романов, он входит в плеяду ставропольских «шестидесятников». Первая книжка его стихов вышла в 1954 году, хотя писать он начал гораздо раньше. Родился он в селе Кевсала Ипатовского района Ставропольского края. Рано остался без родителей, беспризорничал, потом работал разнорабочим на Махачкалинском консервном заводе. Учился в Минераловодском железнодорожном училище, работал на Ставропольской городской элек-



Требовательный к себе, поэт всегда искал свою синюю птицу и совместить эти прекрасные сказочные поиски с повседневными буднями не всегда мог. Сборники его стихов невелики по объему, он, очевидно, не до конца реализовал себя. Но, может быть, это и хорошо, потому что все написанное – хорошо, не стандартно.

Наследие В. Гнеушева – пусть небольшая, но все же замечательная страница ставропольской литературы. Умение ценить каждое мгновение красоты, открывающейся поэтическому взгляду, не дается просто так. Надо было много пережить, увидеть, подвергнуть жизнь опасности, понять, что такое потеря, для того чтобы тонко отреагировать на запах акации и запах тополей на солнце. И поэтому необходимо было найти большую тему. И она явилась сама, явилась как отголосок Великой Отечественной., следы войны в горах Кавказа.

Факт написания книги «Тайна Марухского ледника» совместно с журналистом А.Л. Попутько свидетельствует о том, как писатель понимает общественную значимость слова. Сейчас эту книгу знают, наверное, все ставропольцы. Создание ее потребовало огромных усилий. Обнаруженные на леднике останки солдат Великой Отечественной войны были обследованы специальной государственной комиссией, описаны и внесены в акт. Но писателю этого показалось мало. Он создал, по существу, историю боев на Марухском перевале. В книге нет ни тени выдумки, все факты подтверждены свидетелями и участниками событий. Война на вершинах Кавказских гор была труднее и опаснее, чем внизу. Но победа в битве с фашистами не могла быть одержана без этих невероятно трудных сражений. Гнеушев и Попутько встречались с участниками этих сражений, сохранили имена и

документальную основу событий. Часто они передают слово самим участникам событий. «Тайна Марухского ледника» – не повесть, не детектив, в ней нет единого сюжета, кроме самой войны. И о подвигах людей, описанных в ней, рассказано просто, даже буднично. Но от этого сила и значение подвига только возвышается.

Влияние истории (как объективного хода вещей) на человека бесспорно, но существует и влияние человека на историю. События вершатся людьми, надо только найти себе место, надо заниматься своим делом, не теряя человечности, любви. Взгляд из тех времен, конечно, отличается от сегодняшнего, однако чувствовать на себе этот взгляд, реагировать на него, ощущать свою ответственность перед ним, не теряя убеждений, рожденных сегодняшними истинами – мудрая позиция, потому что она беспокоит сегодняшнюю совесть.



Сведения об авторах

Агарков Валерий Алексеевич. Родился в 1950 году на Ставрополье. Окончил Ставропольский педагогический институт и академию ФСБ. Служил в силовых структурах СССР и России. Публиковался в периодической печати. Автор сборников стихотворений и песен. Возглавляет ЗАО «Вина Маджарии». Живет в Ставрополе.

Бутенко Владимир Павлович. Родился в 1952 году на хуторе Дарьевка Ростовской области. Член Союза писателей СССР и России. Трижды лауреат литературной премии губернатора Ставропольского края, лауреат премии журнала «Наш современник» за 2011г. Живет в Ставрополе.

Дмитриченко Валентина Гапуровна. Родилась в с. Лузинка Северо-Казахстанской области. Окончила культпросветучилище. Сменила несколько профессий. Автор многих поэтических сборников, пользующихся неизменным интересом у читателей и коллег. Член Союза писателей России. Живет в Невинномыске.

Козлов Юрий Вильямович. Известный российский писатель. Родился в 1953 году. Автор романов: «Изобретение велосипеда», «Пустыня отрочества», «Реформатор», «Колодец пророков» и многих других. Лауреат Всероссийской премии «Традиция» и многих других престижных премий. Произведения переведены на все основные европейские языки а также на китайский и японский. Более пятнадцати лет возглавляет «Роман-газету». Живет в Москве.

Комаров Александр Михайлович. Родился в 1956 году на Ставрополье. Окончил Ставропольский пединститут. Учителем, работает главным редактором районной газеты. Автор нескольких поэтических сборников, песен. Член Союза писателей России. Живет в с. Китаевском

Кругов Алексей Иванович. Родился в 1959 году в Перми. Окончил Ставропольский педагогический институт и Институт российской истории РАН. Автор монографий, учебников и учебных пособий, публикаций по вопросам аграрной истории и краеведению. Живет в Ставрополе.

Мельник-Халимонова Алла Владимировна. Родилась в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Новосибирскую консерваторию. Автор многих поэтических сборников. Член Союза писателей России. Плодотворно занимается просветительской духовной деятельностью. Живет в Ставрополе.

Полумискова Екатерина Петровна. Родилась в Ставрополе. Окончила Ставропольскую государственную сельхозакадемию. Поэт. Прозаик. Лауреат литературных премий. Автор поэтических книг и многочисленных публикаций в периодике. Возглавляет региональное отделение Литфонда России. Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.

Попов Валерий Леонидович. Родился в 1937 году в Пятигорске. Окончил Ставропольский пединститут. Более полувека работал в газете «Ставропольская правда», пройдя путь от линотиписта до заместителя главного редактора. Автор ряда



книг по спортивной тематике, признанный исследователь истории ставропольского футбола. Член Союза журналистов СССР и России. Лауреат премии Правительства России, пятикратный обладатель премии им. Г. Лопатина, «Заслуженный работник культуры РФ», «Отличник физической культуры и спорта РФ». Живет в Ставрополе.

Ряпасов Иван Григорьевич. (1885 – 1955). Один из основоположников российской фантастики. Родился на Урале. Работал репортером и редактором газет, сотрудником журналов. В предреволюционный период, в 1917 году поселился в Ставрополе и прожил в нашем крае четверть века, сотрудничая в различных изданиях. Литературное творчество мало изучено, многие рукописи бесследно пропали.

Шишкин Евгений Васильевич. Известный российский писатель, драматург и сценарист. Родился в 1956г. в городе Кирове. Окончил филологический факультет Нижегородского университета и Высшие литературные курсы. Лауреат всероссийских премий. Произведения переведены на иностранные языки. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Черная Татьяна Карповна. Родилась и живет в Ставрополе. Литературовед, критик. Окончила МГУ. Доктор филологических наук. Профессор СКФУ. Автор многочисленных публикаций и критических работ, посвященных творчеству классиков и современных авторов. На протяжении многих лет исследует произведения крупнейших ставропольских писателей и поэтов.